КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1926

КНИГА
ДЕВЯТАЯ
СЕНТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 9

СЕНТЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

1-я ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА — ПЯТНИЦКАЯ, 71

Главлит № 64545.
Гиз 17604. Тираж 10500

Гиперболоид инженера Гарина.

Алексей Толстой.

Книга вторая.

Сквозь Оливиновый пояс.

(Окончание).

55.

Дворец в северовосточной части Золотого острова был построен по фантастическим планам мадам Ламоль.

Это было огромное сооружение из стекла, стали, темно-красного камня и мрамора. В нем помещалось 500 зал и комнат. Главный фасад с двумя широкими мраморными лестницами вырастал из воды. Волны разбивались о ступени и цоколи по сторонам лестниц, где вместо обычных статуй или ваз, стояли четыре бронзовые решетчатые башенки, поддерживающие золоченые шары, — в них находились заряженные гиперболоиды, угрожавшие подступам с океана.

Лестницы оканчивались открытой террасой, с нее два глубоких входа, укрепленные квадратными колоннами и массивными перекрытиями, вели во внутрь дома. Весь каменный фасад, слегка наклоненный, как на египетских постройках, скупо украшенный, с узкими окнами и плоской крышей, — казался суровым и мрачным.

Зато фасады, выходившие во внутренний двор, в цветники и заросли ползучих роз, вербены, орхидей, карликовых дубов, цветущей сирени и миндаля и лилиевых деревьев, — были построены пышно, даже кокетливо, по-современному: французские окна, уступчатые веранды, покрытые зеленью и цветами, жалюзи, полосатые тенты.

Двое бронзовых ворот вели во внутрь острова. Это был дом-крепость. Сбоку его на скале возвышалось на сто пятьдесят метров, как маяк, решетчатая башня, соединенная подземным ходом со спальней Гарина. На верхней площадке ее стояли мощные гиперболоиды. Бронированный лифт взлетал к ним от земли в десять секунд. Всем, даже мадам Ламоль, было запрещено под страхом смерти подходить к основанию башни. Это был первый закон Золотого острова.

В левом крыле дома помещались комнаты Зои, в правом — Гарина и Роллинга. Больше здесь никто не жил. Дом предназначался для того времени, когда величайшим счастьем для смертного будет — получить приглашение на Золотой остров и увидеть ослепительное лицо властительницы мира.

Зоя готовилась к этой роли. Дела у нее было по горло. Создавался этикет утреннего вставания, выходов, малых и больших приемов, обедов, ужинов, маскарадов и развлечений. Широко развернулся ее темперамент актрисы и балерины. Она любила повторять, что рождена для мировой сцены. Хранителем этикета был назначен знаменитый балетный постановщик Дягилев. С ним заключили контракт в Европе, пожаловали золотой с бриллиантами на белой ленте орден «Божественной Зои» и возвели в древнерусское звание постельничего (Chevalier de lit).

Кроме этих внутренних, — дворцовых, — законов ею создавались совместно с Гариным «Заповеди Золотого Века», законы будущего человечества. Но это были скорее общие проекты и основные идеи, подлежащие впоследствии обработке юристов. Гарин был бешено занят. Ей приходилось выкраивать время. День и ночь в ее кабинете дежурили две стенографистки.

Гарин приходил прямо из шахты, измученный, грязный, пропахший копотью и машинным маслом. Он торопливо ел, валился с ногами на атласный диван и закутывался дымом трубки. (Он был объявлен выше этикета, его привычки священными и — вне подражания.) Зоя ходила по ковру, перебирая в худых пальцах огромные жемчужины ожерелья, и вызывала Гарина на беседу. Ему нужно было несколько минут мертвого покоя, чтобы мозг, возбужденный, точный и ясный, снова начинал лихорадочную работу. В своих планах он не был ни зол, ни добр, ни жесток, ни милосерден, — как будто они не касались живых людей. Его забавляло только остроумие в разрешении вопроса. Эта «прохладность» возмущала Зою. Большие ее глаза темнели, по нервной спине пробегала дрожь, низким, ненавидящим голосом она говорила (по-русски, чтобы не поняли стенографистки):

— Вы фат. Вы страшный человек, Гарин. Я понимаю, как можно хотеть содрать с вас с живого кожу, — посмотреть, как вы в первый раз в жизни станете мучиться. Неужели вы никого не ненавидите, никого не любите?

— Кроме вас, — скаля зубы, сквозь табачный дым, отвечал Гарин. — Но вы сейчас недоступны. Ваша головка набита сумасшедшим вздором... А у меня считаны секунды. Но я терпелив. Я подожду, когда ваше честолюбие насытится до отвалу. Но вы все же правы в одном, любовь моя, я слишком академичен. Идеи, не насыщенные влагой жизни, рассеиваются в пространстве. Влага жизни — это страсть. У вас ее переизбыток. Да, — страсть, и...

Он покосился на Зою. Она стояла перед ним, бледная, неистовая, неподвижная.

— Страсть и кровь. Старый рецепт. Только зачем же именно с меня драть кожу. Можно с кого-нибудь другого. А вам нужно, очень нужно для здоровья омочить платочек в этой жидкости.

— Гарин. Я многое не могу простить людям.

— Например — российской революции?

— Да.

— Коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами?

— Да. Зачем вы вспоминаете об этом?

— Не можете простить самой себе... За 500 франков, небось, вызывали вас по телефону? Было? Чулочки шелковые штопали поспешно, откусывали нитки вот этими божественными зубками, когда торопились в ресторан? А бессонные ночки, когда в сумочке — два су, и — ужас, — что будет завтра, и ужас — пасть еще ниже... А собачий нос Роллинга чего-нибудь да стоит?

С длинной усмешкой глядя ему в глаза, Зоя сказала:

— Этого разговора я тоже не забуду до смерти...

— Боже мой, только что вы меня упрекали в академичности...

— Будет моя власть, — повешу вас, как комиссара; я помню, вешали на габарите моста...

Гарин быстро поднялся, схватил Зою за локти, силой привлек на колени к себе и целовал ее закинутое лицо, стиснутые губы. Обе стенографистки, светловолосые, завитые, равнодушные, как куклы, отвернулись, глядели в стороны.

— Глупая, смешная женщина, пойми, — такой только тебя люблю... Единственное существо на земле... Если бы ты двадцать раз не умирала во вшивых вагонах, если бы тебя не покупали, как девку, — разве бы ты постигла всю остроту дерзости человеческой?.. Разве бы ты ходила по коврам такой повелительницей?.. Разве бы я положил к твоим ногам самого себя?..

Зоя молча освободилась, движением плечей оправила платье, отошла на середину комнаты, и оттуда все еще дико глядела на Гарина. Он сказал:

— Через десять минут я должен быть в шахте. Итак, на чем же мы остановились?

Стенографистки записывали мысли. За ночь отпечатывали их и подавали поутру в постель мадам Ламоль.

Для экспертизы по некоторым вопросам приглашали Роллинга. Он жил в великолепных, не совсем еще законченных аппартаментах. Выходил из них только к столу. Его воля и гордость были, видимо, сломлены. Он сильно сдал за эти полгода. Гарина он боялся. С Зоей избегал оставаться с глазу на глаз. Никто не знал (и не интересовался), что он делает целыми днями. Книг он отроду не читал. Записок, кажется, не вел. Говорили, что будто бы пристрастился коллекционировать курительные трубки. Однажды вечером Зоя видела из окна, как на предпоследней ступени мраморной лестницы у воды сидел Роллинг и, пригорюнясь, глядел на океан, откуда сто миллионов лет тому назад вышел его предок в виде человеко-

образной ящерицы. Это было все, что осталось от великого химического короля.

Ни ограбление трехсот миллионов, ни плен на Золотом острове, ни даже потеря Зои сломили его. Двадцать пять лет тому назад, начав с конторщика, он боролся и вышел в первый ряд. Сколько приложено было усилий, таланта и воли, чтобы заставить людей платить ему, Роллингу, золотые кружочки. Европейская война, разорение Европы, план Дауэса, — вот какие силы были подняты для того, чтобы золото потекло в кассы «Анилин Роллинг».

И вдруг, это золото, эквивалент силы и счастья, эти капли крови, будут черпать из шахты, как глину, как грязь, элеваторными черпаками в любом количестве! Подошвы Роллинга повисли в пустоте, в небытии, он переставал чувствовать себя человеком. Оставалось, быть может, только — коллекционировать трубки.

Но он все еще по инерции, и по настоянию Гарина, ежедневно диктовал по радио свою волю директорам «Анилин Роллинг». Ответы их были неопределенны. Становилось ясным, что директора не верят в добровольное уединение Роллинга на Золотом острове. Его спрашивали:

«Что предпринять для вашего возвращения на континент?»

Роллинг отвечал обычно:

«Курс нервного лечения проходит благоприятно, скоро возвращусь».

По его приказу были получены еще пять миллионов фунтов стерлингов. Когда же, через две недели, он вновь заказал выдать такую же сумму, — агенты Гарина, предъявившие чек Роллинга, были арестованы. Это было первым сигналом атаки континентов на Золотой остров. Флот из восьми линейных судов крейсировал в Тихом океане близ двадцать второй параллели ю. ш. и 130 з. д., ожидая боевого приказа атаковать Остров Негодяев.

56.

Шесть тысяч рабочих и служащих Золотого острова были набраны со всех концов света. Первый помощник Гарина, инженер Чермак, носивший звание губернатора, разместил рабочую силу по национальностям на пятнадцати участках, отгороженных друг от друга колючей проволокой.

На каждом участке были построены бараки, службы и молельни, по возможности, в национальном вкусе. Довольствие, — консервы, бисквиты, мармелад, боченки с капустой, рисом, маринованными медузами, сельдями, сосисками и прочее, и прочее, — заказывалось американским заводам также с национальными этикетками.

Два раза в месяц выдавалась прозодежда, выдержанная в национальном духе, и раз в полгода — праздничные, строго-национальные, костюмы: славянам — поддевки и свитки, китайцам — сырцовые кофты, немцам — сюртуки и цилиндры, итальянцам — шелковое белье и лакированные туфли, неграм — набедренники, украшенные крокодильими зубами и бусами и т. д., и т. д.

Чтобы оправдать в глазах населения эти колючие границы, инженер Чермак организовал штат провокаторов. Их было 15 человек. Они раздували национальную вражду: в будни умеренно, по праздникам — вплоть до кулачной и ножевой расправы.

Полиция острова из врангелевских офицеров, носивших мундир ордена Зои, — белого сукна короткую куртку с золотым шитьем и — кенареечные штаны в обтяжку, — поддерживала порядок, не допуская национальности до взаимного истребления.

Рабочие получали огромное, в сравнении с континентом, жалование. Иные посылали его на родину с ближайшим пароходом, иные сдавали на хранение. Расходовать было негде, так как только по праздникам в уединенном ущелье на юго-восточном берегу острова были открыты недорогие кабаки и бесплатный луна-парк. Там же в низкорослом лесочке функционировали пятнадцать домов терпимости. Национальный дух в них был не так уже строго выдержан.

Словом, гений Гарина предусмотрел все неприятные случайности, гений Чермака осуществил основную задачу: «невозможности атомного соединения пятнадцати элементов».

Рабочим было известно, для какой цели пробивается вглубь земли гигантская шахта. Гарин объявил всем, что при расчете он разрешит каждому взять с собой столько золота, сколько он сможет унести на спине. И не было человека на острове, кто бы без волнения не смотрел на стальные ленты, уносящие породу из земных недр в океан, кого бы не опьянял желтоватый дымок над жерлом шахты.

57

. . . .

. . . — Наступил наиболее тревожный момент в нашей работе. Я ждал его и приготовился, но это, разумеется, не уменьшает опасности. Господа, мы блокированы. Только что получено радио, что два корабля, груженые фигурным железом для крепления шахты, консервами и мороженой бараниной, захвачены американским крейсером и объявлены призом.

— Это значит, — война началась. С часу на час нужно ждать, что ее объявят официально. Одна из ближайших моих целей — война. Но она начинается немного ранее, чем мне нужно. На континенте слишком нервничают. Победа трудна, но возможна.

— Я предвижу их план: они боятся нас, они будут стараться выморить нас голодом на острове. Справка: продовольствия на острове хватит на две недели, не считая живого скота. В эти четырнадцать дней мы должны будем прорвать блокаду и подвезти консервы. Задача трудная, но выполнимая.

— Кроме того, мои агенты, предъявившие чеки Роллинга, арестованы. Денег у нас в кассе нет. 350 миллионов долларов израсходованы до последнего цента. Через неделю мы должны платить жалованье и, если

расплатимся чеками, — рабочие потребуют расчет. Стало быть, — в продолжение семи дней мы обязаны достать денег. Это трудновато, но должно быть сделано.

— Я кончил. Слово ваше, Чермак.

Заседание происходило в сумерки в пустом, еще не оконченном, кабинете Гарина. Присутствовали Чермак, Шеффер, Зоя, Шельга и Роллинг. Гарин, как всегда в минуты опасности и умственного напряжения, разговаривал с фатовским видом, покачиваясь на каблуках, усмехаясь, засунув руки в карманы. Зоя председательствовала, держа в руке молоточек.

Чермак, маленький, нервный, укусив татарскую бородку, сказал:

— Второй закон Золотого острова гласит: никто не должен пытаться проникнуть в тайну конструкции гиперболоида. Всякий, прикоснувшийся хотя к верхнему кожуху гиперболоида, подлежит смертной казни. Тело его будет утоплено в океане.

— Так, — сказал Гарин, — таков закон.

— Для успешного завершения указанных вами предприятий понадобится, по крайней мере, одновременная работа трех гиперболоидов. Один для добычи денег, другой для прорыва блокады, третий для обороны острова. Вам придется сделать исключения из закона для двух помощников.

Наступило молчание. Мужчины следили за дымом сигар. Роллинг внимательно рассматривал, нюхал трубку. Зоя повернула голову к Гарину. Он сказал:

— Хорошо. (Легкомысленный жест.) Опубликуйте. Исключение из второго закона делается для двух людей на острове: для мадам Ламоль и...

Он весело рассмеялся, перегнулся через стол и хлопнул Шельгу по плечу:

— Ну-ка, товарищ Шельга, посмотрим, как вы переварите... Вот ему, Шельге, второму человеку доверяю тайну аппарата...

— А никак не переварю, — ответил Шельга, снимая с плеча его руку, — отказываюсь.

— Основание?

— Не обязан объяснять. Подумайте, — сами догадаетесь.

— Я поручаю вам уничтожить американский флот.

— Дело милое, что и говорить. Не могу.

— Почему, чорт возьми?

— Как почему... Потому, что путь скользкий... Рук не стоит марать из-за мелочей.

— Смотрите, Шельга...

— Смотрю...

У Гарина торчком встала бородка, блеснули зубы. Он сдержался. Спросил тихо:

— Вы что-нибудь задумали?

— Моя линия, Петр Петрович, открытая. Я ничего не скрываю. Бороться вам не мешаю, — знаете. Но от лестного предложения отказываюсь.

Короткий этот разговор был веден по-русски. Никто, кроме Зои, его не понял. Шельга снова принялся чертить завитушки на бумаге. Гарин сказал:

— Итак, помощником при гиперболоидах назначаю одного, — мадам Ламоль. Если вы согласны, сударыня, — Аризона стоит под парами, — утром вы выходите в океан...

— Что я должна делать в океане? — спросила Зоя.

— Грабить все суда, которые попадутся на линиях Транспасифик. Через неделю мы должны заплатить рабочим. Если запоздаете немного, — пустяк, только дайте знать по радио, что деньги есть.

58.

В двадцать третьем часу с флагманского линейного корабля было замечено постороннее тело над созвездием Южного Креста.

Голубоватые, как хвосты комет, дымные лучи прожекторов, омахивающие звездный небосвод, заметались и уперлись в постороннее тело. Оно засветилось отчетливо. Сотни подзорных труб с восьми крейсеров рассмотрели металлическую гондолу, прозрачные круги винтов и сбоку воздушного корабля буквы П. и Г.

Защелкали огненные сигналы на судах. С флагманского корабля снялись с палубы два гидроплана и, рыча, стали круто забирать к звездам. Слетели еще два аппарата со второго за флагманским крейсера. Эскадра, увеличивая скорость, шла в кильватерном строе.

Гул самолетов становился все прозрачнее, все слабее. И, вдруг, воздушный корабль, к которому взвивались они, — исчез с поля зрения. Много подзорных труб было протерто носовыми платками. Корабль пропал в ночном небе, сколько ни щупали прожекторы.

Но вот слабо донеслось туканье пулемета: нащупали. Оборвалось. В голубом луче, перевертываясь, понеслась отвесно вниз блестящая мушка. Смотревшие в трубы ахнули, — это падал гидроплан, и где-то рухнул в черные волны. Что случилось?

И снова, — тактактактак, — застучали в небе пулеметы, и так же оборвался их стук, и один за другим все три самолета пролетели сквозь лучи прожекторов, кубарем, штопорами бухнулись в океан. Бешено заплясали огненные сигналы с флагманского судна. Замигали до самого горизонта ответные огни. Что случилось?

Потом все увидали совсем низко, бегущее против ветра, — поперек кильватерной линии, — черное рваное облако. Это снижался воздушный корабль, окутанный дымовой завесой. На флагмане дали сигнал: «Берегись, газ. Берегись, газ». И сейчас же на палубу, на мостики, на бронебойные башни упали, разорвались с гнилым грохотом газовые бомбы.

Первым погиб адмирал, двадцативосьмилетний красавец, из гордости не надевший маски: — схватился за горло и опрокинулся со вздутым, посиневшим лицом. В несколько секунд отравлены были все, кто нахо-

дился на палубе: — противогазы оказались мало действительными. Флагманский корабль был атакован каким-то неизвестным газом.

Командование перешло вице-адмиралу (второе судно). Крейсера легли на правый галс и открыли огонь. Три залпа потрясли ночь. Три зарницы, вырвавшись из орудий, окровавили океан. Три роя стальных дьяволов, визжа слепыми головками, пронеслись чорт знает куда и, лопнув, озарили звездное небо.

Вслед за залпами с крейсеров снялись шесть гидропланов, — механики и пулеметчики в масках. Было очевидно, что первые четыре аппарата погибли, налетев на отравленную дымовую завесу воздушного корабля. Вопрос теперь касался чести американского флота. На судах погасили огни. Остались — звезды и океан. Только слышно было, как бились волны о стальные борта, да пели в вышине самолеты.

Наконец-то... Тактактактак — в вышине. Вспыхнуло несколько огоньков. Долетел звук откупориваемых бутылок. Это началась атака гранатами. В зените начало разгораться бурочерным светом клубящееся облачко. Из него выскользнул, наклонив тупой нос, кораблик. По верхнему гребню его плясали огненные язычки. Он несся наклонно вниз, оставляя за собой светящийся хвост, и, весь охваченный пламенем, упал за горизонтом.

Через полчаса один из гидропланов донес, что садился на воду около горевшего дирижабля и расстрелял из пулемета все, что на нем оставалось живого.

Победа дорого обошлась американской эскадре: погибло четыре самолета со всем экипажем. Отравлено газами на-смерть — двадцать восемь офицеров, в том числе адмирал эскадры, и — сто тридцать два матроса. Обиднее всего при таких потерях было то, что великолепные линейные крейсера с могучей артиллерией, оказались на положении бескрылых пингвинов: противник бил их сверху чортовым газом, как хотел. Необходимо было взять реванш, доказать действительную мощь морской артиллерии.

В этом духе контр-адмирал послал в ту же ночь в Вашингтон донесение о всех происшествиях морского боя. Он настаивал на бомбардировке Острова Негодяев.

Ответ морского министра пришел через сутки: итти к указанному острову и сравнять его с волнами океана.

59

— Ну, что? — вызывающе спросил Гарин, кладя на письменный стол чашечки радиоприемника...

Заседание происходило опять в пустом кабинете, в том же составе, кроме мадам Ламоль.

— Ну, что, милостивые государи!... Могу поздравить... Блокады больше не существует... Мы раздразнили быка, — отдан приказ о бомбардировке острова.

Роллинг сотрясся, поднялся с кресла, трубка вывалилась у него изо рта, лиловые губы искривились, точно он хотел и не мог произнести какое-то слово.

— Что с вами, старина? — спросил Гарин, — вас так волнует приближение родного флота? Не терпится повесить меня на мачте? Или струсили бомбардировки? Глупо вам, разумеется, разлететься на мокрые кусочки от американского снаряда. Или совесть, чорт возьми, у вас зашевелилась?.. Как никак при вашем участии мы начнем дня через два лупить ваших компатриатов... Нет, господа...

Гарин отвернулся от старика. Роллинг, так и не сказав ничего, опустился на место, прикрыл землистое лицо сухонькой, дрожащей ладонью...

— Нет, господа... Без риска можно наживать только три цента на доллар. Мы идем сейчас на огромный риск. Наш разведочный дирижабль, отлично выполнивший задачу... (Прошу почтить вставанием шесть погибших героев... Это были смелые ребята...) Нуте-с... Дирижабль успел протелефонировать мне подробно состав эскадры. Восемь крейсеров новейшего типа, вооруженных четырьмя броневыми башнями по три орудия в каждой. Надо полагать, что это пушки семнадцатидюймового калибра. После боя у них должно остаться не менее двенадцати гидропланов. Кроме того — контрминоносцы и подводные лодки. Если считать удар каждого снаряда в 75 миллионов килограмм живой силы, — залп всей эскадры по острову в круглых цифрах будет равен миллиарду килограмм живой силы.

— Тем лучше, тем лучше, — прошептал, наконец, Роллинг.

— Перестаньте хныкать, дедуля, стыдно... Я и забыл, господа, — мы должны поблагодарить мистера Роллинга за любезно предоставленное нам новейшее и пока еще секретнейшее изобретение его заводов: газ, под названием — «Черный Крест». Посредством его наши пилоты опрокинули в воду четыре гидроплана и вывели из строя флагманский корабль...

— Нет, я не предоставлял вам любезно «Черного Креста», мистер Гарин. Под дулом револьвера вы у меня вырвали приказание послать на остров баллоны с «Черным Крестом». Такова истина.

— Плюньте на истину, дяденька.

— Я протестую...

— Да ведь флота еще здесь нет...

Роллинг сопнул, опять прикрыл глаза ладошкой. Гарин стал развивать план защиты острова. Нападения эскадры нужно было ожидать на рассвете на третьи сутки.

60.

Аризона подняла пиратский флаг.

Это совсем не означало, что на ней взвилось черное с черепом и берцовыми костями романтическое знамя морских разбойников семнадцатого

века. Теперь разве только на бутылочках с сулемой изображались подобные ужасы.

Флага, собственно, на Аризоне не было поднято никакого. Две решетчатые башни с гиперболоидами слишком отличали ее профиль от всех судов на свете. Командовал Янсен, подчиненный верховной власти в лице мадам Ламоль.

Великолепное помещение Зои, — спальня, ванная, туалетная, салон, — заперто было на ключ. Зоя помещалась на верху в капитанской рубке вместе с Янсеном. Прежняя роскошь, — синие шелковые тенты, ковры, подушки, кресла, — все было убрано. Команда, взятая еще в Марселе, вооружена кольтами и короткими винтовками. Объявлена военная дисциплина, — за проступок — расстрел. Объявлена цель выхода в море, и — призы команде в размере десяти процентов с каждого захваченного судна.

Все свободное помещение на яхте заполнено бидонами с бензином и пресной водой. При боковом ветре, под всеми парусами, с полной нагрузкой изумительных моторов Рольс Ройс, Аризона летела, как альбатрос, — сорок узлов в час, — с гребня на гребень по взволнованному океану.

61.

— Ветер подходит к четырем с половиной баллам, капитан.

— Убрать марселя.

— Есть, капитан.

— Проверять каждый час вахты. Дозорного в бочку на грот.

— Есть, капитан.

— Будут замечены огни, — немедленно будить меня.

Янсен прищурился на непроглядную пустыню океана. Луна еще не всходила. Звезды были затянуты пеленой. Он покатал желваками на скулах. За все эти пять суток пути на северо-запад у него не проходило ощущение легкости и легкаго холодка в крови. Ну, что ж, — пиратством жили прадеды. Он кивком простился с помощником и вошел в рубку.

И, когда он вошел в рубку, легкие мускулы его тела испытали знакомое сотрясение, обессиливающую отраву. Он неподвижно стоял под матовым полушарием потолочной лампы. Голова тяжелела, кружилась. Низкая, комфортабельная, отделанная кожей и лакированным деревом каюта, — строгое, холодноватое жилище одинокого моряка, — была насыщена присутствием молодой женщины.

Прежде всего здесь пахло духами. Тысяча демонов!.. Предводительница пиратов душилась так, что у мертвого бы заходила селезенка. На спинку стула небрежно кинула фланелевую юбку и золотистый свитер. На пол, прямо на коврик, сброшены чулки вместе с подвязками, — один чулок как будто еще хранил форму ноги. Уфффф...

Мадам Ламоль спала на его койке. (Янсен все эти пять дней, не раздеваясь, прикладывался на кожаном диванчике.) Она лежала на боку.

Видимо, легла одетая, как это и полагалось пиратке, потом, сонная, кое-как посбросала все с себя, залезла под одеяло.

Губы ее были приоткрыты. Лицо — осмуглено морским ветром. Румянец от сна. Лицо невинное, покойное. Голая рука над головой. Пиратка.

Тяжелым испытанием было для Янсена это воинственное решение мадам Ламоль — поселиться вместе с ним в капитанской каюте. С боевой точки зрения — правильно. Шли на разбой, быть может, на смерть. Во всяком случае, если бы их поймали, — обоих повесили бы рядом на железной мачте. Но так обошлись бы те, из того мира, теперь столь же далекого Янсену, как семнадцатый век. Он был подданным мадам Ламоль, королевы Золотого острова. Он любил ее.

Сколько там ни объясняй физиологи; — любовь — темная история. Янсен видывал и девченок из портовых кабаков и великолепных лэди на пароходах, от скуки и любопытства падавших с закаченными глазами в его морские объятия. Иные забывались, как пустая страница не интересной книжки, иных приятно было вспоминать в часы спокойной вахты, похаживая по мостику под теплыми звездами.

Так и в Неаполе, когда Янсен дожидался в курительной звонка мадам Ламоль, — было еще что-то похожее на его прежние похождения. В здравой памяти он готовился прыгнуть в постель к любовнице своего патрона. Прыжка не случилось.

По всем данным, какие известны о Янсене, он должен был настойчиво добиваться цели, — не даром в трудных случаях у него выпячивался подбородок и наливались мускулы: вот я, вот женщина, между нами преграда, прошибем ее лбом. Таковы данные. Но, боже мой, до чего они были недостаточны.

Прошло полгода, и Янсену дико было даже вспоминать, — неужели, вот этой рукой он когда-то в здравой памяти держал спину танцующей мадам Ламоль? Теперь, услышав с другого конца яхты нежный и звонкий голос, — он медленно вздрагивал, точно в нем разражалась тихая гроза. Когда он видел мадам Ламоль, сидящую в плетеном кресле, опустив подбородок на ладонь, с глазами, блуждающими по краю неба и воды, — ему хотелось плакать, не слезами, а где-то в груди, внутри, за границами разумного — пело и тосковало и плакало от нежности, от преданности, от влюбленности.

Может быть, причиной всему были викинги, морские разбойники, предки Янсена, — те, которые плавали далеко от родной земли по морям в красных ладьях с поднятой кормой и носом в виде петушиного гребня, с повешенными по бортам щитами, с прямым парусом и ясеневой мачтой, — у ней стаивал Янсен-пращур и пел непередаваемый вздор о синих волнах, о грозовых тучах, о светловолосой деве, о той, далекой, что ждет у берега моря, и глядит вдаль, — проходят года, и глаза ее, как синее море, как грозовые тучи. Вот из какой давности налетала мечтательность на бедного Янсена.

Всеми достоинствами, какие чудились ему сгоряча, он наградил мадам Ламоль: и безгрешностью, и добротой, и умом... (Правда, она была умнее его.) Он находился в том состоянии, когда воображение оглушено, одной улыбки достаточно, чтобы потом ходить, как пьяному, — все чувства поглощены видением женщины, — и нет ни ревности, ни раздумья, ни сожаления.

Стоя в каюте, пахнущей кожей и духами, он с отчаянием и восторгом глядел на милое лицо, на *свою любовь*. Он боялся, что она проснется. Неслышно подошел к дивану, лег. Закрыл глаза. Шумели волны за бортом. Шумел океан. Пращур пел песню о деве. Янсен закинул руки за голову, как это делают дети, и сон и счастье прикрыли его.

62.

Погрузка радиевой руды была закончена. Четыре дирижабля приняли каждый по сто мешков руды, обернутых в свинцовую бумагу. С утра сегодня воздушные корабли поднимались и исчезали во вьюжных тучах.

Местность у Шайтан-камня нельзя было теперь узнать. На очищенной от пней и камня поляне стояли досчатые ангары и радио-мачты. У ручья пыхтела электрическая станция. Материалы и рабочие подвозились по воздуху. Полным ходом шли работы по добыче и обогащению руды. В Париж, обществу С. А. М., и в Благовещенск Артур Леви посылал отчеты о широких разведках молибдена. О том, что на самом деле делалось у Шайтан-камня, никто не догадывался.

Был десятый час утра. Снежная буря усиливалась. Четвертый из дирижаблей еще висел над поляной. Буран раскачивал его сигарообразное тело. Снизу казалось, что в воздухе повисло днище гигантской железной баржи. Механики едва успевали очищать от снега обшивку.

— Слушайте, Леви, — крикнули с корабля, — нужно сниматься, какого чорта! Или вводите корабль в ангар?

Артур Леви, стоявший под днищем на снегу около алюминиевой лесенки гондолы, дернул плечами.

— Приказано привести мальчишку во что бы то ни стало. Его ищут.

Иван Гусев пропал этой ночью. Обыскали весь поселок, снарядил погоню. Был строгий, повторенный несколько раз, приказ Гарина по радио, — мальчика живым доставить на остров. На запрос — привозить ли Манцева, Гарин ответил: «Не любопытно». Но Манцев все равно бы никогда не увидел ни ванны, ни чистого белья, ни дорогого табаку и прочее... Он умирал на печке в одном из бараков. Иван Гусев ухаживал за ним, и было предположение (у Волшина), что Манцев выболтал в бреду всю правду о махинациях Гарина. Мальчишка удрал из поселка, несомненно, чтобы донести властям.

— Далеко не уйдет, — говорили рабочие, стоявшие у причалов воздушного корабля.

— Зги не видно.

— Олень не уйдет в такую метель, не то, что человек.

Из-за воя метели донеслись голоса. Кто-то, крича, бежал к воздушному кораблю. Его мутный силуэт показался за облаками снега. Это был Манцев: без шапки, в развевающейся дохе на голом теле, изъеденном болячками.

— Лечу! — вопил он и что-то еще силился прокричать, как глухонемой, одеревенелым языком. Львиное, с вылезшей бородой, с одним уцелевшим глазом, воспаленное лицо его было так страшно, что Волшин отскочил от лесенки. Рабочие заговорили:

— Какой живучий.

— Он на печке все тосковал, как бы его не забыли.

— Куда его брать — он весь гнилой...

Манцев протягивал Артуру Леви культяпки отгнивших пальцев и что-то повторял и выходило у него: «А ба ла ба ла ба ба»...

— Нельзя. Не возьму, на корабле нет места, полетите в следующий рейс. — Волшин повернулся к нему спиной. Командир дирижабля опять требовал сниматься... Волшин стоял на своем. В это время со стороны Шайтан-камня появился высокий, занесенный снегом человек. Он нес на руках меховой комочек. Подойдя к Артуру Леви, раздвинув снежную бороду зубастой улыбкой, сказал:

— Наверх, что ли, его?

— Где нашел?

— Не далеко. В лесу, в камнях.

Волшин отогнул мех, заглянул, — на руках у великана лежал комочком Иван Гусев, — лицо его казалось восковым, губы тесно сжаты, веки опущены.

— Жив?

— Дышит, отойдет. Он, как попал в камни, так его и начало крутить пургой. Я сначала думал: — медвеженок, — приткнулся под елью.

Волшин взял мальчика на руки, поднялся в гондолу и с силой захлопнул за собой дверцу. Манцев затрясся, ухватился за лесенку, прислонился к ней всклокоченной головой:

— И я... И я...

Несколько рук отодрали его. Он сел в снег. Всплеснул рукавами дохи.

— Трави! — крикнул сверху командир. — Отдавай концы!

Металлическое днище закачалось. Стрельнули, затрещали моторы. Закрутились винты, отскочили в сторону люди. Корабль пошел вверх в бешено крутящиеся облака снега. Кто-то из кучки рабочих крикнул:

— Счастливого...

Манцев вскочил. Никто не ждал от него такой прыти. Ухватился за последние ступени аллюминиевой лесенки. Его вздернуло, подняло. Растопыренные ноги его, развевающиеся полы дохи понеслись в небо.

Далеко ли он улетел, на какой высоте сорвался и где упал, — неизвестно. Смерть его была легкая, — сердце остановилось между небом и землей.

63.

— Капитан... (Стук в дверь...) Капитан!..

— Янсен! — встревоженный голос мадам Ламоль иглой прошел через мозг. Капитан Янсен вскочил, — вынырнул с одичавшими глазами из сновидений. Мадам Ламоль торопливо натягивала чулки. Рубашка ее спустилась, оголив плечо.

— Тревога, — сказала мадам Ламоль, — а вы спите...

В дверь опять стукнули. Голос помощника:

— Капитан, огни с левого борта.

Янсен растворил дверь. Сырой ветер рванулся ему в легкие, он закашлялся, вышел на мостик. Ночь была непроглядна. С левого борта, вдали, над волнами покачивалось два огня.

Не сводя глаз с огней, Янсен пошарил на груди свисток. Свистнул. Ответили боцмана. Янсен сказал:

— Свистать всех наверх. Убрать паруса.

Раздались свистки, крики команды. С бака, с юта повысыпали матросы. Они, как кошки, полезли по выбленкам на мачты, закачались на реях. Заскрипели блоки, из пастей боцманов полетели чудовищные проклятия. Паруса упали. Янсен скомандовал:

— Право руля! Вперед — полный! Гаси огни!

Аризона повернула. С правого борта взвился гребень волны и покатился по палубе. Огни погасли. В полной темноте корпус яхты задрожал, развивая предельную скорость.

Замеченные огни быстро вырастали из воды. Скоро мутным силуэтом показалось все судно, сильно дымившее. Это был огромный торгово-пассажирский пароход. На капитанский мостик вышла мадам Ламоль. На голову она надвинула вязаный колпачек с помпончиком, на шее — мохнатый шарф, вьющийся за спиной. Она казалась подростком в облегающем ее свитере. Янсен подал ей бинокль. Она поднесла к глазам, но так как сильно качало — пришлось положить руку с биноклем на плечо Янсену. Он слушал, как бьется ее сердце под теплым свитером.

— Нападем, — сказала она и близко, взволнованно, посмотрела ему в глаза.

Метрах в пятистах Аризона была замечена с парохода. На нем замахали фонарем, затем низко завыла сирена. Аризона без огней, не отвечая на сигналы, мчалась под прямым углом к освещенному кораблю. Он замедлил ход, начал поворачивать, стараясь избежать столкновения...

. . . .

Вот как описывал неделю спустя корреспондент «Нью-Йорк Геральд» это дело:

«...Было без четверти пять, когда нас разбудил тревожный рев сирены. Пассажиры высыпали на палубу. После света кают ночь казалась похожей на чернила. Мы заметили тревогу на капитанском мостике и шарили биноклями в темноте. Никто толком не знал — что случилось. Пароход

замедлял ход. И вдруг мы увидели *это*... На нас мчался серый остов какого-то невиданного судна. Узкий и длинный с тремя наклоненными назад мачтами, на корме и носу возвышались странные башни, похожие на остовы подъемных кранов старинного фасона... Кто-то в шутку сказал, что это — «Летучий Голландец»... На минуту всех охватила паника. В ста метрах от нас таинственная яхта остановилась, и глухой голос оттуда прокричал в рупор по-английски:

«— Ложитесь в дрейф. Закрыть топки. Остановить машины.

«Наш капитан ответил:

«— Раньше, чем исполнить приказание, нужно знать — кто приказывает.

«С яхты крикнули:

«— Приказывает королева «Золотого острова».

«Мы были ошеломлены, — что это — шутка? Новая наглость Пьера Гарри? Капитан ответил:

«— Предлагаю королеве свободную каюту во втором классе и сытный завтрак, если она голодна».

«Это были слова из фокстрота «Бедный Гарри». На обеих палубах раздался хохот. И сейчас же на яхте, на носовой башне появился луч. Он был тонок, как вязальная игла, ослепительно белый и шел из купола башни, не расширяясь. Никому в ту минуту не приходило в голову, что — перед нами — самое страшное оружие, когда-либо выдуманное человечеством. Мы были очень весело настроены.

«Луч описал петлю в воздухе и упал отвесно на носовую часть корабля. Послышалось ужасающее шипение, вспыхнуло зеленоватое пламя разрезаемой стали. Дико закричал матрос, стоявший на юте. (Найден обуглившимся.) Носовая, надводная часть корабля вместе с бушпритом упала в море. Луч поднялся, задрожал в вышине и, снова опустившись, прошел над кораблем, параллельно ему. С грохотом на палубу повалились верхушки обеих мачт. В панике пассажиры кинулись к трапам. Капитан был ранен осколком.

«Остальное известно. Пираты подъехали на шлюпке, вооруженные короткими карабинами, поднялись на борт и потребовали денег. Они взяли 10 миллионов долларов, — все, что находилось в почтовых переводах и в карманах у пассажиров.

«Когда шлюпка с награбленным вернулась, на пиратской яхте ярко осветилась палуба. Мы видели, как с решетчатой башни на носу спустилась высокая, худощавая женщина в вязаном колпаке, стремительно взошла на капитанский мостик и приложила ко рту рупор. Откинувшись, она крикнула нам:

«— Можете свободно продолжать путь.

«Пиратский капитан, отбиравший у нас деньги, поцеловал ей руку. на яхте раздались рукоплескания.

«Яхта сделала поворот и с необычайной быстротой скрылась за горизонтом».

64.

События последних дней, — нападение на американскую эскадру дирижабля «П. Г. 5» и приказ флоту о бомбардировке, — взбудоражили все население Золотого острова.

В контору посыпались заявления о расчете. Из сберегательной кассы брали вклады. Рабочие совещались за проволоками, не обращая внимания на желто-белых гвардейцев, с мрачными и решительными лицами шагавших по полицейским тропинкам. Поселок был похож на потревоженный улей. Напрасно завывали медные трубы и бухали турецкие барабаны в овраге перед публичными домами. Луна-парк и бары были пусты. Напрасно пятнадцать провокаторов прилагали нечеловеческие усилия, чтобы разрядить дурное настроение в национальную потасовку. Никто никому в эти дни не хотел выпускать кишек за то только, что он живет за другой проволокой.

Инженер Чермак расклеил по острову правительственное сообщение. Объявлялось военное положение, запрещались сборища и митинги, до особого распоряжения никто не имел права требовать расчета. Население предостерегалось от критики правительства. «Критикан, как грязная тряпка, злодейски сунутая в машину, — говорил инженер Чермак, — критикану — камень на шею и — в океан». Работы в шахте должны продолжаться без перебоя день и ночь. «Тех, кто грудью поддержит правительство в эти дни, — тех ожидает сказочное богатство. Малодушных мы сами вышвырнем из нашей среды. Помните, — мы боремся против тех, кто мешает нам разбогатеть».

Несмотря на решительный дух этого сообщения, утром, накануне дня, в который ожидалось нападение флота, шахтовые рабочие заявили, что они остановят машины жидкого воздуха, если сегодня до полудня не будет выплачено жалованье (это был день получки), и до полудня же не будет послано американскому правительству заявление о миролюбии и о прекращении всяких военных действий.

Остановить машины жидкого воздуха — значило взорвать шахту, быть может, вызвать извержение расплавленной магмы. Угроза была сильна. Инженер Чермак сгоряча пригрозил расстрелом. У шахты стали сосредоточиваться бело-желтые. Тогда сто человек рабочих спустились в шахту, в боковые пещеры и по телефону сообщили в контору: «Нам не оставляют выхода, кроме смерти, к четырем часам взрываемся вместе с островом».

Все же это была отсрочка на четыре часа. Инженер Чермак убрал из района шахты гвардию и на мотоциклетке помчался во дворец. Он застал за беседой Гарина и Шельгу, обоих — красных и встрепанных. Гарин вскочил, как бешеный, увидев Чермака.

— У кого вы учились административной глупости?

— Но...

— Молчать!.. Вы отставлены. Отправляйтесь в лабораторию и занимайтесь со своими дурацкими микроскопами... Вы осел...

Гарин распахнул дверь и вытолкнул Чермака. Вернулся к столу, на углу которого сидел Шельга с сигарой.

— Товарищ Шельга, настал час, — я его предвидел, — один вы можете овладеть движением, спасти все дело... То, что началось на острове, — страшнее десяти американских флотов.

— Н-да, — сказал Шельга, — давно бы пора понять...

— Не читайте морали... Я назначаю вас губернатором острова с чрезвычайными полномочиями... Попробуйте отказаться, — торопливо, забирая на самые верхи, закричал Гарин, кинулся к столу, вытащил револьвер, — коротко: если нет — я стреляю... Да, или нет?

— Нет, — сказал Шельга, косясь на револьвер. Гарин выстрелил. Шельга поднес руку, державшую сигару, ко рту:

— Дерьмо собачье, сволочь...

— Ага, значит — согласны?

— Положите эту штуку.

— Хорошо. (Гарин швырнул револьвер в ящик.)

— Что вам нужно? Чтобы рабочие не взорвали шахты? Ладно. Не взорвут. Но — условие.

— Заранее согласен.

— Как я был частным лицом на острове, так и останусь. Я вам не слуга и не наемник. Это первое. Пятнадцать национальных границ сегодня же уничтожить, чтобы ни одной проволоки. Это второе...

— Согласен.

— Шайку ваших провокаторов...

— У меня нет провокаторов, — быстро сказал Гарин.

— Врете...

— Ладно, — вру. Что с ними? Утопить?

— Сегодня же ночью.

— Сделано. Считайте дармоедов утопленными. (Гарин быстро помечал карандашем на блок-ноте.)

— Последнее, — сказал Шельга, — полное невмешательство в мои отношения с рабочими.

— Ой-ли. (Шельга сморщился, стал слезать со стола. Гарин схватил его за руку.) Согласен. Придет время, я вам обломаю бока. Что еще?

Шельга, сощурясь, раскуривал сигару так, что за дымом не стало видно его лукавого, обветренного лица с короткими светлыми усиками, с приподнятым носом. В это время зазвонил телефон. Гарин взял трубку:

— Я. Что? Радио?

Он положил трубку и надел наушники. Слушая, кусал ноготь. Рот его пополз вкось усмешкой:

— Можете успокоить рабочих. Завтра мы платим. Мадам Ламоль достала десять миллионов долларов. Сейчас посылаю за деньгами прогу-

лочный дирижабль. Аризона всего в четырехстах милях на северо-западе.

— Вот это дело, — сказал Шельга, — до свидания.

Не прощаясь, он вышел.

65.

Повиснув на потолочных ремнях, так чтобы ноги не касались пола, зажмурившись и на секунду задержав дыхание, Шельга рухнул вниз в стальной коробке лифта, со скоростью 18 километров в минуту.

Охлаждение параллельной шахты было неравномерным, и от пещеры к пещере приходилось пролетать горячие пояса, — спасала только скорость падения.

На глубине двадцати километров, глядя на красную стрелку указателя, Шельга включил реостаты и остановил лифт. Это была пещера № 37. В трехстах метрах глубже нее на дне шахты гудели, как вольтовы дуги, гиперболоиды, и раздавались короткие, непрерывные взрывы раскаленной почвы, охлаждаемой машинами сжатого воздуха. Позвякивали, шуршали черпаки элеваторов, уносящие породу на поверхность земли.

Пещера № 37, как и все пещеры, сбоку главной шахты, представляла из себя внутренность железного клепаного куба. За стенками его испарялся жидкий воздух, охлаждая гранитную толщу. Пояс кипящей магмы, видимо, был неглубоко, ближе, чем это предполагалось по данным электромагнитных и сейсмографических разведок. Гранит был накален до пятисот градусов. Остановись хотя бы на полчаса действие охладителей, все живое в пещерах превратилось бы в пепел.

Внутри железного куба стояли койки, лавки, ведра с водой. На четырехчасовой смене рабочие приходили в такое состояние, что их полуживыми укладывали на койки, прежде чем поднять на поверхность земли. Шумели вентиляторы и воздуходувные трубы. Лампочка под клепаным потолком резко освещала мрачные, нездоровые, отечные лица двадцати пяти человек. Семьдесят пять рабочих находились в пещерах выше, соединенные телефонами.

Шельга вышел из лифта. Кое-кто обернулся к нему, но не поздоровались, — молчали. Очевидно — решение взорвать шахту было твердое.

— Переводчика. Я буду говорить по-русски, — сказал Шельга, садясь к столу и отодвигая локтем банки с мармеладом, с английской солью, недопитые стаканы вина. (Всем этим правительство острова щедро снабжало шахтеров.)

К столу подошел синевато-бледный, под щетиной бороды, сутулый, костлявый еврей. Тонкой шеей и падающими веками он походил на подбитую птицу.

— Я переводчик.

Шельга начал говорить...

. . . .

...—Гарин и его предприятия—не что иное, как крайняя точка капиталистического сознания. Дальше Гарина итти некуда:—насильственное превращение трудящейся части человечества в животных путем мозговой операции; отбор избранных,—царей жизни, патрициев; ограничение рождаемости; остановка хода цивилизации на «золотой точке». Буржуа пока еще не понимают Гарина,—да он и сам не старается, чтобы его поняли. Его считают бандитом и захватчиком. Будут сделаны все усилия, чтобы уничтожить Гарина и завладеть его предприятиями. Если его убьют,—лет через сто он будет считаться пророком, его идеи—заповедями. Но в том-то и дело, что победит он: у него гиперболоид и золото. У него—идея и чортов наскок. У буржуа—грязные тряпки вместо былых знамен, да трясучка за кошельки. Он им всыплет. Страшно одно, чтобы Гарин не сговорился с американскими капиталистами. Тогда вам придется туго, товарищи. Не поручусь, что, действительно, может пройти закон о мозговой операции. А вы в этой коробке, на глубине двадцати верст под землей, решили умереть, лишь бы Гарин не ссорился с американским правительством. Это все—от бессознательности. Но он не станет мириться ни за какие коврижки,—ваше счастье. Гарин—жаден до жизни, до власти. Самолюб. Безобразник и озорник, прежде всего. У него кровь славянская. Как же вам теперь быть, подумайте? Одолеет Гарин—плохо, одолеют американские буржуа—плохо, сговорятся они—для вас хуже некуда. Цену себе вы не знаете, товарищи. Час тому назад Гарин мне предлагал неограниченную власть на острове. Я отказался,—дешевка. У Гарина гиперболоиды на башнях, 500 человек охраны, продовольственные склады. А сила—у вас. И через месяц черпаки погонят золото наверх не для Гарина, а для вас,—для того дела, которое мы должны совершить на земле. Если вы мне верите, товарищи, но как верите,—свирепо, в самую душу... Тогда я—ваш вождь... Выбирайте единогласно... Я покажу, с какого конца надо ухватиться... А если не верите...

Шельга приостановился, оглянул угрюмые лица рабочих, устремленные на него немигающие глаза,—сильно почесал в затылке...

— Если не верите,—еще буду разговаривать.

К столу подошел, голый по пояс, весь в саже, плечистый юноша. Нагнувшись, посмотрел на Шельгу синими, как у галки, глазами. Поддернув штаны, повернулся к товарищам:

— Я верю.

— Верим,—сказали остальные. Через многоверстную гранитную толщу долетело по телефонам: верим, верим.

— Ну, верите, так ладно,—сказал Шельга,—теперь по пунктам: национальные границы к вечеру уберут. Зарплату получаете завтра. Гвардейцы пусть охраняют дворец,—мы без них обойдемся. Пятнадцать душ провокаторов утопили,—это я первым условием поставил. Теперь задача—как можно скорее пробиться к золоту. Правильно, товарищи?

— Указывай, ты—вождь,—сказали рабочие.

66.

Ночью на северо-западе появился блуждающий свет прожекторов. В гавани тревожно завыли сирены. На рассвете, когда море еще лежало в тени, — появились первые вестники приближающейся эскадры: высоко над островом закружились самолеты, поблескивая в розовой заре.

Гвардейцы открыли было по ним стрельбу из карабинов, но скоро перестали. Кучками собирались жители острова. Над шахтой продолжал куриться дымок. Били склянки на судах. На большом транспорте шла разгрузка, — береговой кран раскачивал над водой, бросал на берег накрест перевязанные тюки. Океан был как зеркало в туманном куреве. Все звуки казались нежными и свежими. В небе пели воздушные винты.

Поднялось солнце мутным шаром. И тогда все увидели на горизонте дымы. Они ложились длинной и плоской тучей, тянувшейся на юго-восток. Это приближалась смерть.

На острове все затихло, как будто перестали даже петь птицы. В одном месте кучка людей побежала к лодкам в гавани, и лодки, нагруженные до бортов, торопливо пошли в открытое море. Но лодок было мало, остров— как на ладони, укрыться негде. И жители стояли в столбняке, молча. Иные ложились лицом в песок.

Во дворце также не было заметно движения. Бронзовые ворота заперты. Вдоль красноватых наклонных стен ходил с карабинами за спиной десяток гвардейцев в широкополых шляпах, в куртках, вышитых золотом. В стороне возвышалась прозрачная, как кружево, башня большого гиперболоида. Восходящая пелена тумана скрывала от глаз ее верхушку. Но мало кто надеялся на эту защиту. Буро-черное облако на горизонте было слишком вещественно и угрожающе.

Многие с испугом обернулись в сторону шахты. Там заревел гудок третьей смены. Нашли время работать! Будь проклято золото! Затем пробили часы на крыше замка восемь. И тогда по океану покатился грохот, тяжелые, возрастающие громовые раскаты. Первый залп эскадры. Секунды ожидания, казалось, растянулись в пространстве в звуках налетающих снарядов.

67.

Когда раздался залп эскадры, Роллинг стоял на террасе, на верху лестницы, спускающейся к воде. Он вынул изо рта трубку и, силясь овладеть собой, слушал рев налетающих снарядов, — их мчалось к острову, прямо в мозг Роллингу, не менее девяносто шести штук. (Стальных, начиненных нарывным газом пополам с мелинитом, семнадцатидюймовых снарядов.) Они победоносно ревели. Сердце, казалось, не выдержит этих звуков. Роллинг попятился к двери в гранитной стене. (Он давно приготовил себе убежище в подвале на случай бомбардировки.) Снаряды разорвались далеко в море, взлетев водяными столбами. Громыхнули. Недолет.

Тогда Роллинг стал смотреть на вершину сквозной башни. Там, со вчерашнего вечера, сидел Гарин. Круглый купол на башне вращался, — это было заметно по движениям меридиональных щелей в куполе. Роллинг надел пенснэ и всматривался, задрав голову. Купол вращался очень быстро — направо и налево. При движении направо, — видно было, как по меридиональной щели ходит вверх и вниз блестящий ствол гиперболоида.

Самым страшным была та торопливость, с которой Гарин работал аппаратом. И — тишина. Ни звука на острове.

Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. Роллинг поправил пенснэ на взмокшем носу и глядел теперь в сторону эскадры. Там расплывались грибами три кучи бело-желтого дыма. Левее их вспугивались лохматые клубы, озарились кроваво, поднялись, и вырос, расплылся четвертый гриб. Докатился четвертый раскат грома.

Пенснэ все сваливалось с носа Роллинга. Но он мужественно стоял и смотрел, как за горизонтом вырастали дымные грибы, как все восемь линейных кораблей американской эскадры взлетели на воздух.

Снова стало тихо на острове, на море и в небе. В сквозной башне сверху вниз мелькнул лифт. Хлопнули двери в дому, послышалось фальшивое насвистывание фокстрота, на террасу выбежал Гарин. Лицо у него было измученное, измятое, волосы — торчком.

Не замечая Роллинга, он стал раздеваться. Сошел по лестнице к самой воде, стащил подштанники цвета семги, рубашку с крахмальной грудью. Глядя на море, где еще таял дым над местом погибшей эскадры, чесал себя подмышками. Он был, как женщина, белый телом, — сытенький, в его наготе было что-то постыдное и отвратительное.

Он попробовал ногой воду, присел по-бабьи навстречу волне, поплыл, но сейчас же вылез и только тогда увидел Роллинга.

— А, — протянул он, — а вы что — тоже купаться? Холодно, чорт его дери.

Он вдруг рассмеялся полоумным смешком, захватил одежду и, помахивая подштанниками и не прикрываясь, во всей срамоте ушел в дом. Такого унижения Роллинг еще не переживал. От ненависти, от омерзения сердце его оледенело. Он был безоружен, беззащитен. В эту минуту слабости он почувствовал, как на него легло прошлое, — вся тяжесть истраченных сил, бычьей борьбы за первое место в жизни... И все для того, чтобы мимо торжествующе прошествовал тот, кто сильнее, — голый бесстыдник.

Ноги его подкосились. Стоя у края террасы, где она обрывалась глубоко вниз, в прибрежные камни, Роллинг стащил пиджак, закрыл им лицо, обвернул голову. Затрясся в смертельном ознобе. Но сломил себя. Ощупью перелез через перила, качнулся и полетел в пустоту, — тяжело, мешком, упал на камни.

Таков был конец великого Роллинга, химического короля.

68.

Впечатление, произведенное в Америке и Европе гибелью тихоокеанской эскадры, было особенное, потрясающее, небывалое. Северо-Американские Соединенные Штаты всенародно получили удар в зубы, отдавшийся по всей земле. Правительства Германии, Франции, Англии, Италии, промышленные круги — неожиданно, с нездоровой нервностью, — как это бывает с людьми, на которых несчастье валится за несчастьем, — воспрянули духом: показалось — а вдруг в нынешнем году (а вдруг и совсем) не нужно будет платить процентов (180 миллионов долларов) распухшей от золота Америке. «Эге, колосс-то оказался на глиняных ногах, — писали в газетах, — не так-то просто, заокеанские друзья, завоевывать мир... Эге (это «эге» относилось уже к Советским республикам), видимо старая Европа на этот раз обойдется без революций»...

В Азии тоже скалили зубы, в особенности в Японии. — «Хи-хи, — писали там, — вопрос о занятии островов Фиджи североамериканским флотом, надо полагать, откладывается»...

Кроме того, сообщения о пиратских похождениях Аризоны внесли перебой в морскую торговлю. Владельцы пароходов отказывались от погрузки, капитаны боялись итти через океан, страховые общества подняли цены, в банковских переводах произошел хаос, начались протесты векселей, лопнуло несколько торговых домов. Англия и Голландия поспешили просунуть на американские колониальные рынки свои товары.

Неудачный морской бой обошелся Америке в большие деньги. Пострадал престиж, или, как его называли, — «национальная гордость». Промышленники требовали мобилизации всего морского и воздушного флотов, — войны до победного конца, чего бы это ни стоило. Американские газеты грозились, что «не снимут траура» (названия газет были обведены траурной рамкой, — это на многих производило впечатление, хотя типографски стоило недорого) — покуда Пьер Гарри не будет привезен в железной клетке в Нью-Иорк и, затем, казнен на электрическом стуле. В города, в обывательскую толщу, проникали жуткие слухи об агентах Гарина, снабженных будто бы карманным инфра-красным лучом. Были случаи избиения неизвестных личностей и мгновенных паник на улицах, в кино, в небоскребах. Вашингтонское правительство грохотало словами, но на деле повиливало. Дело в том, что единственное из всего флота судно, уцелевшее от гибели под Золотым островом, миноносец — привез военному министру донесение о бое, подробности настолько страшные, что их побоялись опубликовать. Семнадцатидюймовые орудия были бессильны против световой башни, защищающей Остров Негодяев.

Все эти неприятности, а также задержка платежа процентов Старым Светом и растущий там недопустимо независимый тон заставили правительство Соединенных Штатов созвать в Вашингтоне конференцию. Ее лозунгом было: «Все люди суть дети одного бога, довольно братской розни, подумаем о мирном процветании человечества».

Когда был опубликован день конференции, редакции газет, радиостанции всего мира получили извещение о том, что инженер Гарин лично будет присутствовать на открытии.

69.

Гарин, Чермак и Шеффер опускались в лифте в глубину главной шахты. За слюдяными окошками проходили бесконечные ряды труб, проводов, креплений, элеваторных колодцев, площадок, железных дверей.

Миновали 18 поясов земной коры, — 18 слоев, по которым как по слоям дерева отмечались эпохи жизни планеты. Органическая жизнь начиналась с четвертого «от огня» слоя, образованного палеозойским океаном. В его теплые воды упали живые клетки, бесконечно малые организмы, несущиеся вечно в мировом эфире вместе со светом, — увлекаемые им. Девственный океан был насыщен неведомой нам жизненной силой. Мутная вода его содержала радиоактивные соли и большое количество углекислоты. Это была «вода жизни».

Гонимые светом, застывшие в ледяном эфире микроскопические существа яростно и вольно стали плодиться и расти в океане. На заре мезозойской эры из вод его вышли гигантские чудовища, — миллионы лет они потрясали землю криками жадности и похоти. Еще выше в слоях шахты находили остатки птиц, еще выше — млекопитающихся. А там уже близился ледниковый период, — суровое, снежное утро человечества.

Лифт опускался через последний девятнадцатый слой, произошедший из пламени и хаоса извержений. Это была земля архейской эры, — сплошной черно-багровый, мелкозернистый гранит.

Гарин кусал ногти от нетерпения. Все трое молчали. Было тяжело дышать. Наготове у каждого висел на шее мешок с кислородом. Слышался рев гиперболоидов и взрывы.

Лифт вошел в полосу яркого света электрических ламп и остановился над огромной воронкой, собирающей газы. Гарин и Шеффер надели резиновые, круглые, как у водолазов, шлемы и проникли через один из люков воронки на узкую железную лестницу, которая вела отвесно вниз на глубину пятиэтажного дома. Они стали спускаться. Лестница окончилась кольцевой площадкой. На ней несколько голых по пояс человек в круглых шлемах, с кислородными мешками за спиной, сидели на корточках над кожухами гиперболоидов. Глядя вниз, в гудящую пропасть, рабочие контролировали и направляли лучи.

Такие же отвесные, с круглыми прутьями-ступенями, лестницы соединяли эту площадку с нижним кольцом. Там стояли охладители с жидким воздухом. Рабочие, одетые с ног до головы в прорезиненный войлок, в шлемах, руководили с нижней площадки охладителями и черпаками элеваторов. Это было наиболее опасное место работ. Неловкое движение—и человек попадал под режущий луч гиперболоида. Внизу раскаленная до полуторы тысячи градусов порода лопалась и взрывалась в струях жидкого воздуха. Снизу летели осколки и клубы газов.

Элеваторы вынимали в час до пятидесяти тонн. Работа шла споро. Вместе с углублением черпаков в породу — опускалась вся система, — «железный крот», — построенная по чертежам Гарина, — т.-е.: нижнее кольцо с элеваторами и охладителями, верхнее кольцо с гиперболоидами и наверху газовая воронка. Крепления шахты начинались уже выше «кротовой» системы.

Шеффер взял с пролетающего черпака горсть серой пыли. Гарин растер ее между пальцами. Нетерпеливым движением потребовал карандаш. Написал на коробке от папирос:

— Тяжелые шлаки. Лава.

Шеффер закивал очкастым шаром. Осторожно передвигаясь по краю кольцевой площадки, они остановились перед приборами, висящими на монолитной стене шахты, на стальных троссах и опускающимися по мере опускания всей системы «железного крота». Это были барометры, сейсмографы, компасы, маятники, записывающие величину ускорения силы тяжести на данной глубине, электромагнитные измерители.

Шеффер указал на маятник, взял у Гарина коробку от папирос и написал на ней, не спеша, аккуратным немецким почерком:

«Ускорение силы тяжести поднялось на девять сотых со вчерашнего утра. На этой глубине ускорение должно было упасть до 0,98, вместо этого мы получаем увеличение ускорения на 1,07...»

«Магниты?» — написал Гарин.

— Шеффер ответил:

«Сегодня с утра магнитные приборы стоят на нуле. Мы опустились ниже магнитного поля».

Уперев руки в колени, Гарин долго глядел вниз, в суживающийся до едва видимой точки черный колодезь, где ворчал, вгрызаясь все глубже в землю, «железный крот». Сегодня с утра шахта начала проходить сквозь оливиновый пояс.

70.

Радиевая руда, привезенная четырьмя воздушными кораблями на остров, немедленно была пущена в обработку. Теперь Гарин, не нуждаясь в деньгах, по-иному смотрел на то, что в руках у него находилось небывалое количество радия. Пользуясь одним из его свойств, — делать воздух электропроводным, — он задумал электрические орудия-истребители, перед которыми разрушительная сила гиперболоида показалась бы игрушкой.

С обычной торопливостью он начал строить на восточной стороне острова лабораторию, мастерские и электрическую станцию, рассчитанную на мощность в семьдесят пять тысяч киловатт, с напряжением в два миллиона ампер.

В Гамбург пошел корабль для закупки инструментов и материалов. Было использовано свойство платино-синеродистого бария светиться в присутствии радиевых солей. На острове устраивалось освещение вечными

лампами, — это были большие хрустальные шары, утвержденные на тонких стальных стрелах. Они разливали по острову яркий, лунный свет. Далеко в море на рифах поставили два маяка на мачтах в двести пятьдесят метров высотой. Эти две гигантских луны (изнутри покрытые платино-синеродистым барием, бомбардируемым альфа-частицами радия) должны были светить, не угасая, три с половиной тысячи лет.

Инженер Чермак проектировал по заданиям Гарина радио-водородный двигатель для самолета. Двигатель должен был брать энергию (топливо) из воздуха. Принципом его было свойство азота разлагаться на гелий и водород при бомбардировке альфа-частицами. Весь двигатель, в сто лошадиных сил, предполагалось уместить в сигарной коробке.

Воздушные корабли улетели в Сибирь за второй партией руды. Гарин известил весь свет об имеющихся у него неограниченных запасах радия и объявил конкурс на работу: «Проблема искусственного разложения атома». Выигравшим первые три премии предлагалось ехать на Золотой остров, где на работу по атомной физике отпускались неограниченные средства.

Но этим замечательным начинаниям Гарина не суждено было осуществиться.

71.

— Ну, как, Иван, здоровьишко?

Шельга погладил мальчика по голове. Иван сидел у него в маленьком домике, у окна и глядел на океан. Домик был сложен из прибрежных камней, обмазан светложелтой глиной. За окном по синему океану шли волны, белея пеной, — древние, прародительские, — разбивались о рифы, о прибрежный песок уединенной бухточки, где жил Шельга.

Ивана привезли полумертвым на воздушном корабле. Шельга отходил его с большим трудом. Если бы не свой человек на острове — Иван навряд бы остался жить. Весь он был обморожен, застужен и, ко всему, душа его была угнетена: поверил людям, старался из последних сил, а что вышло?

— Мне теперь, товарищ Шельга, в Советскую Россию въезда нет, засудят.

— Брось, дурачок. Ты ни в чем не виноват.

Сидел ли Иван на берегу, на камушке, ловил ли крабов, или бродил по острову среди чудес, кипучей работы, суетливых, чужих людей, — глаза его с тоской — нет-нет — да и оборачивались на запад, где садился в океан пышный шар солнца, где еще дальше солнца лежала родная земля.

— На дворе ночь, — говорил он тихим голосом, — а у нас в Ленинграде — утро. Товарищ Тарашкин чаю с ситником напился, пошел на работу. В клубе на Крестовке лодки конопатят, — через две недели поднятие флага. Хорошо живут в Ленинграде, — все свое, народ русский.

На остров Иван был привезен по настоянию Шельги, который заявил, что желает мальчика иметь при себе на побегушках. Гарин охотно согла-

сился: оставлять Ивана на приисках у Шайтан-камня было опасно, поручать же Волшину убить мальчишку — слишком противно. Шельга сыграл на этом, кроме того, действительно, ему удобно было получить подручного, своего человека, такого, как Ванюшка Гусев.

Когда он поправился, Шельга стал натаскивать его на положение вещей и увидел, так же, как и Тарашкин в свое время, что Иван боек понимать с полуслова, настроен крайней по-советски и охотливый к работе. Если бы только не скулил он по Ленинграду — золотой был бы мальчишка.

— Ну, Иван, — однажды сказал Шельга (вошел веселый, крутил носом, посвистывал: «Это будет...»), — ну, Ванюшка, скоро отправлю тебя домой, на Тихом океане ты не жилец.

— Спасибо, Василий Витальевич.

— Только сначала надо будет тебе одну штуку отгвоздить.

— Готов.

— Ты лазать ловок?

— В Сибири, Василий Витальевич, я на кедры лазил за шишками, влезешь — земли оттуда не видно.

— Время придет — скажу, что тебе делать. Да зря не шатайся по острову. Возьми лучше удочку, лови морских ежей.

72.

Черпаки прошли мощный слой магмы. На дне шахты слышался гул кипящего, подземного океана. Стены ее, замороженные в толщину на тридцать метров, образовывали несокрушимый цилиндр, — все же шахта получала такие вздрагивания и колебания, что пришлось бросить все силы на дальнейшее замораживание. Элеваторы выкидывали теперь на поверхность кристаллическое железо, никкель и оливин.

Начались странные явления. В море, куда уносилась по стальным лентам и понтонам поднятая на поверхность порода, — появилось свечение однажды ночью. Оно усиливалось в продолжение нескольких суток. Наконец, огромные массы воды, камней, песку вместе с частью понтонов взлетели на воздух. Взрыв настолько был силен, что ураганом снесло рабочие бараки и большая волна, хлынув на остров, едва не залила шахты.

Пришлось перегружать породу прямо на баржи и топить ее далеко в океане, где не прекращались взрывы. Объяснялись они еще неизвестными явлениями атомного распада.

Не менее странное происходило и на дне шахты. В лабораториях до сих пор не удавалось никакими средствами ни приостановить, ни усилить излучение из радиоактивных веществ альфа-,бета- и гамма-лучей. Пробовали нагревать вещества до высоких температур, охлаждать до 250 градусов ниже нуля, подвергать высокому давлению, — энергия распада оставалась той же, ядра атомов продолжали выбрасывать гелий (альфа-лучи) и свободные, отрицательно заряженные, электроны (гамма-лучи). Очевидно, на распад влияли какие-то иные силы. Ими могли быть только

силы магнетизма земного ядра. Они-то и вызывали на дне шахты бурный атомный распад.

Началось с того, что магнитные приборы, показавшие еще недавно нулевые деления, внезапно обнаружили магнитное поле чудовищного напряжения. Стрелки поднялись до отказа. Со дна шахты стал исходить лиловатый дрожащий свет. Самый воздух как будто перерождался. Азот воздуха, бомбардируемый мириадами альфа-частиц, распадался на гелий и водород, кислород воздуха — на водород и гелий. Часть свободного водорода сгорала в лучах гиперболоидов, — по шахте пролетали огненные языки, раздавались точно пистолетные выстрелы. На рабочих загоралась одежда. Шахту потрясали какие-то приливы и отливы в океане магмы. Было замечено, что стальные черпаки и железные части покрываются землисто-красным налетом. Это оказалось марганцем. В железных частях машин началось бурное распадение атомов, перерождение в марганец. Многие из рабочих были отравлены углекислотой, обожжены невидимыми лучами. Все же с прежним упорством «железный крот» продолжал прогрызаться сквозь Оливиновый пояс.

Гарин почти не выходил из шахты. Только теперь он начал понимать все безумие своего предприятия. Никто не мог сказать — насколько глубок слой кипящего подземного океана. Быть может, еще сто, триста, пятьсот километров придется проходить сквозь расплавленный оливин. Одно только было несомненно, — приборы указывали на присутствие в центре земли магнитного твердого ядра чрезвычайно низкой температуры.

Была опасность, что цилиндр шахты, застывший, то-есть более плотный, чем расплавленная среда вокруг него, оторвется силой земного тяготения и увлечется к центру. Действительно, в стенках шахты начали появляться опасные трещины, через них с шипением пробивались газы. Пришлось уменьшить вдвое диаметр шахты и ставить мощные вертикальные крепи.

Много времени заняла установка нового, вдвое меньшего диаметром, «железного крота». Утешительными были только известия с Аризоны. Ночью яхта ворвалась в гавань Мельбурна, зажгла склады копры (кокосового волокна), чтобы известить о прибытии, и потребовала пять миллионов фунтов. (Для острастки был сбрит движением луча бульвар на берегу моря.) В несколько часов город опустел, деньги были уплачены частными банками. При выходе из гавани Аризона была встречена английским стационером, открывшим огонь. Яхта получила сквозную пробоину выше ватерлинии (шестидюймовый снаряд пронизал стены кают-кампании) и, в свою очередь, атаковала и взорвала военное судно. Боем командовала мадам Ламоль с верхушки башни гиперболоида.

Это сообщение развеселило Гарина. За последнее время на него нападали мрачные мысли. Так же, как год тому назад в уединенном доме на Петроградской стороне, утомленный мозг его нащупывал возможности спасения, если постигнет неудача с шахтой. Откуда тогда взять денег на про-

должение дела, на войну? В конце концов никакой ультракрасный луч не устоит перед силой доллара.

Двадцать пятого апреля, стоя внутри кротовой системы на кольцевой площадке, Гарин наблюдал необычайное явление. Сверху, с воронки, собирающей газы, пошел ртутный дождь. Пришлось прекратить действие гиперболоидов. Ослабили замораживание на дне шахты. Черпаки прошли оливин и брали теперь чистую ртуть. Следующим номером, восемьдесят первым, по таблице Менделеева, за ртутью следовал металл Талий. Золото (по атомному весу —197,2 и номеру — 79), — лежало выше ртути по таблице.

То, что произошла катастрофа и золота не оказалось при прохождении сквозь слои металлов, расположенных по удельному весу, понимали только Гарин и Шеффер. Гарин опустил голову, ноги его дрожали. Шеффер рассеянно протянул перед собой руку ладонью вверх, ловя падающие из-под воронки капельки ртути. Вдруг он схватил Гарина за локоть и увлек его к отвесной лестнице. Когда они взобрались наверх, сели в лифт и сняли резиновые шлемы, — Шеффер затопал тяжелыми башмаками. Костлявое, детски-простоватое лицо его светилось радостью.

— Это же золото, — крикнул он, хохоча, — мы просто бараньи головы... Золото и ртуть кипят рядом, — золото наверху, ртуть внизу... Что получается? Ртутное золото... Он разжал ладонь, на которой лежали жидкие дробинки:

— В ртути золотистый оттенок. Здесь девяносто процентов червонного золота.

73.

Это была неожиданная удача. Золото, как нефть, само шло из земли. Работы по углублению шахты приостановились. Железный крот был разобран и вынут. Временные, фермовые крепления шахты снимались. Вместо них опускали во всю глубину массивные стальные цилиндры, в толще которых пролегала система охладительных труб.

Нужно было только регулировать температуру, чтобы получить, охлажденное из паров, выпираемое снизу раскаленными парами, ртутное золото на любой высоте в шахте. Гарин вычислил, что, после того, как стальная броня будет опущена до самого дна, — ртутное золото можно заставить подняться на всю высоту тридцати двух километров и черпать его прямо с поверхности земли.

От шахты на северо-восток спешно строился ртутопровод. В левом крыле замка, примыкающем к подножию башни большого гиперболоида, ставили печи и вмазывали фаянсовые тигли, где должно было выпариваться золото. Гарин предполагал довести на первое время суточную продукцию золота до десяти тысяч пудов, то-есть до ста миллионов долларов в сутки.

Аризоне был послан приказ — вернуться на остров. Мадам Ламоль ответила поздравлением и по радио объявила всем, всем, всем, что прекращает пиратские нападения в Тихом океане.

74.

Незадолго до открытия Вашингтонской конференции в гавань Сан-Франциско вошло один за другим пять океанских кораблей. Они мирно подняли голландский флаг и ошвартовались у набережной среди тысячи таких же торговых судов в широком и дымном заливе, залитом летним солнцем.

Капитаны съехали на берег. Все было в порядке. На кораблях сушились матросские подштанники. Мыли палубу. Некоторое изумление у таможенных чиновников вызвал груз на судах под голландским флагом. Но им объяснили, что литые, по пяти килограммов, бруски желтого металла — не что иное, как золото, привезенное для продажи.

Чиновники посмеялись над такой забавной шуткой:

— Почем же вы продаете золото? Хе!

— По себестоимости, — отвечали помощники капитанов. (На всех пяти кораблях происходил слово в слово один и тот же разговор.)

— А именно?

— По два с половиной доллара за килограмм.

— Недорого цените ваше золото.

— Продаем дешево, товару много, — отвечали помощники капитанов, посасывая трубки.

Так чиновники и записали в журналах: «Груз — бруски желтого металла, под названием золото». Посмеялись и ушли. А смеяться совсем было нечему.

Через два дня в Сан-Франциско в утренних газетах, на бело-желтых афишках, расклеенных по рекламным столбам, и просто — на тротуарах мелом — появилось сообщение:

«Инженер, Петр Гарин, считая войну за независимость Золотого острова оконченной и глубоко сожалея о жертвах, понесенных противником, с почтением предлагает жителям Соединенных Штатов, в виде начала мирных торговых сношений, пять кораблей, груженых червонным золотом. Пятикилограммовые бруски золота продаются по цене два с половиной доллара за килограмм. Желающие могут получать их в табачных, москательных, мелочных лавках, в газетных киосках, у чистильщиков сапог и так далее... Прошу убедиться в подлинности золота, имеющегося у меня в неограниченном количестве. С почтением. Гарин».

Разумеется, ни один человек не поверил этим дурацким рекламам. Большинство контрагентов припрятали золотые слитки. Все же весь город заговорил о Петре Гарине, пирате и легендарном негодяе, снова тревожащем спокойствие честных людей. Вечерние газеты потребовали линчевания Пьера Гарри. В шестом часу вечера праздные толпы устремились в гавань и на летучих митингах выносили резолюцию — потопить гаринские пароходы и повесить команду на трамвайных столбах. Полисмены едва сдерживали толпы.

В то же время портовые власти производили расследование. Все бумаги на пяти кораблях оказались в порядке, сами суда не подлежали секвестру, так как владельцем их была известная голландская транспортная компания. Все же, власти требовали запрещения торговли брусками, возбуждающими население. Но ни один из чиновников не устоял, когда в карманы брюк ему опустили по два бруска. На зуб, на цвет, на вес — это было самое настоящее золото, хоть тресни. Вопрос о торговле оставили открытым, — временно замяли.

В тридцать две редакции ежедневных газет какие-то молчаливые морские личности (матросы с Аризоны) втащили по мешку с загадочными брусками. Сказали: «В подарок». Редакторы возмутились. В тридцати двух редакциях стоял страшный крик. Вызывали ювелиров. Предлагались кровавые меры против наглости Пьера Гарри. Но бруски неизвестно куда исчезли во всех тридцати двух редакциях.

За ночь по городу были разбросаны золотые бруски прямо на тротуарах. К девяти часам в парикмахерских и табачных лавках вывесили объявление: «Здесь продается червонное золото по два с половиной доллара за кило». Население дрогнуло.

Хуже всего было то, что никто не понимал, — для чего продают золото по два с половиной доллара за килограмм. Но не купить — значило остаться в дураках. В городе начались давка и безобразие. Многотысячная толпа стояла в гавани перед кораблями и кричала: «Бруски, бруски, бруски»!.. Золото продавали прямо на сходнях. В этот день остановились трамваи и подземная дорога. В конторах, офисах и казенных учреждениях стоял хаос: чиновники вместо того, чтобы заниматься делами, бегали по табачным лавкам, прося продать брусочек. Склады и магазины не торговали, приказчики разбегались, воры и взломщики хозяйничали по городу, как хотели.

Прошел слух, будто золото привезено для продажи в ограниченном количестве и больше кораблей с брусками не будет.

На третий день и во всех концах Америки началась золотая лихорадка. Тихоокеанские линии железных дорог повезли на запад переволнованных, недоумевающих, сомневающихся, взбудораженных искателей счастья. Поезда брались с бою. Была величайшая растерянность в этой волне человеческой глупости.

С опозданием, как всегда это бывает, из Вашингтона пришло правительственное распоряжение: «Заградить полицейскими войсками доступ к судам, груженым так называемым золотом, командиров и команды арестовать, суда опечатать». Приказ был исполнен.

Разъяренные толпы людей, прибывшие за счастьем с других концов страны, побросавшие дела, службу, чтобы заполнять раскаленные солнцем набережные Сан-Франциско, где все съестное было уничтожено, как саранчей, — одичавшие люди эти прорвали цепи, дрались, как бешеные, револьверами, ножами, зубами, побросали большое количество полисменов

в залив, освободили команды гаринских пароходов и установили вооруженную очередь за золотом.

Пришло еще три парохода с золотом. Они стали выгружать связки брусков кранами прямо на набережную, валили их в штабели. В этом был какой-то нестерпимый ужас. Люди дрожали, глядя из очередей на эти сокровища, сверкающие прямо на мостовой.

В это время агенты Гарина (под видом, будто бы, американского общества рекламы «Израилевич и Моносзон») окончили установку в больших городах уличных громкоговорителей. В субботний день, в пять часов пятнадцать минут, когда население городов, окончив службу и работу, наполнило улицы, — раздался по всей Америке громкий, с варварским акцентом, но необычайно уверенный голос:

«Американцы! С вами говорит инженер Гарин, тот, кто объявлен вне закона, кем пугают детей. Американцы, я совершил много преступлений, но все они вели меня к одной цели: счастью человечества. Я присвоил клочок земли, ничтожный островок, чтобы на нем довести до конца грандиозное и небывалое предприятие. Я решил проникнуть в недра земли к девственным залежам золота. На глубине тридцати двух километров шахта вошла в мощный слой кипящего ртутного золота. По моим данным запасов его не менее миллиарда тонн. Американцы, каждый торгует тем, что у него есть. Я предлагаю вам свой товар — золото. Я наживаю на нем десять центов на доллар, при цене два с половиной доллара за килограмм. Это скромно. Но почему мне запрещают продавать мой товар? Где ваша свобода торговли? Ваше правительство попирает священные основы свободы и прогресса. Я готов возместить военные издержки. Я возвращаю государству, компаниям и частным людям все деньги, которые Аризона реквизировала на судах и в банках в порядке обычаев военного времени. Я прошу только одного, — дайте мне свободу торговать золотом. Ваше правительство запрещает мне это, накладывает арест на мои корабли. Я отдаюсь под защиту всего населения Соединенных Штатов».

Громкоговорители были уничтожены полисменами в ту же ночь. Правительство обратилось к благоразумию населения:

«...Пусть верно все то, о чем сообщал пресловутый бандит, выходец из Советской России, инженер Гарин... Но тем скорее нужно засыпать шахту на Золотом острове, уничтожить самую возможность иметь неисчерпаемые запасы золота. Что будет с эквивалентом труда, счастья, жизни, если золото начнут копать, как глину? Человечество неминуемо вернется к первобытным временам, к меновой торговле, к дикости и хаосу. Погибнет вся экономическая система, умрет промышленность и торговля. Людям незачем будет напрягать высшие силы своего духа. Умрут большие города. Зарастут травой железнодорожные пути. Погаснет свет в кинематографах и луна-парках. Человек снова кремневым копьем будет добывать себе пропитание. Нет. Инженер Гарин величайший провокатор, слуга дьявола. Его задача девальвировать доллар. Но этого он не добьется»...

Правительство нарисовало жалкую картину уничтожения золотого паритета. Но благоразумных нашлось мало. Безумие охватило всю страну. По примеру Сан-Франциско в городах останавливалась жизнь. Поезда и миллионы автомобилей мчались на запад. Чем ближе к Тихому океану, тем дороже становились продукты питания. Их не на чем было подвозить. Голодные искатели счастья разносили съестные лавки. Фунт ветчины поднялся до ста долларов. В Сан-Франциско люди умирали на улицах. От голода, жажды, палящего зноя — сходили с ума.

На узловых станциях, на путях валялись трупы убитых при штурме поездов. По дорогам, проселкам, через горы, леса, равнины брели обратно на восток кучки счастливцев, таща на спинах мешки с золотыми брусками. Отставших убивали местные жители и шайки бандитов. Начиналась охота за золотоношами. На них нападали даже с аэропланов.

Правительство пошло, наконец, на крайние меры. Палата вотировала закон о всеобщей мобилизации возрастов от 17 до 45 лет, уклоняющиеся подлежали военно-полевым судам. В Нью-Иорке в кварталах бедноты было расстреляно несколько сот человек. На вокзалах появились вооруженные солдаты. Кое-кого хватали, стаскивали с площадок вагонов, стреляли в воздух. Но поезда отходили переполненными. Железные дороги, принадлежавшие частным компаниям, находили более выгодным не обращать внимания на распоряжение правительства о неперевозке мобилизованных.

В Сан-Франциско прибыло еще пять пароходов Гарина, и на открытом рейде, в виду всего залива, стала на якоре Аризона, «гроза морей». Под защитой двух ее гиперболоидов корабли разгружали золото.

Вот при каких условиях наступил день открытия Вашингтонской конференции. Биржа отметила его сильным понижением всех ценностей. Месяц тому назад Америка владела половиной всего золота на земном шаре. Половина власти на земле принадлежала ей. Теперь, что ни говори, золотой фонд Америки уменьшился ровно в двести пятьдесят раз. С трудом, с чудовищными потерями, пролив много крови, это еще можно было как-нибудь пережить. Но, вдруг, сумасшедшему негодяю, Гарину, вздумается продавать золото по доллару за килограмм, или по десяти центов? Старые сенаторы и члены палаты ходили с совершенно белыми глазами по кулуарам. Промышленные и финансовые короли пожимали плечами, разводили руками... «Это мировая катастрофа, — говорили, — вроде столкновения с кометой, у которой хвост из циана»... «Кто такой инженер Гарин, — спрашивали, — что ему, в сущности, нужно? Разорить страну? Глупо. Непонятно... Чего он добивается? Хочет быть диктатором? Пожалуйста, — если ты самый богатый человек на свете. Какое там диктатором, — он, говорят, желает, чтобы конференция, палата и сенат поднесли ему сан императора. Вот как? Ну, что ж... В конце концов, знаете, нам и самим этот демократический парламентарный строй надоел хуже маргарина... В стране безобразие, разбой, беспорядок, чепуха, — право, уж лучше какой-нибудь император американский с диктаторскими полномочиями и гвардией из лучших людей»...

Когда стало известно, что на заседании будет сам Гарин, в зале повисли на плечах, на колоннах, на окнах. Появился президиум. Сели. Председатель открыл рот. И все, кто был в зале, повернулись к высокой, белой с золотом, двери. Она раскрылась. Вошел небольшого роста человек, с небольшой ладной головой, страшно бледный, с острой темной бородкой, с темными глазами, обведенными тенью. Он был в сером, обыкновенном пиджаке, башмаки не новые, а старые были на нем, коричневые на толстой подошве, галстух — черненький бабочкой, в левой руке — новые перчатки.

Он остановился, глубоко втянул воздух сквозь ноздри. Затем повернулся к собранию спиной, бойко взошел по ступенькам трибуны. Вытянулся на ней, задрав бородку. Отодвинул к краю графин с водой. (Во всей зале было слышно, как булькнула вода, — так было тихо.) Заговорил высоким голосом с варварским акцентом:

— Джентльмены... Я Гарин... Я принес миру золото...

Все, как один человек, поднялись и одной глоткой крикнули:

— Да здравствует мистер Гарин!.. Да здравствует диктатор!..

За окнами миллионная толпа, — мобилизованные всех возрастов, — ревела, топая в такт подошвами:

— Бруски!.. Бруски!.. Бруски!..

75.

Аризона только что вернулась в гавань Золотого острова. Янсен докладывал мадам Ламоль о положении вещей на континенте. Зоя была еще в постели, среди кружевных подушек (малый утренний прием). Полутемную спальню наполнял острый запах цветов, идущий из сада. Правая рука ее была занята маникюром. В другой она держала зеркальце и, разговаривая, недовольно посматривала на себя.

— Но, мой друг, он сходит с ума, этот Гарин, — сказала она Янсену, — он обесценивает золото... Он хочет быть диктатором среди нищих...

Янсен сидел перед кроватью на золоченом стульчике. Косился на великолепие только что отделанной спальни. Ответил, держа на коленях фуражку:

— Гарин сказал мне при свидании, чтобы вы не тревожились, мадам Ламоль. Он ни на шаг не отступает от задуманной программы. Повалив золото, он выиграл сражение. Капиталисты капитулировали. На будущей неделе сенат объявит его диктатором. Тогда он поднимет цену золота.

— Каким образом? — я не понимаю.

— Издаст закон о запрещении ввоза и продажи золота. Через месяц оно поднимется до прежней цены. Продано не так уже много. Больше было шума.

— А шахта?

— Шахта будет уничтожена.

Мадам Ламоль уронила зеркало. Выдернула правую руку у маникюрши. Закурила. Нахмурилась.

— Ничего не понимаю.

Янсен сказал:

— Когда вы хмуритесь, у меня падает сердце. Я не видал вас целый месяц. Пусть Гарин занимается политикой. Пойдемте в море. Я приказал заново отделать Аризону. Мне хотелось бы снова стоять с вами на мостике ночью, мадам Ламоль.

Зоя засмеялась. Протянула ему руку. Он поцеловал. Она сказала:

— На мой двор, на мои фантазии и прихоти будет оставлено, надеюсь?

— Гарин просил вас составить смету. В порядке закона вам будет дано то количество золота, какое вы потребуете.

— Мне нужно очень много, — покачав головой, сказала Зоя, — через месяц сюда приезжает мой двор, Дягилев, опера, художники... До октября будут праздники. Затем, я начну строиться. На месте рабочего поселка, мастерских, шахтовых сооружений, складов, — всего этого убожества, — задуманы удивительные здания. Они должны быть видны за много миль с океана. Этот дворец я отдам под казармы. Рифы и мели будут соединены мостами с островом. Там будут павильоны для игр, бани, площадки воздушных кораблей...

— Безразлично, сколько бы вы ни потребовали денег, так особенно подчеркнул Гарин. Важно только одно, чтобы количество золота было ограничено, иначе оно потеряет запах человеческого пота.

— Я поняла, Янсен.

76.

Вот черновик первого воззвания Ревкома Золотого острова, написанный рукой Шельги в ночь на восемнадцатое июня:

«Трудящиеся всего мира. Вам известны размеры и последствия паники, охватившей капиталистические круги Соединенных Штатов в тот день, когда в американские гавани вошли корабли инженера Гарина, груженые золотом. Капитализм зашатался, потому что условный эквивалент труда, которым он владеет, — золото, — грозило превратиться в глину, в прах, стать металлом для фабричных надобностей. Перестроить всю колоссальную систему на новой основе, заменить золото новым эквивалентом, чтобы снова накоплять его, — не было ни времени, ни возможности. Капиталисты договорились с Петром Гариным: сенат провозгласил его диктатором. За это он оставил эквивалентом труда все старые ценности. Уже издан закон, по которому количество золота ограничивается десятью миллионами пудов. Шахта на Золотом острове засыпается до самого дна песком. Всякая добыча золота где бы то ни было — карается смертью. Разумеется, все эти, без малого, десять миллионов пудов поступают в распоряжение Гарина. Он будет творить волю среды, которая его поддерживает.

«Ревком Золотого острова объявляет всем трудящимся, что ночью, с восемнадцатого на девятнадцатое июня, территория острова вместе с шахтой и большим гиперболоидом перешла в его руки путем насильственного переворота. Неисчерпаемые запасы золота, миллиарды пудов, отныне в руках трудящихся. Золотого эквивалента труда более не существует. Мы объявляем об этом. Отныне золото — есть цветной металл, и только. Мы предвидим болезненность того, что должно произойти от такой быстрой и окончательной девальвации. Но тем решительнее мы настаиваем на незамедлительном введении по всей земле новой единицы ценности. Это должен быть с р е д н и й р а б о ч и й ч а с. Центральный совет мировых профессиональных союзов устанавливает размеры новой единицы эквивалента труда. Право выпуска, распределения и накопления р а б о ч е г о ч а с а принадлежит Профинтерну.

«Капитализм будет защищаться. Мы предвидим тяжелую и кровавую борьбу. Чем скорее мы сами перейдем в наступление, тем ближе час победы».

77.

Черновик был написан и прочтен перед шестью членами Ревкома в маленьком домике Шельги, на берегу уединенной бухты.

— А теперь, товарищи, самое главное, — сказал Шельга, — в бой.

Гвардейские казармы находились на северо-востоке острова, с правой стороны дворца. Давно уже миновало то время, когда желто-белые, молчаливые и свирепые, как сторожевые псы, торчали с винтовками на скалах, шагали по тропкам мимо проволок шумного и взбудораженного рабочего поселка. На острове теперь была тишь да гладь. Работы приостановились. В порт приходил только раз в неделю пароход с продуктами питания. Постройки мадам Ламоль еще не начинались. Остров отдыхал от недавней суеты, и все пышнее покрывался изумрудом газонов, роскошной пестротой цветников, погружался в блаженную лень влажного, не жаркого лета.

Из шести тысяч рабочих осталось около четырехсот. Остальные покинули остров, нагруженные золотом. В бараках рабочего поселка посвистывал ветер. Луна-парк и публичные дома в овраге были закрыты. Девки уехали по шею в золоте.

Гвардейцам окончательно нечего было делать на этом мирном клочке земли. Многие тосковали по большим городам, шикарным кабакам, веселым женщинам. Просились в отпуск. Росло недовольство. Начинались ссоры. В казармах шла отчаянная игра в девятку. Расплачивались именными записками, так как золото, лежавшее штабелями около казарм, надоело всем хуже горькой редьки: играли на любовниц, оружие, обкуренные трубки, бутылки старого коньяка, или на «раз-два по морде». К вечеру, обычно, все в казармах напивались вдребезги. Командир корпуса, генерал Субботин, едва мог поддерживать не дисциплину, а простое приличие.

В три часа утра девятнадцатого июня Шельга вместе с пятью рослыми молодыми шахтерами явился на гауптвахту перед казармами и связал двух пьяных часовых, стоявших около оружия. Сто винтовок сейчас же было роздано рабочим, подходившим от фонаря к фонарю, прячась за скалами, ползя через лужайки, освещенные лунным, призрачным светом радиевых шаров на высоких стрелах.

Пятьдесят человек с винтовками стали перед окнами двухъэтажного здания казарм. С остальными Шельга ворвался в главный подъезд. Первым на шум выскочил генерал Субботин в нижнем белье. Побагровел, зашатался. Его убили прикладами. Снаружи раздались выстрелы, зазвенели разбитые окна. Гвардейцы заняли верхнюю площадку широкой лестницы. Открыли огонь из револьверов. Но они были пьяны и испуганы, им было тесно на площадке. После трех залпов, по лестнице покатились окровавленные тела. Шельга завизжал степным голосом и, нагнув голову, первый кинулся на лестницу.

После короткой рукопашной схватки гвардейцы сдались. Несколько человек выбросилось из окон. Но, в общем, было так, точно все втайне ждали такого конца. Когда спросили, что с ними сделают, — один из членов ревкома (юноша с галчиными глазами) сказал:

— Дадим золота, сколько каждый унесет, посадим на корабль, поезжайте куда хотите.

78.

Янсен соскочил с постели. За окнами раздавались выстрелы и крики. Он поспешно оделся и, ощупывая револьвер, побежал на половину мадам Ламоль. Но в спальне ее уже не было. Старшая горничная, француженка, стояла у стены за пологом кровати и торопливо плакала, постукивая зубами:

— Мы погибли, мосье Янсен, я всегда говорила мадам, что нельзя безнаказанно быть такой богатой.

— Где мадам Ламоль? — закричал Янсен.

— Мадам схватили ключи от большой башни и побежали через подземный ход.

Янсен помчался по лестницам вниз, прыгая через десять ступеней. Дверь подземного хода была распахнута. В узком переходе, освещенном матовыми шарами, на каменному полу он увидел кружевной платочек мадам Ламоль. Он поднял его на бегу, приложил к губам. Вторая дверь, ведущая во внутренность фундамента башни, к лифту, тоже откинута настежь. Освещенный лифт стоял внизу. Мадам Ламоль нигде не было.

Тогда он поспешно вернулся в кабинет Гарина, выскочил в окно и у подножия башни увидал мадам Ламоль. Он узнал ее по белой индейской шали, накинутой на рубашку. Запрокинув голову, Зоя глядела на верх решетчатой башни.

— Лифт не действует, мы погибли, — сказала она низким голосом, — что случилось, почему сломался лифт? Там наверху кто-то есть, там есть кто-то, смотрите...

— Эй-эй, — долетел с верху башни, из-под купола, звонкий голос, — товарищ Шельга, это я, Гусев... Взобрался... Все сделано...

Зоя прошептала:

— На Аризону .. Скорей, скорей...

Зоя побежала между камней вниз, к морю. Она далеко опередила Янсена. Он видел, как ветер сорвал с ее плеч белую шаль, и она зацепилась высоко на скале за кустарник и заплескалась, — еще теплая шаль с плеч мадам Ламоль. Должно быть, по этой шали они были открыты. От дворца наперерез им побежали темные фигуры. Блеснули выстрелы. Мадам Ламоль упала на колени, протянула руки перед собой, легла боком на сырой песок.

Янсен поднял ее на руки и понес вдоль воды по песку, где синими искрами рассыпалось и гасло морское свечение.

Он принес ее в гавань. Его не останавливали. В ту же ночь один на небольшом паруснике он ушел в море, увозя тело мадам Ламоль. Он покрыл ее брезентом, чтобы не мочили волны. Так ушел капитан Янсен в своей последний рейд.

Узнав о захвате Золотого острова Ревкомом, разъяренная толпа ворвалась в Вашингтоне в Белый дом, ища растерзать Пьера Гарри, но его не могли найти. Он исчез. Этим заканчивается одна из необычайных авантюр инженера Гарина.

Разин Степан.

Роман.

А. Чапыгин.

(Продолжение).

XVI. У царя.

За столом — от царского трона справа, три дьяка склонились над бумагами.

Вошел любимый советник царя, боярин Пушкин, встал у дверей, поклонясь, он ждал молча окончания читаемого царю донесения сибирского воеводы.

Русоволосый, степенный дьяк, с густой лоснящейся шелком бородой, громко и раздельно выговаривал каждое слово:

— ...старые тюрьмы велели подкрепить и жен и детей тюремных сидельцев, которые сосланы по твоему, великого государя, указу в Сибирь — сто одиннадцать человек велели посадить в старые тюрьмы.

Царь распахнул зарбафный кабат с жемчужными нарамниками, неторопливо приставил с боку трона узорчатый посох с крестом, потирая правой рукой белый, низкий лоб, сказал:

— Так их! Шли мужья-отцы к вору Стеньке за море, да и иных сговаривали тож... Сядь, дьяче. — Поманил рукой Пушкина: — Подойди, Иван Петрович! Тут — дела, кои до тебя есть.

Бородатый, сутулый боярин, вскинув на царя узкие, глубоко запавшие глаза, шагнул к трону, отдав земной поклон.

— Из патриарша приказа, великий государь, жалобу митрополита Астраханского мне по пути вручили, а в ней вести, что воровской атаман Разин объявился у наших городов.

— Слышал уж я про то, боярин! И думно мне отписать к воеводам в Астрахани, Прозоровскому, Ивану да князь Семену Львову, чтоб в скорости разобрали бы казаков Стеньки Разина по стрелецким приказам и держали до нашего на то дело повеления... — Подумав, царь прибавил: — И никакие меры на Дон их до нашего указу не спущать!

— Не должно спустить на Дон тех казаков, государь... На Гуляй-Поле много сбеглось холопов от Москвы и с иных сел, городов, оттого

голод там, скудость большая... В Казылбаши тянулись к Разину, а объявись Разин на Дону, и незамедлительно вся голудьба к ему шатнется, он же по слухом дьяков и сыскных людей богат несметно... Мне еще о том доносил мой сыщик Колесников. Вот кто, великий государь, достоин всяческой хвалы, так этот подьячий... Достоканы, живучи в Персии, познал и язык, и нравы — все доводил и мы знали до мала, что круг шаха деется. Нынче мыслю я его там держать, да пошто-то грамоты перестали ходить?.. А зорок парень, ох, зорок!

— Очутится здесь — службу ему дадим по заслугам.

— Заслужил он тое почетную службу, великий государь! Слышно мне, много вор, Стенька Разин, пожег шаховых городов?

— Ох, много, боярин! И должно чаять от шаха нелюбья?.. Пишет мне стольник, Петр Прозоровский, что шах, осердясь на разорение его городов грабителями, Стенькой Разиным с товарищи, собирает войско для подступа к Теркам, и нам, боярин, пуще всего нужно войско назрить... Шатости, грозы со всех сторон еще немало будет...

— Войско строить и по моему разумению, великий государь, неотложно!

— Вот! Ну-ка, дьяче, чти мне, сколь есть служилых иноземцев да и оклады их — довольство — чти же?

Встал, поклонясь царю, дьяк тайного приказа, сухонький, в красном кафтане, водя жидкой бороденкой по грамоте, придвинул блеклые глаза к строчкам, зачастил:

— «Генералу порутчику Миколаю Бовману и его полку полковником и иных чинов начальным людем на нынешней сентябрь месяц довольства:

«Генералу 100 рублев, Полковнику и огнестрельному мастеру Самойлу Бейму 50 рублев, Подполковнику Федору Мееру 18 рублев, Карлу Ягану Фалясманту, Василию Шварцу по 15 рублев.

«Маеором: Ягану Самсу, Антону Регелю, Петру Бецу, Ганцу и Юрью Бою по 14 рублев.

«Капитаном: Ганцу Томсону, Брату ево—Фредрику — обоим 50 рублев. Павлу Рудольву 20 рублев, Гранатному и пушечному мастеру Юсту Фандеркивену 15 рублев».

Царь, махнув рукой, остановил чтение:

— Обсудим с бояры, но мыслю я надбавить иноземцам довольства?

— То не лишне будет, великий государь! Падет война, много бояр и боярских детей утечет в «нети».

— В ляцкую войну на воеводский зов не оказалось бояр с дворянами в полу.

— Великий государь! Бояре бороды берегут и любят лишь место за столом, да счет отчеством в разрядном приказе...

— Не будем корить их, боярин! Чти, дьяче, кои еще иноземцы есть? Довольство их отставь — имена лишь, прозвище то ж, чти.

Дьяк поклонился и снова заползал бороденкой по листу:

— «Яган Линциус, Яган Вит, Яков Гитер, Ганц Клаусен, Хрестьян Беркман, Альберт Бруниц, Антон Ребкин...».

— Не жидовин ли тот Ребкин?

— Немчин родом он, великий государь, храбр и сведущ, едино лишь — бражник.

— Оное не охул молодцу — проспитца.

Дьяк продолжал:

— «Индрик Петельман, Агличанин Христофор Фрей, Дитрих Киндер, Яган Фансвейн, Яган Столпнер...».

— Много еще имен?

— Великий государь, противу тыщи наберетца!

— Сядь, дьяче! И как сказано в голове листа — то все начальники?

— Начальники и пушечные, да орудийные мастеры, гранатные тож.

— Теперь, боярин, хочу знать — чем жалобит богомолец мой Астраханский?

Боярин передал русоволосому дьяку, наследнику Киврина, грамоту с черной монастырской печатью.

Дьяк Ефим, поклонившись царю, громко начал:

— «Царю, государю и великому князю Алексею Михайлозичу, всея великия, малыя и белыя русии самодержцу...».

Произнеся величание царя, дьяк снова поклонился поясно:

— «Бьет челом богомолец твой Иосиф, митрополит Астраханский и Терский. В нынешнем, государь, во 177 году Августа против 7-го числа приехали с моря на домовой мой учуг Басаргу воровские козаки Стенька Разин с товарыщи и, будучи на том моем учуге, соленую коренную рыбу, икру и клей все без остатка пограбили, и всякие учужные заводы медные и железные, и котлы, и топоры, и багры, долота и напарьи, буравы и невода, струги и лодки и хлебные запасы все без остатка побрали. Разоря, государь, меня, богомольца твоего, он, Стенька Разин, с товарыщи покинули у нас на учуге в узле заверчено церковную утварь, всякую рухлядь и хворой ясырь, голодной... поехав, той рухляди росписи не оставили...».

— Роспишет сам старик своими писцами... не в росписи тут дело!

— Да пустите вы, псы лютые, меня к духовному сыну!.. — закричал кто-то хмельным басом.

Царь нахмурился. В палату вошел поп в бархатной рясе, с нагрудным золотым крестом, скоро и смело мотнулся к трону, упал перед царем ниц, звеня цепью креста, завопил:

— Солнышко мое незакатное! царь светлый... а не прогневись на дурака-попа Андрюшку, вызволь из беды... Грех мой, выпил я мало да пил и допрежь того, вишь, Акимко патриарх грозит меня на цепь посадить!..

Царь сошел с трона, взял в руки посох, сказал Пушкину:

— Ино боярин Иван Петрович, кончим с делами, все едино не решим всего, а, Савинович, ставай — не гоже отцу духовному по полу крест Святой волочить... И надо бы грозу на тебя, да баловал я Андрея прото-

попа многими делами и сам к тому вину свою чувствую. Стань-ко, Савинович!

Протопоп встал:

— И пошто ты в образе бражника в государеву палату сунулся? а пуще пошто святейшего патриарха Акимкой кличешь? — то тебе не прощу!

— Казни меня, дурака, солнышко ясное, царь пресветлый, да уж больно у меня на душе горько!..

— Горько-то горько, да от горького, вишь, горько?

— Ой, нет, великий государь! Патриарша гроза не пустая — посадит Андрюшку на цепь...

— И посадит да спустит, коли заступлюсь, а заступу иметь придется мне — ведаю, что посадит... Патриарх, он человек крутой к духовным бражникам.

— А сам-от, великий государь, — к черницам по ночам...

— Молчи, Андрей! — крикнул царь и, обратясь к Пушкину, сказал: — Нынче, боярин Иван Петрович, в потешных палатах велел я столы собрать, да бояр ближних больших звать и дьяков дворцовых — так уж тебя зову тоже... Немчин будет нам в органы играть, да и литаврщиков добрых приказал. А за пиром и дела все сговорим. — Обернулся к протопопу: — Тебя, Андрей Савинович, тоже зову на вечерю в пир, только пойди к протопопице, и пусть она из тебя выбьет старой хмель! — Царь засмеялся, выходя из палаты, похлопал духовника по плечу.

— Великий государь! солнышко — сведал я о твоем пире и причетника доброго велел послать, за государевой трапезой читать Апостола Павла к Римляном — евангелие.

— Вот зато и люблю тебя, Андрей Савинович, что сколь ни хмельной, а божественное зришь, ведаешь, что мне потребно...

Царь был весел, шел, постукивая посохом, до пира еще было много времени.

Встречные бояре кланялись царю земно.

XVII. Воевода астраханский.

В горницу приказной палаты к воеводе вошел Михаил Прозоровский, старший Иван Семенович стоял на коленях перед образом Спаса, молился.

Младший, не охочий молиться, не мешая воеводе разговором, сел на скамью дьяков у дверей. Воевода бил себя в грудь и, кланяясь в землю, постукивал лбом, вздыхал. Серебряная большая лампада горела ровно и ярко, в открытые окна, несмотря на август, дышало зноем, ветра не было. От жары и жилого душного воздуха младший Прозоровский расстегнул ворворки из петель бархатного кафтана. Расстегивая, взвякнул саблей.

Воевода встал, поклонился, мотая рукой, в угол, повернувшись к большому столу, крытому синей камкой, сел на тюфяк воеводской скамьи.

На смуглом с морщинами лице таилось беспокойство. Он молча глядел в желтый лист грамоты, шевеля блеклыми губами в черной, густой с проседью бороде.

Силился читать, но мутные, стального цвета глаза то-и-дело вскидывались на стены горницы.

Брат не вытерпел молчания воеводы, встав, шагнул к столу, поклонился:

— Всем ли по здорову, брат воевода?

— Пришел, вишь ты, сел? как мухаммедан кой — где ба помолиться господу богу... ты же, вишь, только оружьем брякаешь... Навоюешься, дай срок... — Воевода говорил, слегка гнусавя.

— Про бога завсегда помню, да и спешу сказать — ведомо ли воеводе, вор Стенька Разин с товарыщи Басаргу пошарпали, святейшего заводы?

— Ленко вишь?.. Молитва бока колет, хребет ломит, шея худо гнетца... про Басаргу давно гончий государю послан, продремал, молодец!.. Вот молюсь и тебе не мешает — пришел гость большой к Астрахани, да еще тайши калмыцкие шевелятца — хватит ужо бою, не пекись о том.

— Астрахань, братец, стенами крепка, Иван Васильевич грозной царь ладно строил, девять и до десяти приказов наберетца одних стрельцов, в пятьсот голов каждый — сила!

— Стрельцы завсегда шатки, Михайло, чуть что — неведомо к кому потянут, не впервой... Вот послушай.

Воевода крякнул:

— Эй, люди служилые! пошлите ко мне подьячего Алексеева...

В приказной палате за дверью скрипнули скамьи, зажужжали голоса:

— К воеводе!

— Эй, Лексеев!

— Воевода зовет!

— Подьячий — ты скоро?

Вошел в синем длиннополом кафтане сухонький рыжеволосый человек с ремешком по волосам, поклонился:

— Потребен ась, князинька?

— Потребен... вишь грамоту толмача худо разбираю, вирано писано — сядь на скамью и чти — знаю, не твое это дело, твое — казну учитывать, да чти!

— Дьяку ба дал ась, князинька, Ефрему, то больно злобятца — все я, да я?..

— Сядь и чти! пущай с тебя нелюбье на меня слагают...

— Тебя-то, князинька, ась боятца!

— Чти, пущай слышит князь Михайло.

Подьячий отошел к скамье и не сел, стоя разгладил грамоту на руке

— Сядь, приказую!

— Сидя, князинька, ась мне завсегда озорно кажется.

— Сядь! Лежа заставлю чести.

Подьячий сел, дыхнув в сторону вместо кашля, начал тонким голосом:

— «Тот толмач Гришка сказывал и записал им, что-де сбираютца калмыцкие тайши многи, а с ними старые воровские Лаузан с Мунчаком, кои еще пол третьедесять лет назад тому воровали с воинскими людьми, а хотят итти под государевы городы — в Казанской уезд и в Царицын. Да один-де тайша пошел к Волге, на Крымскую сторону, под Астраханские улусы на мирных государевых мурз и татар для воровства, да в осень же хотят итти в Самарской уезд. От себя еще показывали кои добрые люди, что-де в Арзамасе на будных станах [1]) боярина Морозова — нынче те станы за князьями Милославскими есть — поливачи и будники забунтовались... сыскались многие листы подметные, «что-де Стенька Разин пришел под Астрахань и на бояр и больших людей итти хочет!». Да в Казанском и Царицынском краях хрестьяне налогу перестали давать денежную и хлебную воеводам, а бегут по тем листам подметным к Астрахани; помещиков секут, поместья жгут палом-палят, кои не сбегли, те по лесам хоронятца, кинув пахоту и оброки, а больше бегут бессемейные, и вам бы, господа воеводы Астраханские, те вести ведомы были».

— Поди, подьячий! Князь Михайло — слышал грамоту, знаешь теперь пошто я бога молю, да сумнюсь?

Подьячий поклонился, вышел в палату и вернулся:

— Тут меня, князинька, ась — чуть не погубили люди, что я тебе на дьяков довел о скаредных речах.

— Поди — я подумаю и с тобой о том поговорю.

Подьячий снова поклонился и снова, уйдя, вернулся:

— Еще пошто?

— Тут, князинька, ась — пропустить ли троих козаков, от Стеньки Разина послы — тебя добираютца?

— Поди и шли! Каковы такие?

Вошли три казака, одетые в кафтаны из золотой парчи, на головах красные бархатные шапки, унизанные жемчугами, с крупными алмазами в кистях.

— Челом бьем воеводе!

— Здорово жить тебе!

— От батьки мы — Степана Тимофеича.

— Да, вишь, казаки — все вы зараз говорите, не разберу — пошто я занадобился атаману, там без меня есть воевода управляться с вами, князь Семен Львов?

— Князь Семен само собой — ты особо... К Семену с моря шли по зову его и государевой грамоте!

Выдвинулся вперед к столу казак, похожий лицом на Разина, именем Степан, только поуже в плечах, сутулый, с широкой грудью. Он вынул из-под полы ящичек слоновой кости, резной, поставив на стол перед

---

[1]) Будные станы — поташные заводы.

воеводой, минуя грамоту, лежавшую тут же, раскрыл ящик. В ящике было до верху насыпано крупного жемчуга.

По лицу воеводы скользнула радость. Мутные глаза раскрылись шире:

— За поминки такие атаману скажите от меня спасибо! И доведите ему, пущай отдаст бунчук, знамена, пушки, струги морские, да полон кизылбашской.

— Тот полон, что вернуть тебе велел атаману, у приказной весь — десять беков шаховых, кои в боях взяты, да сын гилянского хана — Шебынь их вертаем, а протчей, воевода, нами раздуванен меж товарыщи — тот полон атаман дать не мочен, по тому делу — что иной полоненник пришелся на десять казаков один, а то и больше. Тот полон, воевода, иман нами за саблей в боях, за него наши головы ронены... Да еще доводит тебе атаман, чтоб стретил ты его с почестьми!

— Почестей, козаки, мне, воеводе, нигде не дают, и я дать без приказу великого государя не могу... И еще скажу — сбег от вас с моря купчина Кизылбашской, бил челом о сыне своем — того купчинову сына дайте, а вез тот купчина от величество шаха в дар государю аргамаков, и тех аргамаков дайте, об ином судить будем с атаманом вместях, как лучше?

— Аргамаки, князь воевода, не шах послал, то нам ведомо, от имени шаха купчины царю аргамаков дарствовали, чтоб им шире на Москве торг был, они в Ряше-городе закупили народ, мы их не трогали, персы обманно положили наших четыреста голов, тот грабеж близ Терков им был за товарыщей смерть!

— Того не ведаю... послышал как — говорю!

— Верим тебе — ты нам верь!

— Вы же Басаргу, учуг святейшего Иосифа митрополита, разорили без остатку — побрали рыбу, хлеб и учужные заводы?..

— Богат митрополит, а древен — куда ему столько добра мирского? Мы же голодны были и скудны...

— Его богатство не одному митрополиту идет — на весь Троицкий монастырь!

— Монастырю мы замест хлеба оставили утварь церковную, три сундука добрых наберетца серебра — так сказал атаман: «выкуп ему за разоренье!».

— То обсудим, как атаман будет в Астрахани... Теперь же спрошу, где ладите селиться? В слободе под Астраханью, или за слободой?

Казак, похожий на Разина, ответил:

— Я есаул Степана Разина, мне атаман наказал приглядеть место за слободой близ моря — ту нам любее, и место шире... с Дона к нам будут поселенцы, коим там голодно — не таимся, того знай...

— Кидайте палатки и живите! Да сколь вас четом?

— Тыщи полторы наберетца.

— Скажите атаману еще, чтоб мног народ не сбирал — городу опас и слободе от огней боязно — ропотить будут на меня!

— Много больных средь нас, люди мы смирные.

Казаки ушли.

Младший Прозоровский встал, беспокойно прошелся по горенке, взяв шапку с лавки, хлопнул ею о полу кафтана:

— Не ладно ты, брат мой, Иван Семенович, делаешь!

— Чего неладное сыскал?

— Надо бы этих воровских казаков взять за караул, да на пытке от них дознатца — какие у разбойников замыслы и сколь у их вора атамана пушек и людей?.. Хитры они, добром не доведут правду!

— Сколь пушек, людей — глазом увидим. Млад ты, Михайло! Тебе бы рукам ход дать, а надо дать ход голове, голова ближе спознает правду. Вишь Сенька Львов забежал, грамоту государеву забрал и ею приручил их. Поди, они на радостях сколь ему добра сунули?.. Я вот зрак затупил, чтя старые грамоты, да про житье-бытье царей-государей... Вот ты помянул Грозного Ивана, а был Иван — дед его погрознее, тот, что Новугород скрутил, и не торопкой был, тихой... в боях не бывал, ежели где был, то не бился, только везде побеждал... татарву пригнул так, что не воспрянула, а все тихим ладом, не наскоком, не криком... Вот и я — думаешь, воры куды денутся? Да в наших же руках будет Стенька, одно лишь надо исподволь прибираться... Ну-ка, навались нынче наскоком?.. Ты говоришь, девять приказов стрельцов? Стрельцы те, вишь, все почесть с Сенькой в море ушли, на пятьдесят стругах; полторы тыщи их всего в Астрахани, залетели сокола глядел ли? крылья золотые. — Ты думаешь, вечно служить стрельцам не в обиду? Скажешь, глядючи на казаков они не блазнятца? — половина, — коли затеять шум, сойдет к ворам, глянь тогда, пропала Астрахань, а с ней и наши головы! — Нет, тут надо тихо... узорочье лишне побрать посулами, да поминками; зговаривать их, да придерживать, а там молчком атамана словить, заковать, и в Москву, без атамана шарпальникам нече делать станет под Астраханью... Вот! А ты руками, ногами скешь, саблей брячешь... Ой, Михайло! — Я не таков... Пойдем-ка вот до дому да откушаем, святейший митрополит придет тож — вот голова, на плечах трясетца, слово же молвит — молись! Лучше не скажешь.

Воевода с братом ушли из приказной. У крыльца им подали верховых лошадей.

По дороге воевода приказал развести по подворьям купцов Разинский полон — беков и сына ханова.

XVIII. В шатрах у Астрахани.

Дни стояли светлые, жаркие, чуть день наставал, в лагерь казаков приходили горожане из Астрахани, а с ними иноземцы взглянуть на грозного атамана. Слава о Разине ширилась за морем — пошла слава от турок, которые, слыша погром персидских городов, крепили свои заставы, строили крепости. Всем пришедшим хотелось увидать персиянку, говорили,

что княжна невиданная красавица — иные прибавляли: «что персиянка дочь самого шаха Абаса II, оттого-де шах идет войной к таркам». Разин стоял в большом шатре, разгороженном пополам фараганским ковром. Иноземцы, зная, что атаман любит пировать, несли ему вино, за хмельное Разин отдаривал кусками шелка, жемчугами и парчей. Народ ахал, оглядывая подарки атамана, сказки о его несметном богатстве росли и ширились.

Вплоть до татарских становищ на Волге за Астраханью по берегу теснились люди, где на особенно раздольной ширине Волжской качались атаманские струги, убранные коврами, шелком и цветной материей. Один из стругов был обтянут сплошь красным сукном с мачтами, окрученными рудожелтым шелком, на мачтах два золотых паруса из парчи. Любопытные спрашивали казаков.

— Кто такой живет на диковинном стругу?

— Царевич! — коротко отвечали казаки.

— Заморской царевич-от?

Иные, не зная, но желая ответить, говорили:

— Да, царевич, вишь, Лексей от царя, бояр сбег к атаману!

— Вишь ты! атаман он за правду идет противу воевод.

— Пора унять толстобрюхих, бором, налогой задавили народ!

— То ли ище узрим!

Сегодня особенно яркий день с ветром, доносящим от моря с учугов запах рыбы и морских трав. Волга здесь пахнет морем; к атаману в шатер пришли три немчина. Один сказался капитаном царского струга, другой послом, третий, особенно длинноволосый, в куцом бархатном кафтане, в мягкой шляпе без пера. Первые двое при шпагах, третий принес с собой черный треножник, ящик плоский, да тонкую доску. Вошел в шатер атамана, сбросил на землю шляпу, недалеко от входа поставил треножник, сказал Разину.

— Их бин малер! [1]) хотель шнель писаит.

На треножнике укрепил доску, окрашенную бледной краской.

— Чего тому, сатане?

Лазунка улыбнулся атаману.

— Он, батько, парсуну исписать с тебя ладит... я их на Москве много глядел — ходят, списывают ино людей, ино стены древние, мосты, а то один пса намарал — как живой пес вышел, лишь не лает...

— О, то занимательно! пущай марает, не прещу.

— Гроссер козак! [2]) штэен нада.

Немчин отбежал в сторону, упер левую руку в бок, правую вытянул вперед, надул щеки и выставил, как бы сапогом хвастая, правую ногу.

— Алзо зо! [3])

---

[1]) Я живописец.

[2]) Большой казак, стоять надо.

[3]) Вот так.

— Ха! стоять перед чортом потребно? ну, коли стану. Лазунка, дай булаву! — Лазунка подал булаву. Разин встал.

— Ты скоро, волосатой?

— Вас?

Атаман отдернул запону отверстия, в шатер хлынул свет.

— Гутен лихт! [1]) — карош... карош... — немец хмурился, вглядываясь в фигуру атамана, слегка прислоненную к фараганскому ковру — по красному узорчатые блестки. Рука художника, накидывая контур, бегала быстро, уверенно по доске. Разин был одет в голубой бархатный зипун с алмазными пуговицами. Красная бархатная шапка сдвинута на затылок, седеющие кудри упрямо лезли на высокий хмурый лоб. В прорехах шапки золотые вошвы [2]) с жемчугом. Поверх шапки намотана узкая чалма зеленого зарбафа с золотыми травами, на концах чалмы кисти, упавшие одна на плечо, другая за спину. Длинные усы черные, сливались, падая вниз, с густо седеющей бородой. Вглядываясь в впалые смуглые щеки, обветренные морем, рисуя острый нечеловеческий взгляд под густыми бровями, немец, работая спешно, бормотал одно и то же:

— Страшен адлер бликк [3]).

С левого плеча атамана спускалась золотая цепь, на ней сзади сабля. Опоясан был Разин ярко-красным шелком с серебряными нитями. Петли с кистями висели от кушака до колен.

— Како он марает, сатана? — Разин двинулся.

Художник, взмахнув волосами, погрозил ему кистью, запачканной в краску: — штэен блейбен [4]).

— Чорт тя поймет? ха! грозит пером, а у меня в руке булава... скоро мажь.

— Нынче мож...

— Фу! устал... худче много, чем бой держать, стоять болваном.

Отдавая Лазунке булаву, Разин не успел взглянуть на портрет, полы шатра распахнулись; отстраняя чмокающие удивленно на работу художника лица казаков, в шатер пролезла высокая фигура богатырского склада в стрелецком кафтане.

— Месяц ты ясный! а здорово-ко, Степан Тимофеевич?

Разин хмурый сел на ковры на прежнее место, молчал, наливая в чашу вино, не глядя на стрельца, сказал:

— Сам пришел палач Петры Мокеева?

— Мокеева, батько, чул я шах кончил? не я...

— Шах, оно шах, а ты пошто руку приложил?

— Не навалом из-за угла — игра такая, играли во хмелю оба — сам зрел!

---

[1]) Хороший свет!

[2]) Вошвы—вшитые куски дорогой материи.

[3]) Орлиный взгляд.

[4]) Стой еще. Надо стоять.

— Чикмаз! с Петрой, кабы жив, воевод просто за гортань взяли — сдавай Астрахань!

— Захоти, батько, Астрахань твоя! молодцов нарочито по тому делу привел, надо, так хоть завтре иди бери...

— Годи, парень, кричать, немчины близ, да един в шатре, то воеводины гости.

— Много кукуи смыслят? эй, ты, курячий хвост, — поди отсель, скоро!

Чикмаз взмахнул длинной рукой, задел мольберт и чуть не опрокинул работу немца.

— Халт, мейн готт, гробер керл! [1]) — Немец в ужасе замахал одной рукой, другой схватил портрет.

— У нас скоро, иди!

— Жди, Чикмаз! дай гляну, что волосатой пес марал?

Разин встал. Немец показал ему работу.

— О-то, выучка человечья великая и что она деет? как воочию я, едино лишь немотствую да замест булавы — палка в руке...

— Тю... маршал штаб! маршал... [2])

— Лазунка, дай ему волосатому жемчугу пригоршни — заслужил...

Лазунка в углу из мешка достал горсть жемчуга, всыпал в карман немцу, тот поклонился и, продолжая внимательно разглядывать атамана, словно стараясь запомнить могучую фигуру его, сказал:

— Другой парсун пишу — даю тебе.

Художник, бережно приставив портрет к спинке шатра, спешно собрал мольберт, забрал работу и еще спешнее пошел, забыв на земле в шатре шляпу. Лазунка догнал художника, нахлобучил ему шляпу. Разин сел, приказал:

— Садись, Чикмаз! нече спореватн — пить будем, не Персия — здесь Астрахань, а в своем гнезде и ворон сокола клюет. Унес тогда ноги, — ладно червям не угодил на ужин.

— Тое ради могилы утек я, батько!

Наливая Чикмазу вина, Разин спросил:

— Скажи все, что мыслишь о своем городе и людях.

Чикмаз выпил вино, утер привычно размашисто рукавом длинную, сивую бороду, ответил:

— Перво, батько Степан, знай мою душу! не с изменой, лжой пришел я... и тогда не кинул ба поход, да посторонь тебя были люди, кои застили мою любовь к тебе — Петра, Сергей, Серебряков Иван... нынче не те — иные удалые надобны, а я от прошлого с тобой — буду служить, надо на дыбу? — пойду!

— Верю! и люди надобны.

---

[1]) Не смей, мой бог, грубый парень!

[2]) Маршальский жезл.

— Привел я Ивашку Красулю, Яранца Митьку, да в Астрахани ждет тебя удалой еще — Федько Шелудяк — этих четырех нас покудова буде... заварим кашу — Красуля стрелецкой сотник.

— Добро!

— И еще — от себя дозволь совет тебе дать, батько?

— Сказывай!

— С воеводой Львовым Семеном пей, гуляй — не знай страху — прямой человек! Прозоровских же опасись.

— То я ведаю.

— Гей, Красулин! Яранец! атаман кличет.

На голос Чикмаза вошли двое: приземистый, широкоплечий Яранец и высокий узкий с длинной головой редькообразной, рыжий Красулин.

— Лазунка! дай еще чаши.

— Пьем за здоровье Степана Тимофеича.

— Сил наберись, батько, да скоро и в Астрахань, воевод судить.

— Много довольно им верховодить, кнутобойствовать с иноземцами!

— Зажали стрельцов!

— Стрельцы все твои, они шатки царю.

— Робята! Силы батько Степан скоро наберетца — людей по листам подметным идет немало, иные идут по слуху... чул я, Степан Тимофеич, — обратился к Разину Чикмаз, — Ус Василий казаков ведет — не дально место видали их, да за казаками идут калмыцкие, — многи улусы, — все к тебе и долго Астрахани не быть под воеводами. Навались только.

— Вот что я мыслю, соколы! Бунчук, знамена и пушки, кои мне ненадобны, да ясырь перский сдал воеводе, нынче по уговору к царю шлю послов бить головами и вины наши отдать ране ведаю — царь у бояр в руках, а бояре вин моих не дадут царю спустить, только все до конца вести надо. Замурдует царь моих или обидит? — гряну я на город! Вы же мне верны будьте, не торопко и тайно подговаривайте стрельцов, потребных ко взятию Астрахани, я же примётные письма пущу шире, да пришлых людей зачну обучать к пищали...

— То и будет так, Степан Тимофеевич! — сказал Чикмаз.

— Будет так, батько, клянемся! — прибавил Красулин.

Яранец вмахнул кулаком:

— Эх, за все беды воздадим воеводам с подьячими!

— Знай, Степан Тимофеевич! мы твои до смерти.

— Добро, соколы!

Стрельцы ушли и в дали черневшая слобода скрыла их фигуры. Безоблачное небо — сине. Из-за Волги с Крымской стороны по равнине, голой, бесконечно пространной, все шире и ярче золотели стрелы встающего месяца.

В ту же ночь пять казаков собрал Разин в своем шатре.

— Обещал воеводе шесть, да одного не подберу.

Лазунка сказал:

— Пошли меня, батько!

— Люблю, Лазунка, когда ты приходишь и без просьбы служишь мне... совет твой тож люблю...

— Я скоро оборочу, батько!

— Дай подумать.

— Сядьте, соколы! — казаки сели. — Ты, Лазарь Тимофеев, — обратился Разин к пожилому худощавому казаку с хитрыми глазами — опытки знаешь, шлю тебя, чтоб глядел зорко и слушал, как будут говорить в пути стрелецкие головы, а чуть узнаешь беду к вам — беги в Астрахань! — ближе будет на Дон. Дон сбеглых не выдаст.

— Увижу, батько!

— И все так — ежели худое тюремное над собой услышите, бегите, кто как может... бояр, я ведаю, — зовут лестью, да ведут к бесчестью... казак ли, мужик для них не человек, едино, что скотина та, которая пашет и их кормит. Теперь же пейте на дорогу да в ход. Лазунка, вина царевым посольцам!

Выпили вина. Разин продолжал:

— Сряжайся, Лазунка! буду я здесь время коротать со сказочником дидом Вологжениным.

Казаки послы ушли. Разин спросил Лазунку:

— Тебе пошто, боярская голова, на Москву поохотилось?

— Невесту позреть, батько! чай нынче ее сговорили за другово? мать тоже глянуть надо... люблю ее...

— Кто же не любит мать? а я вот не упомню мати своя... знай вот — на Москве матерых казаков в станицах пришлых от царя кормят, вином и медом поят и пивом; становят на двор и ходить не спущают никуда без приказу... старым атаманам лошадь с санями дают, коли зима... я же не глядел на царское угощение от дозора стрельцов, что у караула станицы были, — через острог лазал, а пил-ел в гостях и тебе велю — не становись на дворе под стражу... тут они тебя, коли зло на разум им падет, возьмут, как квочку на яйцех... там у меня в стрелецкой слободе от моста деснулю с версту, на старом пожарище в домишке схожем, на бурдюгу [1]) жонка живет, зовут Ириньицей... сыщи ее, коли дома тесно — она укроет, только пасись от сыщиков... про меня ей скажи все и про княжну скажи — поймет... гораздо меня любит и будешь ты ей родней родного. Еще не ведаю — жив ли дядько ее юрод? древний старец был... тот должно помер... мудрой был книгочей, все бога искал... возьми, что надо, да спеши — казаки, вишь, на коней садятца. Коли имать будут, — беги сюда!

— Будь здрав, батько! прости-ко, Степан Тимофеевич.

— Не блазнись, коли служить царю потянут.

Разин на дорогу обнял Лазунку и вышел за ним из шатра, а за Волгой со стороны Яика-городка широко чернело, шевелилось, слышался скрип

---

[1]) Бурдюга землянка.

колес, в мутном лунном тумане на телегах передвигались сакмы киргизов, доносился их крик:

— Жа-а-ксы-ы! [1]

— Бу-я-а-рда! [2]

— Бар? [3]

— Бар! [4]

Разин, прислушиваясь, понимал далекий крик степных людей, недаром он был в молодости от войска к ним послом. Лишняя морщина прорезала высокий лоб атамана. Вспомнилось ему далекое прошлое. И первый раз за всю свою жизнь он скользнул мыслью с легким сожалением, что с детства не знал отдыха — на коне или в челне, или был в схватке в боях.

Подумал, уходя в шатер:

— Ой, несказанно тяжела ты, человечья доля! Свобода ли, рабство, богатство и почесть венчаются единой кровью... пируешь за столом, тебе говорят красные речи, а за дверями на твою голову топор точат...

(Продолжение следует).

---

[1] Хорошо!

[2] Здесь!

[3] Да?

[4] Да!

Жилой дом.

Повесть.

Глеб Алексеев.

I.

С войны дом не ремонтировался; зеленая краска крыши выгорела будто порыжелый войлок, и по веснам — когда солнце выгоняло из желобов веселую воду — в квартире верхнего этажа протекали потолки, и нижние жильцы за то затевали с верхними жильцами ссоры; по осеням же — когда с Москва-реки начинали дуть пронзительные холодные ветры, и по двору задерживался грязный снег — нижние жильцы жаловались на верхних за то, что они лишены чувства общественности: — проходя никогда не закрывают за собой дверь на парадном.

Снаружи дом был белой, слинялой под дождями окраски; его бока, будто обороняясь под ударами судьбы, щетинились лупленой штукатуркой; парадная дверь хлюпала, а в дождливую погоду набухала и не закрывалась; на лестнице нестерпимо шибало в нос горелым луком и тем мешаным запахом аммиака и плохо постиранного белья, каким всегда пахнут тесные человеческие жилища. В голодные годы растащили на топливо все деревянные пристройки дома: сарайчики, помойку, конуру бывшей купеческой собаки, — и потому весь мусор из своих жилищ квартиранты сваливали в кучу в углу двора, и куча омерзительно воняла, едва весеннее солнце начинало пригревать ее, — тогда бегали по ней желтые мохнатые крысы, и за крысами охотились с палками дети жильцов.

В округе прозвали дом «ноевым ковчегом». И в самом деле: — в ветреные утра, когда весенняя синь простирается глубокая как море, и паруса облаков гоняются по ней к вольным горизонтам, казался дом обломанным, многое повидавшим ковчегом, который подхвачен озорными ветрами к неизвестным путям...

II.

Дом этот до революции принадлежал Ивану Степановичу Журкину, а теперь жилищному товариществу, то-есть всем жившим в нем людям на началах совместного владения.

Сам же Иван Степанович, проходя по двору, вздыхал и только покачивал головою на мерзость запустения. И с тем особенным чувством удовлетворения, которое давно стало единственной наградой за то, что отняли дом, нажитый трудами всей жизни, — именно на нем, на своем доме, отмечал он бреши новой разрухи. Вот лопнула труба, — веселая весенняя вода, волоча прутья, прошлогоднюю листву и грязь протравленной крыши, хлещет поверх желобов, обдавая подоконник номера третьего — коммуниста Дынькина. И лестница, кажется, подгнила окончательно, — на чем только держатся ее стропила? Если на дворе никого нет, Иван Степанович тайком приоткрывает парадную дверь и подмигивает черным изнемогающим стропилам, словно тайным своим друзьям. О, если б хоть лестница обвалилась и придавила кого-нибудь из жильцов! Желтоватые и бескровные, как у слинялой вороны, глаза Ивана Степановича оживают от внутреннего смеха, — он дергает себя за хохолок, чтобы не рассмеяться — потому что нелепо, если человек смеется в одиночку.

В воскресные дни летом, или по ранним московским веснам, когда в открытую в первый раз форточку пахнет разогретым снегом и, как всегда весной, надеждой на иную, лучшую жизнь, — любил Ивана Степанович посидеть у окна, чего-то смутно дожидаясь. Уложив старчески усохшие свои руки на подоконник, маленький седенький старичек в тихонькой бородке, похожий на желтый трупик с подрумяненными щеками, — часами наблюдал он за войной ребят на помойке, за тем, как под талой водой бухнет штукатурка, и воробьи, делясь по весне на пары, дерутся в первой пригретой пыли. Чистенький сухой лобик старика прорезался тупыми бороздами морщин, брови подымались дужками, но глаза оставались спокойными и зоркими, как у сторожевой птицы.

Каждого жильца, каждого жилтоварища (так называл обитателей дома Иван Степанович), — он знал, будь то ребенок, или бухгалтер треста, или древняя старуха, глаза которой уже прихвачены цепкой смертной землей. Словно боцман, оставленный за выслугу лет на корабле, сжился с ними Иван Степанович, считал их всех своими, хорошими или плохими, но всех вместе тем обязательным прибавлением к своей жизни, без которого была бы жизнь ненужной и, может быть, кончилась бы, как кончается она у стариков, вдруг переставших работать. И еще: — от старческой своей скуки, которая натужливо томит по вечерам, и от того, что не с кем было поделиться ему мудростью прожитых лет, ибо в наши дни перестали ценить осторожную мудрость старости, — завел Иван Степанович дневник. Родился ли в доме ребенок, а дети в доме родились неумолимо, каждый год, как всегда у нищих и у безработных, — отмечал Иван Степанович это событие. Умирал ли кто-нибудь, а это случалось редко: жили в доме цепко и подолгу — Иван Степанович и тут находил подходящее слово: «Умер волею божией еще один раб!» Бил ли кто жену, а жен в доме били в каждую получку, и женщины — крича — выбегали на двор в растерзанных кофтах и босиком, — Иван Степанович, по свежему крику, вписывал фамилию побитой в «книгу живота». Покупал ли кто

новую шубу или ботинки, сокращали ли кого в должности, ругались ли остервенелые бабы на дворе, ронял ли кто замечательное слово, роптал ли на жизнь (никто в доме не радовался, не улыбался и никогда не благословлял наступающий день) — все находило место в «книге живота», и мечтал Иван Степанович свезти свою замечательную книгу в Константинополь вселенскому патриарху.

III.

Утром, — после долгой, никчемушней ночи, шуршавшей мышами и темнотой, — Иван Степанович первым выходил на кухню: почистить сапоги, умыться, присмотреть за примусом: не уперли бы примус, а то отольют керосину, или подбросят в чайник спичечную коробку — со злости. Частенько обнаруживал Иван Степанович в своем чайнике то пуговицу, то катушку от ниток, и даже селедочную голову... Ведь эдакий подлый народец!

Выходом Ивана Степановича на кухню в квартире начинался день.

И сам того не подозревая, что движет им злорадство, ощущал он волнующую радость, если примечал, например, объявление: «Всех сознательных граждан просят твердых предметов в раковину не бросать!!!»— или разглядывал потолки и стены кухни, прокопченные голодными годами так, что маляр отказался их белить. Стены такими и остались от голодных лет: — темными словно своды пещеры, с нитками паутины, с черными впадинами труб, заклеенных от сквозняка пожелтевшей газетой. На плите непрерывно гудели примуса. Грязная полуживая кошка печально сидела на подоконнике, уставленном бутылками.

Умывшись, Иван Степанович прятал мыло в укромное место: иначе обязательно смылят. В кухне встречался он с обитателями квартиры и разговаривал с ними. Разговаривая, больше расспрашивал — так все научились разговаривать в годы революции: побольше расспросить на всякий случай и поменьше рассказать о себе. Семейств в шести комнатах квартиры проживало пять. Две комнаты заполняли — старуха Скорбилина, старшая ее дочь с мужем и двумя детьми, и вторая дочь — Кателька, учительница, и при них еще тетя Саша, полусумасшедшая вдова полковника, расстрелянного в революцию. Тетя Саша спала в передней на вонючем сундуке. По правую сторону комнаты Ивана Степановича великолепно расположился Павел Петрович Барабашкин — советский торговый служащий, имевший семь галстуков и каждый день выходивший в новом, — а с ним тихонькая полуслепая жена, печально напевавшая по вечерам все одну и ту же песенку: «Кто ска-ачет, кто мчи-ится под хла-адною мглой? — Ездок за-апоздалый...». Про Павла Петровича все в квартире знали, что он ждет — не дождется смерти своей «идиотки», чтобы сделать предложение скорбилинской Кательке, и сама «идиотка» — жена его — знала об этом. Когда Павел Петрович уходил в неизменно новом галстуке на службу, она доставала заветное, что осталось от всей жизни: ящик

с двумя венчальными свечами, в нем белые лайковые перчатки, свою карточку в подвенечном платьи и два порыжелых письма Павла Петровича с жарким объяснением в любви. Она перебирала перчатки и письма опухшими своими пальцами и плакала. В дальних, маленьких комнатах жили: коммунист Чужатников, — его никогда не бывало дома, все уезжает в какие-то командировки, а возвращается ночью и громко, по-хозяйски стучит в дверь. Иван Степанович научился угадывать его стук, и, заслышав,— комочком скатывается с кровати и бежит открывать. Чужатников не глядя проходит в свою комнату, громыхая сапогами и всех будя. Рядом с этим страшным человеком уютно проживала машинистка Зиночка из Наркомздрава — хохотушка с пронзительными глазами. В кухне — по утрам и вечерами — они сходились, умывались, готовили пищу, чистили платье, купали маленьких детей, — здесь за семь лет много нависло на стенах не только копоти, но и горя и радости, и если бы стены не стыдились говорить — могли бы рассказать они много отвратительного и прекрасного о человеке.

Приметив на подоконнике давнего своего врага — барабашкинскую кошку, — Иван Степанович от радостной неожиданности прикусил язык и, ухватив с плиты чью-то сковородку, на цыпочках пошел к окну: только вчера, стерва, удушила второго черного скворца! Кошка в упор, не мигая, смотрела в страшные глаза Ивана Степановича, и в тот решительный момент, когда он занес было сковородку — легко стеганула у него из-под руки. Но неудача не огорчает Ивана Степановича: он привык к тому, что желания не сбываются сразу. Оборачиваясь, Иван Степанович примечает самого Барабашкина, саркастически наблюдающего в дверях. А этот гусь стоит своей кошки!..

— Доброе утро, дорогой сосед! — с потрясающей любезностью произносит Барабашкин. Он словно и не видит чужой сковородки в руках Ивана Степановича. Наоборот, — он косится на открытую форточку:— «Это вы открыли форточку? — с той же уничтожающей любезностью спрашивает он, и, достав из плиты лучинку, с очень страдальческим видом прикрывает форточку лучинкой. Иван Степанович молча разглядывает барабашкинскую бородку, смятую со сна словно сапожная щетка. Думает же он о том: — уж не Барабашкин ли каждый день смыливает мыло? Иван Степанович остается в кухне проверить: с мылом или без мыла будет Павел Петрович умываться? Очень хорошо, что успел спрятать мыло! Ведь этакая развелась по всему свету мерзость! Умыться — и то с чужим мылом норовят...

Иван Степанович ни к чему начинает переставлять на подоконнике жужжащие мухами бутылки. Но и Барабашкин отлично понимает этот хитроумный маневр. Он тоже заинтересовывается бутылками, и несколько минут две бородки — опрятненькая, как у седой мыши, Ивана Степановича и всклокоченная, с табачной прожелтью, Павла Петровича — словно в тайном каком согласии трясутся над подоконником.

— А? Что? — спрашивает Иван Степанович.

— Ничего-с! Мне показалось: вы что-то сказали, Иван Степанович!

— Я-с? Нет-с, я ничего не говорю!

Руки Павла Петровича так и ходят в мелкой воровской дрожи. Теперь Иван Степанович отнюдь не сомневается: крадет мыло именно Павел Петрович. Он спрашивает с ехидной заботливостью:

— Вы, кажется, умываться пришли, Павел Петрович?

— А? Что вы сказали, Иван Степанович?

Но тут Иван Степанович уже не отвечает. Он с нескрываемым торжеством подходит к полке. На полке-с, сзади зиночкиной банки от варенья, вот где скрывалось мыло, милостивый государь мой! Видали-с? Иван Степанович вытаскивает мыльницу и нарочно медленно удаляется из кухни, неся мыльницу словно святые дары.

В комнате Иван Степанович не спеша готовится к утреннему чаепитию. Расстилает скатерть с радостными каемочками. Достает пообившуюся за долгую жизнь сахарницу, мешок с баранками. Птицы в клетках уже начали возиться, радуясь солнцу и теплу, а птиц в комнате Ивана Степановича, в тех шестнадцати квадратных аршинах, что положены по норме человеку, — было много. Клетки висели под потолком, на окнах, на шкапчике с бельишком. В клетках трепыхались черные дрозды, щеглы, клесты-сосновики, краснoперые снегири. На столе красовалась нарядная, всегда отворенная клетка с любимцем старика — серым попугаем Жако. Попугай прожил с Иваном Степановичем сорок восемь лет, помнил лучшие времена, когда кормили его отборными грецкими орехами, — и был так же стар Жако, как Иван Степанович, и так же над птичьими его, как у Ивана Степановича, глазками вызывающе торчал начесанный хохолок. Только это утешение и осталось на склоне трудной, под старость обидевшей жизни: — любил Иван Степанович птиц.

Не успевает Иван Степанович выпить и первый стакан чая — покрепче и без сахара — в кухне начинается очередное столпотворение. Чей-то кулак остервенело стучит по столу. Заносчивый бабий крик колотится словно паршивое стекло. И другой голос (Иван Степанович узнает по виноватым ноткам голос старшей дочери Скорбилиной, Татьяны) просительно бубнит. На цыпочках, — подшлепывая туфлями, — крадется Иван Степанович к двери. Боже упаси — скрипнуть! Тихонечко приоткрывает щель — только-только просунуть нос. Сразу же по всей квартире разливается могучее контральто нижней жилицы Бузыниной:

— Да я ж на вас жаловаться буду! Да это ж чорт те знает что!

— Бу-бу-бу... — надрывается Татьянин голосок.

— Шей размывать нечего! — перебивает могучее контральто, — других упрекаете в несознательности, а у самих сознания нет, что вода вниз протекает!

— Бу-бу-бу... да разве ж нарочно, когда дом гнилой... бу-бу-бу...

— Знаю я ваше не нарочно! А кто в прошлом годе сливал помои в уборную, а у меня весь потолок, чорт те знает, тухлыми грибами зарос! А кто шкап в вашей квартире почем зря двигает, а у нас щикатурка сыпется.

ется в самые щи! Да рази ж можно хладнокровно перенести такое безобразие?!

Голоса бубнят в кухне минуты три, все нарастая и нарастая, и переходят, наконец, в общий сплошной крик. Затем с треском хорошего выстрела хлопает дверь. Сейчас пройдут по передней, — Иван Степанович осторожно прикрывает свою щелку. События начались с утра. Залезая на стул — к «глазку», который он провертел в соседнюю комнату, Иван Степанович даже размышляет: — итти ли ему сегодня на Кузнецкий, где приторговывал он зубным порошком в разнос? Ну, конечно же! Павел Петрович и вот он! В новых подтяжках сидит у Скорбилиных и смотрит на Кательку собачьими глазами. А знаете ли вы, достоуважаемая Катерина Павловна, что Павел Петрович Барабашкин, неоднократно изъяснявшийся вам в любви, — повинен в сей очередной кухонной битве? Это он не завернул кран над раковиной, а несознательная вода потекла в бузынинское гнездо. Вы думаете, может быть, по оплошности совершил гражданин Барабашкин сей отвратительный поступок? Отнюдь нет, печальная невеста моя! От злости-с! От злости, что Иван Степанович убрал свое мыло...

О, как бережно собирал, записывал в дневник, хранил в памяти вот эдакие примеры человеческой подлости Иван Степанович! Какая-то болезненная ревность — словно к прекрасному произведению искусства — объявилась у Ивана Степановича к отрицательным чертам человеческого характера. Да-с, дорогие жилтоварищи!

— Бузынина зла, — вдохновенно убеждает в соседней комнате голос Павла Петровича, — даю вам честное слово: она зла, как трамвайная кондукторша...

Кателькин голосок отвечает печально:

— Не в ней одной дело, Павел Петрович... Вся Россия задрызгалась в мелочах, в судах, в картофельных очистках... крупного у людей ничего не осталось... все сидят в раковине и поедают друг друга...

Иван Степанович еле сдерживается, чтобы не пырскнуть в самый «глазок».

Так начинался день. Иван Степанович не спеша надевал пиджачок и шел на Кузнецкий мост торговать зубным порошком. А если не шел на Кузнецкий — то к Пимену, к обедне, — благо рядом, и поют хорошо...

IV.

Придя от обедни, Иван Степанович варил на примусе яйца, ел, ковыряя зубочисткой во рту, потом подходил к птицам и старательно и долго возился с ними. С неторопливой заботливостью чистил клетки, менял блюдечки с водой, засыпал корм — на вечер, когда птицы будут встречать закат. Черноголовый — словно ему облили голову чернилами — чегирь топорщит огненные перья на груди и тихонько высвистывает флейтовым голоском: «трю-юм, трю-юм!». Вот опять нахохлился сливший в неволе щур. Иван Степанович думает, что клетку со щуром

надо перевесить поближе к окну. Неугомонный — крутится по клетке желтый веселый чижик с прощипанной плешью на затылке. И вдруг зазвенит овсянкой, или застучит щеглом, или нерешительно, будто вспоминая подслушанную еще на воле мелодию, выведет тревожную трель травника. За старческую плешь прошлой весной, когда Иван Степанович выпустил чижика полетать по двору, — его едва не заклевали воробьи.

— Да, браток, — наставительно говорит Иван Степанович, маня чижа пальцем, — птицы не любят уродства! Если ты стар, если ты лыс и крылья волочишь по земле — умирай!

— Тю-вить! — пищит чижик.

— А ну, ну! — приникает Иван Степанович к клетке, — ну-ну, принимай, дурачок, по-соловьиному. Тии-вить, тии-вить! Пуль-пуль-пуль! Не можешь? Ах ты, дурачок-дурачок, плешивый гусачок!..

На дворе было желтое — при солнце — затишье; в открытое окно видно: на деревьях при полной тишине, зловеще — словно живые — шевелятся листья. «Быть грозе», подумал старик, решил прикрыть окно и на полчасика прилечь. Но спать без толку и, выспавшись сейчас, к ночи проснуться, сидеть одному в напряженной темноте и слушать, как неутомимо шуршат мыши по стенам и вздыхают во сне соседи, — было нестерпимо. Иван Степанович печально вздохнул, пригладил волосы перед зеркалом, потом потащил стул к стене и, прикусывая язык, чтобы не дышать громко, — стал медленно, по-стариковски на него взбираться.

В «глазок» видны: — шкап открытый, а в нем ничего не было, рояль пододвинутый клавиатурой к окну, под роялью возится над разбитой куклой пятилетняя Анечка, по середине комнаты — большой обеденный стол, покрытый возмутительно веселой голубой клеенкой. Над столом склонилось потертое неопрятной старостью, очень усталое лицо женщины, готовившей обед. Женщина резала мясо, ее губы от напряжения вытягивались, обнажая единственный и желтый, словно мундштук, зуб.

Старуха подняла голову и сказала в глубь комнаты:

— На дворе вывесили объявление: за квартиру надо уплатить в трехдневный срок. Сколько у тебя осталось, Таня?

Молодой голос отвечал с покорством отчаяния:

— Он принес четыре червонца. Из них двадцать три рубля за квартиру. Вычли на строительный заем. Шестнадцать останется нам на две недели...

— Надо что-нибудь продать... Я пойду на Сухаревку. Давай продадим Николая-чудотворца и медную ступку... икону, может быть, не купят, но серебро — всегда серебро...

— Возьми мое платье — бархатное коричневое...

— Что ты, что ты? Разве можно платье — кто ж шьет теперь новые платья?

— А кто покупает иконы? Ну, попробуй взять альбомы и старые папины мундштуки...

— На эти вещи никто даже и не смотрит... В прошлый раз я взяла нож для рыбы и большой мундштук — простояла целый день. Теперь нужны вещи попроще...

Голоса притихают. Иван Степанович устал стоять на одной ноге: — другой ногой он упирается в стену. Он видит: старуха выносит икону, долго рассматривает ее остановленными глазами, словно припоминает то большое, что было связано с нею: рождение, свадьба или смерть. Ее глаза покорны и стеклянны, неопрятные серые мешки под ними набухают приученной слезой. Потом она поворачивает свое лицо к дочери, качающей на коленях грудного ребенка, и смотрит в ее испитое, такое же старческое в двадцать шесть лет лицо, — молча, с каменным покорством отупения. Кругом тихо. Так тихо, что слышно, как птицы шелестят крыльями, и чей-то голос на дворе кричит с ленивым раздражением:

— Санька! Са-анька, чорт гололобый, бежи сюды — я те уши нарву!

Иван Степанович слезает с кресла и, поучающе поднимая палец, говорит попугаю:

— Кто хощет по нем итти, тот должен отвергнуться себя и взять крест свой и по нем итти...

— Кр-ра! — отвечает попугай, высовывая голову из-под крыла.

V.

А в полдень, особенно в душные летние дни, когда лежит солнце нестерпимыми пятнами на белой штукатурке домов, и сонный ветер ворошит по двору бумажки и подсолнечную шелуху, — Иван Степанович настежь открывает окно и надолго пристраивается на подоконнике. На лице старика — неомраченная тишина, седенькая его бородка, как всегда, аккуратненько расчесана. И все интересует Ивана Степановича. Вот в пятый номер пронесли арбуз. Кателька Скорбилина, играя бедрами, прошла по двору в остроносых ботинках. Мальчишки залезли на крышу, натягивают антенну. Вдова Бузынина советует им сонным голосом из-за фикуса на окне: «А вы сорвитесь, пострелы!». В подвале безнадежно мяучит забытый кот. Постукивает ветер усохлыми рыжими подштанниками, развешанными по забору. Тихо, тепло, жизнь идет.

По двору, придерживая рукой платье на коленях, чтоб не споткнуться самой о себя, ползет столетняя отставная генеральша Оболенская. Желтая, будто из слинялого кипариса, голова старухи заваливается на бок от непосильного бремени лет. Однако, завидев у ворот председателя жилтоварищества Петра Ивановича Дынькина, старуха останавливается, и что-то очень мутное, едва похожее на человеческую мысль, просыпается в ее вялых, захватенных землей глазах. Она шепчет настойчиво и глухо:

— Когда ж ты воду пустишь, батюшка?.. Который день сидим без воды...

Петр Иванович в восторге даже ударяет себя ладонями по ляжкам:

— Ну, поди ж ты, — изумляется он, — кому что, а Гликерье Антонине все водички подавай...

И, приметив за роскошным фикусом кокетливо поплевывающую семечками вдову Бузынину, Петр Иванович подмигивает ей не без иронии

— Как же, батюшка, с водой-то? — настойчиво допрашивает старуха, держась за подол юбки.

— Да уж пустим, мамаша! — озорно вскрикивает Петр Иванович: — вот дай срок — выиграем сто тысяч — сразу из всех дыр пустим...

Старуха не понимает насмешки. Она ловит руками пальто Петра Ивановича и повторяет про свое:

— Уж мы подождем, батюшка... авось, теперь не долго...

— Ой, не могу! — всей грудью налегая на подоконник, захлебывается смехом Бузынина, — вы, Петр Иванович, прямо проницательный безбожник! Что ни скажете — завсегда на смех подымете!

На тройном подбородке Бузыниной трясется неотплюнутая подсолнечная шелуха, и грудь ее от смеха ходит под кофтой словно морские валы. Петр Иванович щурит на изумительные валы глаза и поигрывает ногой в сандалии.

— Вот уж не понимаю, — с оживлением продолжает Бузынина, и для чего такие живут? Только площадь лишнюю занимают, право! И все живет и живет! Давеча спрашиваю ответственного съемщика Барабашкина: «Ну, как, — говорю, — ваша старушка — божий дар?» «Что вы, — отвечает, — и не надейтесь по пустому, — она еще нас с вами переживет!» Даже удивительно: — до чего нынче народ живучий пошел!...

Со своего подоконника Иван Степанович внимательно следит за тем как довольная разговором старуха ползет к парадному крыльцу и, точно воду, попеременно пробует ногой встать на ступеньку: какая нога выдержит тяжесть тела? «Вот старый чорт, — пожалуй, шлепнется!» — думает Иван Степанович. Старуха проваливается в черное дупло двери, словно в огромный, похожий на овраг, бузынинский рот.

На дворе тихо. Сонный ветер метет вихорек бумажек. Стены дома в белых солнечных пятнах отпотевают затхлой зимней сыростью. В подвале все еще кричит забытый кот. И вот уже вертит жизнь новое колесо. видит Иван Степанович: — идут к лавочке Кателька Скорбилина в обнимку с хохотушкой Зиночкой, машинисткой из Наркомздрава.

— У нас опять сокращение... Ты прямо представить себе не можешь, до чего я измучилась?

— Я представляю! — сочувственно вторит Зиночкино контральто

Солнце бьет длинным лучом в лица садящихся девушек. Ивану Степановичу видны светящиеся их глаза, подкрашенные губы, Зиночкина лайковая перчатка, которой она — играючи — постегивает по колену узкие носки новых кателькиных ботинок. У Кательки скорбные голубые глаза. Ее лицо просвечивает синими жилками и бледно — как бледен выросший в лесу цветок. В лице ее, в манерах — следы «породы»: — в этом Иван Степанович отлично разбирается. Такие вот живут лет до

тридцати — зажмурив глаза, мечтами о принце, которого все нет, который так и не придет никогда. А там стукнет тридцать лет — неумолимая жизнь подвинет плоскую свою рожу и плюнет в доверчивые глаза самой отвратительной пакостью. «И муж тебе, — с благожелательной печалью думает Иван Степанович, — попадется сверхъестественный подлец!». Вот Зиночка — совсем не то! Она всегда во всеоружии: — волосы вымучены в водороде, на висках сожжены завивкой, рот густо и пьяно накрашен, и все черты ее лица словно приподняты в постоянном напряжении. Смеясь она, как обороняющаяся белка, обнажает зубки — остренькие, мелкие, разве только чуть-чуть запломбированные. Кателька прижимается к подруге с той милой беспомощностью, с какой прижимаются девушки к подругам более старшим и рассудительным.

— Что у тебя с Пчелкиным? — спрашивает она: — серьезное что-нибудь?

— Какой к чорту! — раздраженно отмахивается Зиночка, — знаешь: — я уже третий месяц...

— Да что ты?!

— Вот тебе и что ты! А все он, мерзавец! Такой неосторожный — просто ужас... Второй раз подкладывает свинью. На одни аборты денег не напасешься!

В голоске Зиночки — раздражение бессильной злости.

— Думала я, — продолжает она, — расписаться с ним, но жить-то чем? Ему — три года учиться, а я, что называется, — невеста с примусом и комнатой... И за это отдать свою молодость! Да никогда! Жизнь надо устраивать прочнее. Все они, Пчелкины, только для ночи хороши... А тут и подвернись этот Хахомов, — да ты его знаешь!

— Что-то не помню...

— А в прошлом годе в сокольнической роще в день юношества — помнишь? Подошли к нам два представительных мужчины, один с рыжей бородой и пальцы обкусанные, а на мизинце, между прочим, брильянт в три карата... Это и был Хахомов!

— Хахомов?

— Ну да, Нил Кузьмич! Повадился ходить. Придет и сидит до ночи! Позвольте, — говорит, — ради счастливой нашей встречи Зинушей называть!» «Зовите», говорю. «Я, говорит, Зинуша, — человек старых понятий, я, говорит, рыбой в Охотном торгую, а жену себе ищу прочную...»

— Ха-ха-ха! — с завистливой восторженностью вторит подруге Кателька.

— Подумала я: — нет, невозможно с такой рожей жить. Продушит рыбой наскрозь! А упускать свое счастье тоже не приходится... Где теперь такие мужчины, чтобы по тридцать червонцев в месяц зарабатывать?.. Дай, — думаю, — на алимент его подхвачу!..

— Да что ты?

— Ничего ты! — что ж тут особенного? Теперь женщина с умом блестяще может свою судьбу устроить. У меня одна подруга университет

кончает — благодаря ребенку... Приехала девушка в Москву учиться и счастья своего искать из Калуги — ни комнаты, ни заработка, даже платьишка приличного не было... Ну, приютил ее знакомый ее же отца, трестовский бухгалтер — рожа неимоверная, словно чайник... А ей все равно — только бы въехать! Поселилась у него, живет, учится, а сама, конечно, то в одной рубашке пройдет, то не спится ей — раскинется на кровати роскошно, а тот на своем диване ужом вертится... Добилась девка своего — сейчас же в суд, а ему в проклятую его рожу так и сказала: «У меня, говорит, еще сто шестьдесят девятая статья в запасе есть! Ты, говорит, не очень тормошись... Лет на пять сядешь за психическое насилие при материальной зависимости»... Так он, чайник несчастный, чуть палец себе не откусил, даже комнату ей оставил... Теперь и комнату девушка имеет, и треть жалования получает, и университет кончит в этом году, а для дальнейшей карьеры в комсомол записалась... Мой Хахомов для такого дела тоже очень подходящий человек... Так он словно чувствует, мерзавец!..

— Да что ты? — Кателькины глаза блестят как две тарелки.

— Вот тебе и что ты! — с раздраженным недоумением продолжает Зиночкин голосок, — я и чулки при нем нарочно поправляю, и свет в комнате тушу, когда он приходит, плакать пробовала беспричинной слезой...

— Знаешь, Зиночка, что я тебе скажу?..

Голоса подруг понижаются до такого задушевного шопота, что даже птичий слух Ивана Степановича не улавливает отдельных слов. В щель занавески видит Иван Степанович два молодых женских лица, прекрасных своей молодостью и, глядя на них, дрожит мелкой, мышьей дрожью.

VI.

И только с коммунистами были у Ивана Степановича не совсем понятные отношения. В доме жили два коммуниста: председатель жилищного товарищества Петр Иванович Дынькин и тов. Чужатников.

Но Петр Иванович — свой человек! С Петром Ивановичем и поговорить можно, и посмеяться, он и выпить не горд, и помнит Иван Степанович то время, когда Петр Иванович еще не был коммунистом, а всего только переплетчиком. Но теперь невозможно даже представить себе: — как бы жил дом без Петра Ивановича? Восемнадцать семейств живет в доме, и каждое запрятано в скорлупу и у каждого протекает пол, или провис потолок, и дыры от печей остались незаделанными, или вот помои льют в неуказанное место, воруют один у другого дрова, ненавидят друг друга остро, как могут ненавидеть только каторжники, привязанные к общему ярму. И не даром называют в шутку Петра Ивановича «хозяином». На того он прикрикнет, не по старинке прикрикнет, а по сознательному: «Ну, вы, товарищ дорогой, контр-революцию мне тут не разводите!», — с тем побеседует по душам, чтобы по ночам помои на общую

лестницу не выливал: повадился-было Павел Петрович Барабашкин такие коленца выкидывать; тому квартирную плату отсрочит до будущего месяца; иному — непокорному — выселением пригрозит, — оно и крутится! На дворе только и слышно: «Вот я Петру Ивановичу скажу!», «Вот Петр Иванович покажет вам кузькину маму — это вам не старый режим!» — а Петр Иванович и вот он! Всегда, всегда легок на помине! Сейчас все и разберет! Все направит в мирное или, — как сам он любил говаривать, — сознательное вращение жизни.

Был Петр Иванович примером всему дому не только в общественной, а и в личной своей жизни. Что таить греха! Вся жизнь дома была на ладони: — все мысли, самомалейшие поступки, самые сокровенные потрохи жизни — вытащены на всенародные глаза. Как укроешься, когда каждая стена и видит и слышит? И надо ли укрывать ее, если в голодные годы жизнь сама вышла наружу из потревоженных, холодных, обнищавших жилищ, да так наружи и осталась. Связанные общим прошлым, жильцы дома не прятали ни горя, ни радостей, — прятали только достатки, только вот коврик какой или арбуз старались протащить незаметно, чтобы не учел его остренький чей-нибудь глазок при назначении квартирной платы. В доме знали все и про всех. Знали про замечательную книгу Ивана Степановича. Знали, что пьет Николай у Скорбилиных, и как бил он протухлой (сохраняли к рождеству) телячьей ногой Татьяну. Знали, что Петр Иванович купил новый комод, перемигивались на вечерней лавочке в незлобивый закатный час: — «Уж не за счет ли канализации богатеет председатель ноева ковчега?» Знали, что скоро умрет барабашкинская жена, а Павел Петрович, чтобы удержать за собой площадь, хочет жениться на Кательке, но «не удастся ему такая подлость»: — есть на комнату законный, в порядке очереди наследник — вузовец Пчелкин, проживающий в проходной. Знали о днях именин, о днях рождений, о том, во сколько свечей горит у кого лампочка, кто что ест на обед и на ужин и кто кому и какую замышляет «подлость»... — и если случалось в доме несчастье — все соболезновали, потому что со-болезновать легко, и если случалась у кого-нибудь большая радость — не радовался никто, потому что со-радоваться трудно. И попрежнему в пятнадцати из восемнадцати жилищ дома под церковные праздники зажигались лампадки, а меж оконных рам повисал гусь или поросенок. Но если раньше дворник Василий обходил за праздничной данью под пасху и под рождество, теперь обходил он еще и под октябрьские торжества поздравлять «с наступающим».

Только личная жизнь Петра Ивановича и не была похожа на жизнь остальных обитателей дома.

Завидев молчаливую фигуру Петра Ивановича в пальто с поднятым воротником, в задумчивости обозревающую очередные прорехи ноева ковчега, подходил к нему Иван Степанович, — спрашивал внезапно и в упор, поблескивая птичьими своими глазками:

— А скажите, достоуважаемый хозяин, что есть царствие небесное?

Петр Иванович совсем не удивляется роковому вопросу. К этим «штучкам» Ивана Степановича за семь лет он привык. Он отвечает с презрительным спокойствием, чуть-чуть кривя губы:

— Об таком не слыхал!

— Да я не об то-ом! — с деланной покорностью соглашается Иван Степанович, — от кого вам об этаком услыхать!.. Я вас спрашиваю: — для чего люди придумали царствие небесное? Вот что я вас спрашиваю... Ужли ж только для того, чтобы обманывать самих себя?

— Именно для того, — отвечает Петр Иванович поучительным тоном, — но только обманывать не себя, а порабощенный класс...

— Я по-ни-маю, — соглашается в свою очередь Иван Степанович, — но вот что мне непонятно, дорогой хозяин! Про господа Иисуса Христа говорите вы хулящие слова — а в квартире у вас икона висит!!!

— Ну, и висит!—Петр Иванович отнюдь не смущается, фразу эту он произносит скорее грозно, чем снисходительно. Он только смаргивает, и потому глаза его угрожающе впиваются в чистенькое личико Ивана Степановича. Но и того вот, что сморгнул Петр Иванович, старику достаточно.

— Разве я отказываюсь, что висит! — запальчиво кричит Петр Иванович, — я сам первый всем говорю об этом с полной откровенностью, да! Это вам, беспартийным, что горох в стену, но мы к каждому факту должны подходить с интенсивным ростом внутренней интуиции. Как, по вашему мнению, должен поступить сознательный коммунист, если у него жена или, скажем, доживающая свой век темная старушка-мать не пробудились от вековой спячки и апатичности? Рубить со всей решительностью малеванные доски? Выбрасывать их на помойку? Развестись с несознательной женой и этим нанести себе неповторимую рану в сердце? Ни один товарищ, если он действительно стоит на платформе, так поступить не может! Он должен исподволь подойти к вековой темноте. Он должен день за днем воспитывать своих близких и только постепенно форсировать свое влияние...

И, явно волнуясь от того, что подбородок Ивана Степановича так и закачался в сострадающем поддакивании, Петр Иванович решительно идет на приступ:

— Вы мне Николой-угодником глаз не тычьте! Я и без вас о-очень хорошо его вижу... Она вон даже детей без моего разрешения крестить таскала, так и за это я ответчик?

Иван Степанович вежливо молчит, поигрывая пальцами по борту пиджачка.

— Добрый вы человек, Петр Иванович...

— Это вы к чему? — спрашивает Петр Иванович тревожно.

— Вон вы и женины предрассудки уважаете, — исподтишка начинает Иван Степанович, — оно, конечно, не выгонишь мать семейства за гнилую отрыжку.. Вон вы и шубу ей новую сделали, — глаза Ивана Степановича вонзаются как два буравчика в бледнеющее лицо Петра Ивановича, — хорошую шубу, Петр Иванович... моя покойница таких

шуб не нашивала... Вон вы старушку-мамашу по христианскому обычаю хоронили и даже в церкви присутствовали...

— Вот уж неправда! — вскрикивает, оглядываясь, Петр Иванович.

— Да что вы, Петр Иванович! В церкви мы с вами и встретились... Я даже ручку вам сочувственно пожимал и с панихидой поздравлял, — помните?

Иван Степанович смеется глухоньким, извиняющим смешком. Глядя в его рот, Петр Иванович начинает осторожно подхохатывать:

— Хи-ах-ха-ха....

Детей Петра Ивановича звали Серпина и Молот. Иван Степанович самолично видел: под этими именами записали их в домовую книгу. Сама же мать упрямо называла: Степанида и Сашок. Молот Петрович Дынькин! Все это похоже на скверный анекдот. Как вас зовут, старый хрен? Это вы кого же-с? А вас, Иван Степанович? Меня зовут Дунай Январыч Журкин. Да-с! Смешно-с? Смейся, смейся, божий дурак!

. . . .

... В голодные годы, по ночам жильцы ноева ковчега, хоронясь друг от друга, тащили на дрова соседний дом. Блестя волчьими глазами в темноте, они рычали при встречах, как рычат голодные волки на осенней опустелой земле. Соседние жильцы, — у которых за ночь оторвали половину лестницы, и они не могли сойти со второго этажа вниз, — установили дежурства с топорами, пряча их под пальто, а волчьи свои глаза в поднятые воротники. И вот в соседнем этом доме умерла старуха — лишний рот, от жадности у нее всегда жевали беззубые скулы, как у коровы, которой снится сено. В метель — за ночь намело такие сугробы, что люди прорубались в них, чтобы выйти из своих домов, — старуха упала с лестницы и — мертвая — до утра лежала на снегу. Ветер озорно задрал ее юбки, а синие, как у старой курицы, ее ноги прикрыл белой пеленой снега. Иван Степанович и Павел Петрович по очереди наблюдали в бинокль окно соседнего дома, в котором старухин зять сколачивал гроб из орехового книжного шкапа. Ночью он вынес на лестницу крышку гроба — этого требовал обычай и почтение к смерти. И ночью же эту крышку Иван Степанович и Павел Петрович украли и натопили ею комнату, а, натопив, прыгали индейцами перед огнем и с лихостью вытаскивали прямо из огня печеную картошку.

И вот в комнату, без стука, вошел Чужатников в кожаной куртке и в потных очках и сказал просто, словно попросил соли:

— Я пристрелю вас, как крыс, если вы стащите еще что-нибудь в соседнем доме...

В тот день Иван Степанович видел Чужатникова в первый раз. Старик поднялся от печки с задором, и брань уже повисла на спекшихся его губах, но, посмотрев в глаза Чужатникова, он понял: не шутит, пристрелит.

С той ночи определились его отношения с этим вторым коммунистом в доме. Встречаясь на дворе или на общих собраниях, Иван Степанович предупредительно снимал свою кепку с наглазниками, никогда не наде-

вал ее прежде, чем Чужатников не ответит на приветствие. Под грязноватыми усами Чужатникова стекала странная, словно по необходимости прощающая улыбка. И вот чужатниковской этой улыбки не мог спокойно видеть Иван Степанович.

Вечерами, когда торжественная тишина медленной северной ночи опускалась на землю, и в ней, помаргивая желтыми глазами окон, затихал Жилой Дом от трудного дня, — будто загнанный зверь метался по своей комнате Иван Степанович. Он потрясал кулачками, перечеркивал страницу на которой стояло в возглавии: «Андрей Чужатников — человек у которого душа с сухим блеском», — и начинал в сотый раз писать то, что знал о нем, и в сотый раз под утро — когда томительно поет навощенная тишина и липнет душный рассвет к окну, и птицы, чуя рассвет, тревожатся в клетках, — чтобы в сотый раз к рассвету зачеркнуть все до последнего слова. Тогда, не раздеваясь, укладывался Иван Степанович на кровати, и в мутном предрассветном сне душили его сновидения, и были эти сновидения вздорными, пустяшными, как всегда у стариков. То снилось ему, будто летит он на большом черном жуке через весенние возрастающие поля, а жук оборачивается и говорит человеческим голосом: «Осторожнее, дед, — раздавишь!» Или снился Чужатников, и руки у Чужатникова — пудовые кувалды; будто пришел он в комнату к старику и приказывает ему выбираться со всеми потрохами. «Уходи, — говорит Чужатников глухим, срывающимся, как у подростков, голосом, — я тут проветривать буду, чтобы не осталось в мире даже запаха твоего проклятого!» Иван Степанович не верит, знает, что видится это во сне; и потому не боится.

— Как же я уйду? — спрашивает он с удивлением, — разве я не рожден в этом мире жить?

Чужатников отодвигает клетку с попугаем и садится у стола. Он отвечает с жалостью:

— Мне очень жаль, что у революции не нашлось во-время лишнего патрона для тебя. Но ты же — умный старик и сам понимаешь, что тебе пора в ореховый гроб. Мир теперь — словно мячик в моих руках, — и он поиграл маленьким глобусом, — смотри: где же тебе на нем жить? Вот придет день, — продолжал Чужатников, пряча глобус в карман, — мы камень по камню разрушим ноев ковчег и построим другой город, и в нем все будут прекрасно жить, потому что даже уборные в нем мы построим из чистого золота, и ни один человек не сможет ничего купить за деньги».

Ненастоящий, сонный Чужатников встает, Иван Степанович совершенно отчетливо видит: глаза его загораются неизреченным, незапоминающимся въяве светом. Иван Степанович жмурится от этого света, как от сияния, и спрашивает:

— Царствие небесное?

— Да, — глухо отвечает Чужатников, — царствие небесное на земле. Уходи же, старик, — ты один этому мешаешь! Ты просмердил землю

и мы никак не можем выкурить твой запах... Ну, тебе уже пора — сейчас придут люди для дезинфекции.

При этих словах он берет Ивана Степановича за шиворот. Старик даже во сне чувствует, какая тяжелая, неумолимая у него рука, и просыпается в липком поту.

Неживой рассвет наползает в комнату, словно мохнатые противоречия в душу. Иван Степанович протирает глаза кулачками. И долго потом смеется над пустяковыми своими, стариковскими снами и лезет поправлять притухшую лампадку.

Проснувшись, он уже не ложился больше. Прибирал одинокую, холодную постель, чистил клетки птицам, выпускал чижа полетать по комнате...

Так наступал новый божий день. Иван Степанович снимал полотенце и шел на кухню: умыться, почистить сапоги, присмотреть за примусом, чтоб не наложили в кофейник пуговиц или спичечных коробок... Ведь эдакий, в самом деле, пошел подлый народец...

VII.

Иван Степанович кончил очередную запись в «книге живота», и, придерживая на ней палец, заглянул поверх очков во двор, где уже сходились жильцы по случаю общего собрания по случаю ремонта.

На лавочке, против окна, дремлет генеральша Оболенская. Во сне она покачивается, — лицо ее желто, словно пергамент, на котором мудрыми знаками морщин записала жизнь ее прошлое. Иван Степанович в упор разглядывает сжатые губы старухи и радугу морщин, отвердевших в неестественном сиянии у ее глаз. Зачем прожила она жизнь?

— Бабушка! — ласково окликает Иван Степанович старуху. Непонятное озорство овладевает Иваном Степановичем: лицо ее совсем близко — если взять щетку, можно дотянуться и смазать щетиной по губам. Словно гипнотизируя ястребиными своими глазками омертвелое старушечье лицо — он произносит внушительно: — Эй, ты, сволочь!

Старуха не слышит. В дреме она клонится вниз, и нос ее все ниже и ниже опускается, и кажется Ивану Степановичу, что сейчас он проткнет землю — этот жесткий старушечий нос, и тогда от земли ничего не останется.

— Эй, ты, падаль! — произносит Иван Степанович погромче, от безотчетной злости глотая слова. Он высовывается из окна, ложась грудью на подоконник, и сучит кулаком к лицу старухи: — И ради тебя, старая ворона, две тысячи лет назад приходил Христос на землю? Чтоб ты спокойно дрыхла в чужих валенках перед моими глазами? Чтоб от тебя смердило могилой в нос порядочному человеку? Не вер-р-рю, чтоб тебя черти взяли!

Старуха вдруг открывает глаза и говорит злым шопотом:

— Чтоб тебя самого черти взяли!

В липком страхе захлопывает Иван Степанович окно. Он долго не может опомниться, сует руки между коленей; зажигая его спину, стекает по ней холодноватый пот...

Солнце по-прежнему нестерпимо обжигает землю. Дымится в нем ржавая крыша носва ковчега. А в распахнутых окнах дымится жизнь: десятками примусов, кастрюлек, чайников. В крайнем окне — у Скорбилиных — долгим плачем зашелся ребенок. Глухой голос Николая Алексеевича советует с холодным остервенением: «Да придуши ты его, стерьву!» Иван Степанович, осмелев, опять выглядывает на двор в прореху занавески. Оболенской уже нет. На лавочке —删ателька. Лицо ее — как всегда — грустно и бледно: вот-вот заплачет от обиды, нанесенной раз и навсегда. Возле нее нелепо, словно привалившийся мешок, сидит Барабашкин в рубашке «апаш», — он задумчиво глядит на свои рыжие, нечищенные штиблеты.

— Грущу я, — говорит Барабашкин, не подымая опущенных глаз, — все о вас грущу, Катерина Павловна...

Чуть слышны Кателькины слова, которыми обороняется она тихо и устало:

— Сломанная я, Павел Петрович... Ни женой, ни матерью хорошей мне не быть... Вот я учу в своей школе детей и часто себя спрашиваю: что я могу им дать? Честность, сознание долга, уважение к ближнему, любовь... А как же я им дам, если жизнь выжгла во мне все, если у меня пустая, как выпитая бутылка, душа?

— Катенька, — с наигранной мукой шепчет Павел Петрович. Всю нежность, на какую только способен, вкладывает он в хрипловатый свой голос. Но она не слышит, она поднялась с лавочки в девичьей беспредметной и от того мучительной истоме. Тяжелый цвет липы падает на ее голову, и в волосах ее застревают желто-зеленые сережки.

Тихонько смеется Иван Степанович в кулачок. Бьет себя кулачком по губам: Смейся же, старый хрен! Смейся, старая ворона, над тем, что умирает на земле! Хе-хе-хе...

На двор Иван Степанович выходит последним, когда председательский колокольчик клокочет уже угрожающей дробью. Все, все здесь... Разве одного товарища Чужатникова нет, но на то он товарищ Чужатников — человек партийный и занятой. Вот на стульях, под самым забором, стыдясь своей многосемейности, сбились в кучу Скорбилины, с двумя детьми, с тетей Сашей. Татьяна Павловна сует грудь грудному, чтобы не орал; у Николая Алексеевича — опухлое лицо, и глаза виновато упираются в землю: вчера опять налимонился, голубок, и ногами месил котлеты, которые ему приготовили на обед. У тети Саши свалявшийся платок лежит на плечах хомутом, а на голове покачивается старый Анечкин бант: она уже предчувствует сладость голосования, она всегда голосует и за и против обеими руками, и сумасшедшие глаза ее уже горят зеленоватым блеском. У крыльца — особняком — семейство Барабашкиных: — муж в рубашке «апаш» и безмолвная жена в нитяных перчат.

ках. Сзади них — рассеянно ковыряет в носу Пчелкин. На лавочке, ссутулясь и обнявшись, присели девушки — Зиночка и Кателька, по бокам дородная Бузынина в засаленном капоте и вдова красноармейца Уткина — унылая женщина с утиным носом. Вот покосившимся верстовым столбом воткнулся у самой помойки кондитер Мамулия в дымчатом пенснэ: он член профсоюза, у него всегда болят зубы. Рядом с ним — два коротконогих портновских подмастерья Веприк и Хатюк, у обоих на больших пальцах босых ног удивительные синие ногти. Несколько в сторонке — сапожник Подкидышев, вокруг него все его неисчислимое семейство — все в старых тятькиных картузах, все босоногое. Подкидышев пока что — врет что-то втихомолку пожилому водопроводчику и еще трем жильцам без определенных занятий, от того молчаливым и очень покорным. Однако все семейство сапожника настороже и не сводит с него глаз: Подкидышев с утра чуточку «на взводе», а это значит, что к концу собрания он разойдется, будет крыть всех матом, и Петр Иванович обязательно лишит его слова и попросит покинуть пределы общего собрания. На передних стульях, возле председательского стола, расположилось семейство самого Петра Ивановича: жена в новом, лихо наброшенном на плечи полушалке, и двое образцовых детей, степенно дожидающихся начала собрания. Маленький Молот во время собрания подает записки в президиум — Петр Иванович никогда этому не препятствует: «пусть приучается». В руке у Молота карандаш и листки бумаги.

— Все, что ль? — спрашивает Петр Иванович, величественно опираясь на стол и озирая собравшихся.

— Все, все, голубчик! Пора и начинать: ребятишки развозятся!

Для солидности Петр Иванович все же трясет еще колокольчиком и выжидает, пока на дворе не устанавливается внимательная тишина.

— Прошу занимать места! — отрывисто, словно полководец, кидает он, — Молот, бумагу принес? Товарищ Пчелкин, исполняй секретарские обязанности...

И к Оболенской, которая мертвым пнем воткнулась у самого столика:

— Бабушка, присядьте в сторонке... Что вы, простите, выставились на самой середке, словно старый зуб? Товарищ Мамулия, помогите гражданке Оболенской с совещательным голосом занять место на лавочке... Гражданка Уткина, подвиньтесь для старушки...

— Граждане и товарищи, — начинает Петр Иванович, — открывая сегодняшнее собрание, я хочу сказать несколько слов по существу... Открывая собрание, я хочу сказать вам: вот он, дом гражданина бывшего Журкина, который со всем прочим барахлом старого режима перешел к нам по наследству... Граждане, перешедший дом этот, держится только на честном слове, и уже не далек тот день, когда он рухнет, и придавит все наши головы, а также нашим детям... Я говорю вам это строго фактично. Недавно шальным ветром сорвало с дома трубу. В субботу в составе комиссии мы обследовали подвалы дома. Я умалчиваю о том,

что какой-то сукин сын стопил все перекладины, но мы, фигурально говоря, живем на помойке и дышим всеми миазмами заразных болезней... Ночью, граждане, многие из вас прямо из окон выливают предосудительные горшки. Сдохнет, простите, у кого-нибудь кошка — валят в подвал и дохлую кошку. Семь лет под-ряд валят под дом всякую мерзость! Я вношу предложение о немедленном ремонте дома! Пчелкин, пиши! Помойки заделать! — тут выбросил Петр Иванович гневно-указующий жест к помойке, по которой проходила крыса, и сказал, перебивая себя: видите, крысы идут! Водопроводные трубы пересмотреть! Поставить новый забор! Дом оштукатурить и побелить!

Муть ораторского восторга еще поблескивала в глазах Петра Ивановича, как уже забубонили напористые, упрямые голоса:

— Да рази ж нам по карману такая программа?

— Тут сотнями пахнет!

— Я против щекатурки — она тепла не прибавит...

— Жили семь лет — проживем еще двадцать! На наш век хватит...

— Самое главное — воду!

— Обязать не хандакать по потолкам шкапы! Несознательные граждане хандакают по потолкам шкапы, а тут щикатурка сыплется в самые щи!

— Я полагаю, — спокойно продолжал Петр Иванович, как будто его и не перебивали, — вопрос ясен. Кто хочет высказать по существу и протестовать против программы Моссовета в общем и целом о советском строительстве? Никто не хочет? Ставлю вопрос на голосование. Итак, я вношу конкретное предложение: отчислить на ремонт дома в размере двухкратной квартирной платы! К порядку голосования...

— Заметили: как ловко обернул? Поголовное строительство Моссовета... Ах, су-у-у-укин же сын! — шепнул Иван Степанович в иронически склоненное барабашкинское ухо.

— Прошу не возражать с места! Кто против? Никого против? Пчелкин пиши: принято единогласно!

Петр Иванович сел. На его лице — капельки пота и сознание выполненного долга. На дворе гробовое молчание: — никто ничего не понимает.

— Позвольте вас спросить, многоуважаемый товарищ... мы, кажется, постановили внести деньги на ремонт? — осторожно спросил председателя Барабашкин среди общего молчания.

— А вы только что проснулись, товарищ?

— Я не к тому, Петр Иванович! Но я хотел по существу вопроса остановиться на следующем...

— Товарищ, — укоризненно заметил Петр Иванович, — собрание закрыто, а вы лезете в порядке информации... внесете потом свой запрос в комиссию. Пчелкин, тащи стол наверх!

Встают внезапно, точно всех сдунуло ветром.

Все торопятся поскорее уйти. Первой — словно унылая верстовая веха — уходит Уткина. За ней — тупым углом — старуха Оболенская.

На крыльце она оборачивается: напомнить о воде — ее подталкивает идущее сзади семейство Скорбилиных. Пчелкин тащит стол наверх. Кондитер Мамулия снял пенснэ. Молот стоит у стола с приготовленной запиской, которую-таки не успел подать в президиум. Слышно, как Павел Петрович Барабашкин разъясняет жене Петра Ивановича заискивающим тенорком: «Конечно, дом давно следует починить! Я отнюдь не против конкретного предложения вашего супруга, он совершенно превратно понял мои слова»... И та, оправляя спадающий полушалок, снисходительно отвечает через плечо: «В таком доме даже жить стыдно! Мы никого из порядочных даже не приглашаем!»

И когда двор, наконец, пустеет и на лавочке остается один Иван Степанович, рассерженно нахлобучивший кепку по самые брови, — Петр Иванович в том благодушно-ироническом тоне, каким всегда разговаривал со стариком, говорит, словно и не ему:

— А с вас, Иван Степанович, по существу вопроса надо бы двойную плату! Вашу рухлядь чинить будем, — журкинское наследство!..

— Чинить, Петр Иванович, — с ехидной покорностью отвечает старик, — всегда хорошо. Я очень люблю, когда люди что-нибудь чинят... Я даже сам решил дать вам квитанцию на поголовное строительство...

— Какую еще квитанцию?

— А помните: в прошлом месяце я вам за квартиру принес десятирублевый золотой?

— Ну-к, что ж?

— А то ж! Я вам за квартиру десятирублевик дал, а вы мне квитанцию выигрышного займа сдали, да еще за пять рублей ее посчитали... А в банке она всего три семьдесят пять по курсу дня... Ее и принесу — пусть идет на строительство в общем и целом...

Петр Иванович отлично понимает, что опять Иван Степанович какую-нибудь загогулину плетет. Не даром так ехидно выражается. Но ремонт дома решон, и потому Петр Иванович настроен благодушно.

— Хе-хе-хе... — смеется он, похлопывая старика по плечу, — а вы покопайтесь получше — может быть, еще золотой найдете... гляди, много чулочков покойница оставила?

— Ну, что вы, Петр Иванович, какие там чулочки... — отвечает Иван Степанович, весь дрожа от мысли: какую сейчас отольет он председателю дулю, — право, уж я лучше вам квитанцию принесу... Глядишь, она сто тысяч выиграет! А? Сто тысяч рублей на ремонт ноева ковчега... Хе-хе-хе... Помойку можно из чистого золота поставить, а? Подумать только: — помойка в ноевом ковчеге из золота 96-й пробы!.. Хе-хе-хе...

VIII.

Вернувшись в свою комнату, Иван Степанович тот же час отпер верхний ящик стола, в котором хранились документы: прежний паспорт с гербами, трудовая книжка, кипка удостоверений от голодного года,

хлебные карточки, две сторублевки с портретами императрицы Екатерины, и отдельно — пять золотых в старом женином ридикюле. Он вынул полученную в сдачу квитанцию, посмотрел номера — номера были в порядке, не оторваны. Тут он опять припомнил, как Петр Иванович навязал ему квитанцию, как пришел он в банк, и в банке кисло сказали, что могут, конечно, дать за нее три рубля семьдесят пять, а Петр Иванович сдал ее за пять и рубль с четвертаком понес Иван Степанович убытка. И опять раздраженно заколотилось натужливым кашлем в стариковской груди.

Дрожащими руками стал он натягивать на себя снятый-было пиджачок. Откликаясь на его волнение, попугай сонно прохрипел: — кра-а' Иван Степанович в страшной внезапной злобе запустил в него туфлей. Попугай спрятал голову под крыло, и в комнате стало зловеще тихо.

Надвинув на глаза шлюпик, Иван Степанович положил в пиджачок квитанцию и вышел. Надо сбыть ее во что бы то ни стало. Где ж в самом деле взять ему денег на программу строительства? Опять менять золотой? — Дудки-с! А фигу вы не хотите? Вот эдакую фигу! — сказал вслух Иван Степанович, показывая попугаю кукиш. — Ну, то-то же!

Иван Степанович вышел в переднюю и с вкрадчивой осторожностью поскребся в скорбилинскую дверь. Но Скорбилиных не было дома. «Опять на Сухаревке», — с веселой злостью подумал он и, повернувшись, заметил огонек в незапертой уборной. «Тетя Саша! Ну, конечно же, господи же боже ты мой!».

Он на цыпочках подошел к тете Саше, приникшей к заклеенному газетами окну. Тетя Саша слыла в доме блаженненькой, и ей прощали многое: теряла ли она вещи или сдачу, пережаривала ли картофель, забывала ли закрыть кран на кухне, но только один Иван Степанович знал, что она — хитренькое, злое существо, которому «выгодно валять дурака». Одна страсть осталась у нее — к еде. Она тащила все: сладкий пирожок, кусок мяса, колбаску, яблоко, купленное для девочки, пряталась в уборной и там ела. Иван Степанович иногда нарочно приносил ей кусок сахару или вафлю, чтоб она сожрала в уборной. Сейчас, подойдя к ней, он внимательно вгляделся в ее лицо. Так и есть: — жует.

— Опять стащила что-нибудь? — спросил он строго, — ты прожорлива, как столетняя ворона... Но!..

Он поднял палец к перекошенному старушечьему лицу и щелкнул ее по носу.

— ...но я не осуждаю тебя! Жри! Два миллиарда таких обжор могли бы сожрать землю... Хочешь, я тебе конфетку дам? — вот подожди: я пороюсь в кармане...

Уловив жадный, но недоверчивый огонек в сумасшедших глазах, заговорил ласково, как с маленькой:

— Ты не бойся! Разве ж я такой страшный! Я же тихенький, смирный старичок... На, возьми, я сейчас выйду... Запрись и сожри... А сожрешь — помолись... Прочти молитву...

— Я не... не... не...

— Да не бойся же, бедная моя сестра! — сказал Иван Степанович с недужным раздражением, — помолись, помолись, когда сожрешь конфетку... Господи, — скажи, — услышь молитву юродивенькой, пошли молнию, пошли гром, — и пусть ноев ковчег полетит к чорррр-товой матери! На, жри, сволочь!

Когда же, присев в страхе на загаженный пол, старуха заплакала тяжелой слезой обиженной старости, Иван Степанович вышел из уборной, тихонько прикрыв за собой дверь. Конфетку он положил на край судна. Он знал, что тетя Саша ее съест.

Пчелкина он захватил в коридорчике, заставленном рухлядью: треногими столами, продавленными стульями, разбитыми зеркалами, черепками ваз — то, что уже износилось, но что еще жалко выбросить. Студент говорил с Кателькой. Услышав глуховатый, ломающийся его голос, Иван Степанович — по привычке подслушивать — зашел за выступ стены и притих.

— Я хочу пригласить вас на лекцию по половому вопросу, — говорил Пчелкин, — очень даже интересно... в Политехническом... Очень важный вопрос...

— Нет, нет! — вскричала девушка, краснея от острой смеси застенчивости, гадливости и любопытства, — зачем вопросы? Как вы смеете!

Пчелкин отвечал с обидой, но с достоинством:

— Я, Катерина Павловна, обижаюсь на ваше недоверие... я даже пальцем до вас не дотронулся, а вы кричите на всю квартиру! Я только хотел предложить вам удовлетворить мою половую потребность, ну, если вы кричите, — я не буду!..

— Как вы смеете? — вскричала Кателька, поднимая руку.

Пчелкин, отступая, споткнулся об Ивана Степановича, и тот поддержал его за локоть. Девушка, словно сдунутый листик, рванулась в комнату...

— Ну, ничего! — сказал Иван Степанович примирительным тоном, — молодости свойственно горячиться... Пчелкин! Молодой человек! Подойте на минутку! Скажите откровенно: вам нравится эта худосочная женщина?

— Мне, Иван Степанович, все женщины нравятся, я подхожу к женщине без мещанских предрассудков...

Торжествующе взлетает палец Ивана Степановича к самому носу удивленного студента. В темноте передней, пахнущей пылью, кошками и ржавой капустой, студент не видит: как страшно, как омерзительно горят зоркие стариковские глаза.

— Хотите, — эта добродетельная девица сама придет к вам ночью? Придет и будет царапаться, как кошечка, у вашей двери! Зацелует избитую щеку! Замилует...

Волоски Ивана Степановича мокнут и липнут на лбу... Вот он, вот! Он лезет в карман, разворачивает квитанцию, говорит с убедительностью, которая завораживает, как завораживает всякая подлость:

— Эта неприметная бумажка должна выиграть сто тысяч рублей! Я произношу это тихо, заметьте, молодой человек! Другой кричал бы об этом, как пушка, но я — тихонький маленький старичок, у которого мыши съели старость! Я уступаю ее за пять рублей... Давайте же руку...

Он поднимает руку студента и в недоверчивые пальцы вкладывает билет.

— Крепко держите счастье!.. Не правда ли: горячо и прекрасно человеческое счастье?

И резко выдергивает билет.

— А теперь понюхайте руку! Чем пахнет? Гнилью пахнет, молодой человек! Рука-то у вас гнилью пахнет, хе-хе-хе...

— Вы с ума сошли! — вскричал в холодном страхе Пчелкин, бросаясь к дверям.

Проводив его тусклым вороньим глазом, Иван Степанович приглаживает взмокревшие волосы и бредет к комнате девицы Зинаиды, и вот он уже поднял ноготок, чтобы постучаться, но в комнате глухо клохчут голоса: женский, задорный, как колокольчик, и мужской — широкий и уверенный. Иван Степанович прячет квитанцию в карман и зорко приникает к замочной скважине...

В щелку ему виден могучий зад, выпирающий из-под коротенького пиджака, и узкие модные штиблеты, которые, вероятно, жмут ногу: ноги в нетерпении подгибаются в пальцах. Вдоль ноги висит рука, на ней золотые часы и перстень на обкусанном пальце. В комнате горит красный свет. С боку от хахомовских частей тела — должно быть, на диване — два ярких, тончайших Зиночкиных чулка, повыше колена прикрытых платьицем, и две ножки, как две змеи...

Два голоса говорят напряженно, словно спорят:

— Это вы верно, Зинаида Андреевна! В наше время иначе живали. На жизнь глядели сурьезно! Мне за примером недалеко ходить. Хоть бы я — к слову сказать. Я — человек старых понятий и даже не подумаю разделять современность... Я на своей рыбе, когда двадцать, а когда и тридцать червонцев зарабатываю. На эти деньги я могу себе такую роскошь позволить, чтоб иметь настоящий семейный дом. Жена! Нынче даже слова такого не осталось... Нет, ты подай мне жену прочную, чтоб создался у меня семейный уют, и чтоб дом — как полная чаша — аквариум...

— Что ж, Нил Кузьмич, женитесь — осчастливите кого-нибудь...

— Да что-й-то я все про женитьбу? Я за вами в театр заехал, на артистку Нежданову...

— Да я ж не одета! — лукаво изумляется женский голосок.

— Эту делу поправить недолго... И переодеться можно, а я вас на дворе подожду.

— Зачем же на дворе? Если дадите честное слово, что будете вести себя как настоящий мужчина — я при вас переоденусь...

— Да нет уж... право, я лучше на дворе подожду...

— Что за охота торчать на дворе, как мальчишка какой! Даже неудобно для такого солидного человека... Вы сядьте на диванчик, повернитесь ко мне спиной, и я мигом...

— Да я уж, право, лучше на дворе...

— Ну, как хотите!

Иван Степанович едва успел отскочить от двери и притулиться за косяком. Из комнаты вышел Хахомов — в полосе света Иван Степанович видел его красное напрягшееся лицо. С секунду Хахомов постоял у двери, держась за ручку, потом решительно пошел из передней. Иван Степанович опять пригнулся к замочной скважине. В ней видел он, как высоко метнулись Зиночкины чулочки, как колотились они по дивану, — и себе или другому, в досадливом отчаяньи, чуть не плача, Зиночка заговорила:

— Ушел, мерзавец! Ах, ты бревно, увалень, медведь! Не пойду! На зло тебе не пойду! Торчи на дворе хоть целый час...

Иван Степанович постучал в дверь. И когда Зиночкин голосок — опять вкрадчивый и сладкий — пропел словно скрипка:

— Войдите!

Широким жестом распахнул он дверь, и еще с порога заговорил:

— А я прихожу к вам, как некий ангел радости! Хотите ли вы стать богатой, всегда радостной, вкушать жизнь, как удовольствие, как прекрасное наслаждение, не отягченное никакими невзгодами? Хотите уйти навсегда из этой тесной кельи, где вы томитесь, как монашка, и найти принца, который не обманет? Он будет сидеть у ваших ног и смотреть в ваши глазки, как проклятый...

— Хочу! — отвечала Зиночка завороженным шопотом.

— Купите у меня выигрышный билет! Он обязательно выиграет сто тысяч...

Тогда в истерическом припадке она рванулась к старику, засмеявшемуся тоненьким мышиным смешком, закричала, плевала в его глаза:

— Вон! Вон! Старый грач! Ты еще издеваться пришел!

И попятилась от него прочь, трясясь в невозможном испуге: такими страшными показались ей красноватые глаза Ивана Степановича, который размахивая билетом, затанцовал у дверей, нелепо шлепая войлочными туфлями...

Только к ночи сбыл старик проклятую квитанцию...

Как ни говори, а с Петром Ивановичем жить можно! Надо только знать че-ло-ве-ка, а тогда и к маленькому человечку можно подойти! И поймет маленький человечек...

Держась за полу председательского пальто, Иван Степанович покорно слушал, как жаловался тот на жильцов:

— Вот, — говорил Петр Иванович, — ведь отказались-таки водопроводчики чинить наши ковчеговы дыры! Семь лет, говорят, растаскивали почем зря, а теперь хотите в два дня заново починить? Придется опять собирать деньги и требовать, требовать, требовать... Вот, напри-

мер, вы, Иван Степанович! Шестой день идет после общего собрания, а почему вы не несете деньги на ремонт? Где ваши деньги на строительство?

— Вы же сами сдали мне эту квитанцию, Петр Иванович... Посчитали за пять, а ей красная цена три семьдесят пять... Возьмите за четыре, а?

— Давайте вашу чортову квитанцию за четыре!..

Иван Степанович вздохнул с облегчением. Он внимательно наблюдал, все еще не веря, что освободился от этого размалеванного листка бумаги, за председательскими пальцами, которые прятали квитанцию в карман. И когда квитанция была, наконец, уложена, — прохрипел:

— Только пожалуйста, Петр Иванович, не забудьте про рублик...

— Какой еще рублик? — безразлично отозвался тот.

— А разница? А прибавочная стоимость? Вы мне за пять, я вам за четыре! Прибавочная стоимость вся у вас в кармане осталась... Вот выиграете сто тысяч, ха-ха-ха... — тут даже взвизгнул Иван Степанович от нестерпимой иронии, — сто ты-сяч! — повторил он торжественно и чуть-чуть не щелкнул пальцем по председательскому носу: так велико было желание щелкнуть по носу, — уж пожалуйста отсчитайте от выигрыша один рублик!.. Старичку на царствие небесное, ну! А то уничтожит Молот Петрович Дынькин старый мир — куда ж деваться старичку? Он и пойдет себе в царствие небесное...

IX.

Все так же — мертвой поступью — проходили дни. Спадали на землю утра, и пахло в них простой человеческой жизнью, вонью примусов, пригорелым молоком, тем кислым запахом аммиака, каким насквозь протухают тесные человеческие жилища. По-прежнему остервенело ругались бабы на дворе, тряся подбородками и тыча пальцами в лицо друг другу. И так же по вечерам, — словно клопы, — наползали к лавочке у ворот жильцы — в помочах, в шалях, в калошах на босу ногу — поговорить о дороговизне, о звездах, о жилтовариществе, о жизни. И по-прежнему терпеливо внимал звукам жизни ветшающий Жилой Дом — на нем сбило ветрами трубу, прожгло солнцем крышу, но глазастые его окна все так же излучали по вечерам свет, который ведь тоже упадет когда-нибудь на самую дальнюю звезду, как неизреченный, неповторимый свет земли!..

В злополучный тот день вышел Петр Иванович в калошах на босу ногу: посидеть на лавочке, почитать газету. На улицах завивались вихорьки пыли, деревья сонно трепетали, отяжелев от солнца и соков, над самой землей черными запятыми вились стрижи, взлетая к колокольне Пимена. Петр Иванович, зевая, развернул «Правду», проглядел крупные, будто стрижи, заголовки о том, что германские социал-демократы отказались вступить в коалицию — с укоризной покачал головою, отметил новые успехи войск Ху-ха-мина, но подумал, что уж очень много стало у китайцев революционеров — всех упомнить никакой возможности нет... Тираж внутреннего займа, в Сибири строится сорок холодильников. Кондострой, расстрел безработных в Польше: «ме-ерзавцы, до чего

ошли: безработных расстреливают, словно гусей каких!» — и мысль его ило приковалась к дразнящему слову тираж...

Петр Иванович рупором приложил руку к губам и закричал верхнему окну:

— Андревн! А, Андревн! Брось-ка портфель!..

В окошко, лениво отодвигая занавеску, просунулась голова жен-щины — встрепанная, закисшая от жары. Женщина обалдело смотрела а двор сонными глазами и ждала.

— Брось, говорю, портфель... на столе у меня... Да, поставь заодно імоварчик...

Петр Иванович на-лету ухватил портфель и опять побрел, хлопая алошами, к лавочке. Все это Иван Степанович отлично видел, чтобы учше наблюдать — он прищурил веки, а теперь забавлялся тем, что квозь ресницы Петр Иванович казался ему как бы за решеткой. Иван тепанович думал, что — бог даст! — так оно и случится.

— А право же есть счастливцы, которые сегодня по пять тысяч выиграли!

Это Иван Степанович никак не выдерживает:

— Есть, Петр Иванович! Обязательно есть!

Петр Иванович не без испуга отводит газету и билет за спину, и чень ему неприятно, что даже тут — в такие пустяки — Иван Степанович ует свой птичий нос.

— Какие там счастливцы, Иван Степанович! Никаких даже счастлив-ев нет!

— А вы читайте, Петр Иванович... Очень волнует: — свое счастье спытать... Билетик-то ведь мой... Может быть, и выиграл билетик?..

— Выигрыши в десять тысяч пали... — бормочет Петр Иванович ифры, — ничего даже подходящего нету... Выигрыш в 50.000 пал!

— Выигрыш в 50.000 пал! — повторяет торжественно Иван Степа-ович, во весь рост поднимаясь в окне.

— Билет триста восемьдесят пять сто четырнадцать и серия три... идите: — совсем из другой оперы... Какой-то паршивый ваш билетишко вдруг выиграет? Да это бы в историю записали, а вам даже памятник... ыигрыш в сто тысяч!

— Выигрыш в сто тысяч! Прошу заметить! — повторяет Иван Степа-ович поучительно.

— Выигрыш в сто тысяч пал на билет 408.127...

— Как-ссс?

— 408.127.

— Серия?

— Шестая серия... Да нет, это — опечатка...

— Какая там опечатка! — вскричал Иван Степанович, бросаясь окно. Падая на председателя, он чуть-чуть не ухватил билет, и ухватил і — если б Петр Иванович не поддел летящего старика головой в живот. огда Иван Степанович сел на земле и сказал тихо:

— Дай, тебе говорят! Я сам посмотрю опечатку!..

Но в ответ Петр Иванович только повел глазами. И по этому движению председательских глаз Иван Степанович понял, что все потеряно, что он не отдаст, и дико закричал, не сводя остановившихся глаз с побелевшего лица Петра Ивановича:

— А-а-а! А-а-а! А-а-а!

На крик старика, — во всем доме, лениво дремавшем в полуденный зной, — словно по команде открылись окна. В них возникли люди, с подоконников упали цветочный горшок и кастрюлька с молоком. Бузынина через окно спросила сонным басом: «Что вы кричите как зарезанный петух, Иван Степанович?».

На дворе в пыли бился маленький старичок. Его лицо было грязно, и волосы сбились, у глаз дрожали мутные слезы. Он поднимал руки и, сжимая их в бессильные кулачки, грозился в окна.

— Мой билет выиграл сто тысяч, — кричал он, — вы слышите это? Какая к чорту опечатка! Быть не может опечатки! Господи, спасибо тебе,— маленького старичка не оставил на склоне лет... Эй, вы! Каждому завтра дам по тысяче рублей!

Из дома бегут жильцы. Первой выбежала Бузынина в просаленном капоте, под которым поворачивался страшный ее вздувшийся живот. Под свист подкидышевских ребят, вихрем пронеслась, теряя туфель, Зиночка. С лестницы сползают, держась друг за друга, старухи: генеральша Оболенская и тетя Саша. Тетя Саша садится на приступочке и меленько смеется, колотя себя по рту ладонью. С третьей ступеньки, прямо через нее, прыгает Павел Петрович Барабашкин, на-лету подстегивая подтяжки. В нижнем этаже не открывается рама, кондитер Мамулин нервно пробует ее открыть и трясет, потом высаживает плечом. Пчелкин проскочил к самым воротам и тут остановился, не зная: — куда податься?

— Стойте! Стойте! Какой билет?

— Они смеются над нами...

— Нет! Нет! Нет!

— Это наверно опечатка!

— Разве можно всерьез выиграть сто тысяч?

— Вы меня раздавили! Как будто в самом деле выиграли сто тысяч!

— Дайте сюда газету! Надо сговориться по телефону...

— Куда ж ты прешь прямо на живот! Ай белены объелся?

Барабашкин с лету вскочил на скамейку и закричал с внезапной властностью в голосе:

— Граждане, призываю вас к порядку! Прошу всех взять себя в руки! Мы выясним сейчас же. Пчелкин! Где товарищ Пчелкин?

— Здесь! — сказал Пчелкин неожиданным басом.

— Немедленно в аптеку! Позвоните по телефону в банк, в Наркомфин, к Луначарскому... Там вам скажут. Граждане, не напирайте... Никто не будет обойден, если действительно совершилось величайшее событие! Петр Иванович, прошу вас! Дайте билет — говорят вам перед лицом граждан! — он рвет у Петра Ивановича билет, который тот мол-

:енно вынимает из-за пазухи. — Итак — номер? Петр Иванович, возьмите газету и читайте по цифрам.

— 408?

— 408!

— 127?

— 127!

— Серия шесть?

— Шесть! Билет выиграл! Сомнения излишни!

— Благодарю вас! Теперь дайте мне мой билет, — сказал Иван Степанович, вставая с земли и подходя к Барабашкину. — Я выиграл сто тысяч!

Но Барабашкин с удивительным хладнокровием сунул билет в карман и сказал:

— Не вы, а мы выиграли сто тысяч! Билет принадлежит дому, вы заплатили билетом за ремонт! Но не беспокойтесь — свою часть вы получите! Никто обойден не будет...

За движением барабашкинской руки, хлопнувшей по карману, завороженно следят глаза.

— Он предлагал мне билет за четыре рубля! Мамочка, ты помнишь? — сказала Татьяна Павловна.

— И мне приносил на счастье! Ах, какая же я дура! — вскрикнула Зиночка.

— А я даже в руках держал! — с горделивым восторгом сказал Щелкин.

— Граждане, по долгу совести я должен вам сказать, — так начал было, взбираясь на лавочку, Петр Иванович, но Барабашкин потянул его с лавочки за рукав, и когда тот все же уперся, — Барабашкин сказал с досадой:

— Ах, да постойте вы с совестью, Петр Иванович! Ей богу, сейчас не до вас! Прошу вас осадить! Слазьте! Слазьте с лавочки — вам говорят. Тут вопрос мировой справедливости решается, а вы с совестью лезете... Иван Степанович, извольте сюда на минутку: — выслушать волю большинства. Вы слышите?

Иван Степанович подошел к лавочке и, боясь упасть, ухватился рукой за забор. Его лицо было иссиня белым, недвижным словно доска.

— Чорт с вами! — кричит Иван Степанович в сдвинутые лица — нет беды, которая не пала бы на вашу голову за это! Господи, ты видишь? Смердящий труп набухает соками жизни! Делите, — я согласен. Но знайте: — прокляты вы мною от ныне и до века...

— Подумаешь, какая важность! — с презрительным хладнокровием отозвался взявший себя в руки Петр Иванович.

А Барабашкин добавил насмешливо:

— Спрячьте, пожалуйста, свои фокусы, Иван Степанович, — это не частное дело.

Тогда опять рванулись голоса, победившие и потому насмешливые и беспощадные:

— Довольно тянуть волынку!

— Если мы выиграли — делить!

— Билет выиграл потому, что попал всем нам! Это — счастье коллектива...

— Делить! — в истерической тревоге взвизгнула молчаливая Уткина.

— Нэмэдленно установить прынцып дэлэжки! — строго сказал кондитер Мамулия, надевая пенснэ.

— Мы хотим знать: сколько кому достанется? Собрание!.. Немедленно собрать собрание!..

— Все ли здесь? — с властным восторгом крикнул Барабашкин.

— Все! Все! Барабашкина в председатели! Барабашкин, дели!

И когда по мановению пальца, — единственным и неповторимым в истории ноева ковчега было это мановение барабашкинского пальца, занесенного над головами, — внезапная упала тишина, Павел Петрович, придерживая левой рукой сердце, чтобы не выскочило, вскричал:

— Граждане, экстренное собрание по случаю выигрыша ста тысяч объявляю открытым!..

И опять открылась липкая и настороженная тишина. Женщины кутали плечи от зябкого страха. Мужчины опускали глаза к земле. У Петра Ивановича задрожали губы, он сказал Николаю Алексеевичу, неподвижно стоявшему у забора:

— Все это ерунда!

— Почему? — испугался тот, встряхиваясь.

— Ничего мы не выиграли! Это невозможно!

— Нет! — злобно вскричал Барабашкин, соскакивая с лавочки, — теперь мы не можем не выиграть...

Он беспомощно шарил глазами по лицам. Но лица были немы, — никто не смотрел в лицо соседу, шаря глазами по земле.

— Постойте, постойте!.. Пожалуйста, тише...

Барабашкин подошел к жене. Она сидела на приступочке парадного, ее глаза были восторженно и страшно устремлены поверх крыши, а на подбородке бились пузырьки стекавшей пены.

— Наденька! — сказал он чуть слышно, — ты слышишь: они говорят, что мы выигрыли сто тысяч!..

И от этих слов, как от ударов бича, женщина поднялась во весь рост, выпрямляясь так, как никогда не выпрямляется человек. Она протянула руки к плечам мужа и захохотала дробным смешком, словно просыпала мелкую монету. Ее мертвенное, налитое синим жиром, лицо задергалось в конвульсиях. С минуту она словно пыталась ухватить рукой воздух, потом упала на землю, глухо стукнувшись виском о ступеньки крыльца.

— Марья Платоновна! Катенька! Помогите! С ней плохо!.. — закричал Барабашкин, склоняясь к жене.

Но Кателька спряталась за спиной Зиночки, она не слышала зова. Старуха же Скорбилина сказала, не подымаясь и обиженно:

— Сейчас придет Пчелкин! Посадите ее пока на лавочку! Разве ж можно отсюда уйти!

— Что вы, что вы? Разве можно уйти!

— Тут только уйди, хе-хе-хе...

И жирный басок Бузыниной, зарокотавший удивленно:

— То-то мне неделю под-ряд черные таракане снились! Заведу глаза, забудусь ненадежным сном, а они вот они — черные таракане, и все с усами...

— Тов-варищи! — вскричал Пчелкин, врываясь на двор. Он бешено тряс газетой еще от ворот: — Билет выиграл!

Все вскакивают с мест. Барабашкин опустил руку жены, рука упала на землю, как плеть. Иван Степанович словно под ударом прикрыл голову руками.

Барабашкин опять влезает на лавочку. В растерзанной на груди рубашке в зеленую полоску, в одних подтяжках — он напоминает фигуру какого-то странного памятника. Но руки и голос его властны, и движениям его руки послушны все, как всегда послушны люди одному в большом горе или счастьи.

— Дорогие граждане, мы должны немедленно решить два вопроса: о принципе дележа выигрыша и второй: о способе получения денег.

— Делить всем поровну! — вместе сказали портновские подмастерья неуверенными голосами.

— Зачем же поровну? — закричал с лавочки Барабашкин. — В таких случаях нечего равняться на левый фланг! Кто меньше дал, тот меньше и получит... Кому принадлежит билет? Дому — это совершенно ясно. На какие средства он был куплен? На средства квартирной платы... Кто больше вносил квартирную плату, тот больше и получит!

Бузынина от изумления даже треснула себя по животу.

— Да ты очумел, дружок! — вскричала она, — если ты вносил как буржуй рубль за сажень — так тебе и больше! А если я, бедная вдова, вносила по гривеннику, так мне кукиш! Да кто ж тебе в советском государстве такое допустит?

— Всем! Всем поровну! — заговорили голоса.

Петр Иванович вскочил на лавку рядом с Барабашкиным и в свою очередь сказал:

— Граждане, не для того была революция, чтобы при выигрыше мы принимали в расчет квартирную плату! Революция всех уравняла — вы должны твердо запомнить это! Ты больше получал жалованья — ты больше платил за квартиру, а благами советской жизни все должны пользоваться одинаково! Гражданка Бузынина безусловно права: надо делить всем поровну, и на детей равную часть!

— Вот это, ах оставьте, Петр Иванович! Пусть будет по вашему об уравнении жизненных благ, я не спорю, — но на счет детей позволю

себе решительно протестовать! Дети еще полчеловека, а, может быть, и треть человека, а вы им равную часть! Я предлагаю: детей обязательно выделить! У нас даже грудные дети есть, может быть, они еще и умрут, а вы им равную долю!..

— Какой он оказывается мерзавец — твой Павел Петрович! А еще жених... — с удивлением прошептала Татьяна Павловна.

— Вношу еще предложение! — властно продолжал Барабашкин, — право на дележ имеют только те, кто имеет право на жилую площадь! Это очень важно! А то выпишут себе их деревни родственников без права занятия площади, а им еще выигрыш дели! У одной гражданки целый месяц живет под видом родственницы без права занятия девушка из деревни, и даже чулки вяжет — а мы ей тоже обязаны платить? Как по вашему, уважаемые граждане?

— Нет! Нет! Не платить! — забубонили голоса.

— То есть как не платить! — взвыла Бузынина, животом вперед надвигаясь на лавочку, — да она мне троюродной племянницей приводится! Я, может быть, вскормила, воспитала девку, а ей не платить! Да где ж это видано, чтоб чистокровную пролетарку при дележе выигрыша обделять!.. Аграфена! Бежи сюды, стерва, скорее!..

В окно выглядывает безмолвная белобрысая коса. Все даже с некоторым любопытством рассматривают косу. А Николай Алексеевич вдруг сказал:

— Теперь, матушка, одним происхождением не укроешь! Теперь надо жилплощадь иметь — тогда и гражданин...

— Да я ж на вас в суд подам... — взвизгнула Бузынина, — да как же это можно не платить! Иван Степанович — буржуй недорезанный, прямо скажу. Барабашкин цельными кусками мануфактуру из треста волокет, расхищает народное добро — ему будут платить! Девицам, которые гулящие и даже видеть их зазорно — будут платить! Пьяницам платить! А честной девушке, которая, может быть, весь свой век счастья дожидалась — ей не платить! Да вы белены объелись!

— Не волнуйтесь, гражданка Бузынина! — прервал ее Барабашкин со спокойной злостью, — как общее собрание решит, так и будет... Ввиду ясности ставлю вопрос на баллотировку! Кто за то, чтобы не имеющую права на жилплощадь и проживающую в прислугах...

— В каких прислугах? Что ж ты врешь, старый пес!

— ...и проживающую в родственных отношениях гражданку Аграфену включить в счет дележа, прошу поднять руки... Никого! Общее собрание единогласно отклонило вашу просьбу, гражданка Бузынина! Прошу вас успокоиться!

— Ну нет, соколики! Этого дела я так не оставлю, сейчас же в народный суд подам... Я вам покажу, где раки зимуют, туды-т вашу мать!.. Грунька, платок! Брось платок, зебра бесхвостая! Ее грабят среди бела дня, а она зубы скалит...

Бузынина в исступлении бросается к воротам.

Тогда, воспользовавшись паузой, Петр Иванович сказал слово.

— Граждане, — начал он с укором и словно стыдя всех, — вот мы делим шкуру убитого медведя, и каждый думает только о себе, а не думает коллективно. Я предлагаю теперь же, пока деньги не растрачены чорт-те знает куда! — а тогда сами знаете: ищи-свищи! — теперь же выделить сумму на ремонт! Отремонтируем наш знаменитый чуть ли не на весь мир ноев ковчег так, чтоб был он светочем, а не позором для насмешки!.. Ведь, если каких-нибудь десять тысяч...

— Это зачем же десять тысяч? — пискнул кто-то с нечеловеческим восторгом.

— Да он с ума сошел! — весело отвечал другой голос.

— Наоборот! — громко сказал незнакомый бас из задних рядов. — Все переложит в свой карман!..

— Не согласны десять тысяч! — заревел двор, замахав руками. Тетя Саша отважно махала руками перед самым председательским носом.

— Где смета?

— Ды-к, граждане, родные, — заволновался Петр Иванович, — ведь, смета составлена всего на шестьсот рублей... Ведь, если раньше для торжества нового быта у нас не было средств, теперь они есть...

Однако дальше Петру Ивановичу не дали говорить. Едва он начал — лица уже нахмурились, взъерошенный сапожник Подкидышев что-то зловеще зашептал Николаю Алексеевичу в ухо, тетя Саша блестела сумасшедшими глазами, от стены надвигались какие-то совершенно неизвестные люди, орали перед самым носом, кто-то потянул Петра Ивановича за рукав и сказал с упорной злостью:

— Слазь, товарищ!

И только Пчелкин, да еще Молот и Серпина, взявшись за руки, восторженно смотрели, как бились в экстазе речи грязные усы Петра Ивановича.

Сапожник выразительно толкнул Николая Алексеевича, и тот, наконец, насмелился. Он встал и сказал уверенным басом:

— К чорту!

— К чорту! — словно по сигналу заревел двор.

— К чорту! — взвизгнул Барабашкин, подскакивая к Петру Ивановичу петухом, — не суйте нам принудительный ассортимент, прошу вас... в таблицах о выигрышах нигде не сказано, чтоб на выигранные деньги прачечные открывать... Я предлагаю на ремонт дома две тысячи... Граждане, вы слышите?

— Полторы! За глаза хватит полторы!.

— Голосовать!.. Голосовать и дело в шляпе... Подумаешь, какой апостол нового быта — Петр Иванович Дынькин... Одна фамилия чего стоит...

— Прошу без личностей! — остановил Барабашкин: — итак, граждане, я голосую... Кто за полторы — прошу поднять руки...

Лес рук поднялся в одно мгновение, и, увидев его, Петр Иванович слез с виноватым видом с лавочки, опять уступив место Барабашкину. Он надел кепку и подошел к Ивану Степановичу.

— Ну как, Петр Иванович? — спросил старик с ехидством.

— Ваши дети, Иван Степанович! — недалеко от яблони... — отвечал тот иносказательно и со злорадством побитого сам засмеялся своей метафоре.

— Они не мои дети, — серьезно сказал Иван Степанович: — я думаю просто сукины дети...

— А теперь, граждане, нам нужно перейти ко второму еще более важному вопросу! — надрывался Барабашкин: — мы должны получить деньги в банке... Как организовать получение? Я предлагаю: — выбрать комиссию из трех лиц...

— Вы слышите? — склонился Николай Алексеевич к сапожнику: — трое получат и сбегут... Ну-у нет!

Чувствуя, что теперь его очередь сказать веское слово, Подкидышев заорал, обнаружив уже не бас, а пронзительный, словно бьющееся стекло, фальцет:

— К чорту комиссию! Сбежит комиссия! Какой дурак не сбежит со ста тысячами! Надо всем итти...

— Всем! — заревел двор, вздымая руки... — Мы пойдем все! И сейчас же! Бабы, одеваться!

И в этот рев во второй раз самоотверженно бросился Барабашкин:

— Молчать! Для получения мы изберем представителей от каждой семьи...

В тишине, которая открылась за резким его окриком, было слышно, как в комнате Ивана Степановича кричал голодный попугай Жако и трепыхались птицы в клетках. Собрание устало. Старуха Скорбилина подошла к лежавшей на крыльце жене Барабашкина и вдруг заговорила страшным шопотом, каким всегда говорит человек в несчастьи:

— Павел Петрович? А, Павел Петрович, — ваша жена...

— Что еще моя жена? — недовольно отозвался тот, забыв об обмороке жены, как все забыли о нем в расцвете столь удивительных событий...

— Умерла ваша жена...

— Врете! — завизжал Барабашкин, бросаясь к женщине, лежавшей на крыльце, — быть не может, чтоб теперь умерла...

Женщины подошли к крыльцу, кутаясь в платки и пряча подбородки. Уже падал вечер, в его неторопливых тенях лицо умершей казалось синим, глаза были открыты, — смотрели в подступавшую темноту ночи темно и жестко, как смотрела в ее синее лицо подступавшая темнота.

— Посмотрите: — какие стеклянные глаза...

— И то сказать: была вроде блаженненькая и кончину приняла блаженненькую... Не выдержало счастья сердце...

— Надо бы доктора! — несмело сказал кто-то.

— Гроб надо, а не доктора! — захохотал Подкидышев.

И когда мужчины подняли и стали заворачивать тяжелое податливое тело, чтобы ногами вперед пронести по лестнице, вслед им заколотился сухонький, как треснутая колотушка, ехидный смешок Ивана Степановича:

— На два дня ошиблась, голубка, божий дар... подвела голубка... ха-ха-ха...

И все под этим смехом в страхе подобрали плечи, но никто не оглянулся и не ответил...

X.

Ну, что ж! А дни приходили и уходили опять. В них уже проступали едва уловимые крапинки осени: — паутинка с отцветшей липы, холодный синий звон по утрам, по-осеннему отчетливый стук копыт, сонные мухи в гаснущих солнечных пятнах по забору, — подходила к земле осень, когда закончился ремонт ноева ковчега. Заново — красной, отчетливой краской выкрашена крыша, зубастый дощатый забор окружает его владения, в правом углу — где прежде за крысами гонялись с палками дети жильцов, — новая помойка державно выпирает на середину двора. В подкрашенных окнах несмятые тюлевые занавески, на парадном крыльце, дверь которого открывается теперь тугой поющей пружиной, дощечка с фамилиями жильцов. По середине двора, где прежде торчала обломанными пеньками лавочка, на которую приползали жильцы поговорить о звездах, о жилтовариществе, о существе жизни, о том, какая жизнь и для чего она? — вбили в землю стол, перед столом — клумба с цветами, холодные астры раскидались по земле по-осеннему буйно. У крыльца привалилась новая цинковая ванна, ее привезли к Скорбиным, и к вечеру будут подымать на веревках в окно: — в парадное ванна не пролезает. В этом праздничном, в новом своем виде был похож Жилой Дом на старуху, у которой давно нет зубов, которая слепа и немощна, но разрядилась в бальное платье, в шелка, в кружева и в цветы, сидит где-нибудь на балу — наблюдает проносящуюся в молодом танце жизнь непослушным, мертвеющим глазом, и не видит, как беспомощна, как смешна она в роскошном своем великолепии...

По двору неторопливой поступью хозяев идут Барабашкин и Петр Иванович. За последний месяц Петр Иванович потолстел, на нем новая толстовка «реглан», подмышкой чистенький портфель, настроение у него неизменно благодушное, восторг стал привычным, как всегда становится привычным восторг в жизни удачливого человека.

Он останавливается возле роскошной цветочной клумбы и поучающе говорит:

— Еще одну деталь упустили мы впопыхах, Павел Петрович... Надо было непременно поставить на дворе дуговой фонарь... Как вы думаете, а? Выйдешь, например, вечерком посидеть на лавочке, а над тобой лампочка, будто солнце... и газету почитать, и так посидеть приятно... Зря вы, Павел Петрович, не поддержали меня на общем собрании:— лишних пять тысяч набавить на ремонт... Всему бы Замоскворечью утерли нос! — воодушевляется Петр Иванович, — в подвалах — прачешная, клуб, двор асфальтировать, телефон для общественного пользования... И подумать только: куда уходит богатство? Вот как происходит накопле-

ние капитала! Вот как рождаются на земле проклятые буржуи, дорогой Павел Петрович!..

— Каждый вправе поступать со своим счастьем так, как ему заблагорассудится! — хмуро отвечает Барабашкин.

На дворе тихо — тишиной свежеющих августовских вечеров. Чуть слышные спадают звуки рояля из квартиры Скорбилиных. Барабашкин и Петр Иванович подходят к парадному, Петр Иванович тычет пальцем в ванну и смеется. Когда оба скрываются, наконец, в дверях — окошко Ивана Степановича потихоньку открывается. Он слышал разговор; с тупым злорадством плюет он в окно длинным цыкающим плевком вслед «местному святому», которого только и недостает для полноты картины. На двор выходит Пчелкин, он — в новых сапогах. Тихонько прикрывает Иван Степанович окошко и приникает опять к щелке в занавеске. Пчелкин стоит, равнодушно ковыряя в носу. Ивану Степановичу виден его потный угрястый лоб, рубашка в синюю полоску, начищенные новые сапоги. Ну, конечно! Так и есть! В ворота дома входит шикарно разодетая Зиночка. Вокруг задорно вздернутой шляпки с пером развевается шарф — словно победный стяг. Ее ноги в зеленых очень узких ботинках, она идет подрагивая бедрами и внутрь выворачивая ноги, как выворачивают ноги в фокстроте — Зиночка видела в таировском театре, на «Косматой Обезьяне», как ходят шикарные европейские женщины: — они гармонично скользят на носках, потому что жизнь — это ритм, это музыка, ах, как прекрасна жизнь! Та-и-та... та-и-та — ах, что вы тут делаете?

— Товарищ Зина!

— Ну, какой я вам товарищ? Что за несносная манера, Пчелкин? Ужасно у вас неинтеллигентные манеры...

Пчелкину нестерпимо стыдно за свои руки. Удивительно: они всегда мешают и почему-то всегда грязные... Он прячет руки за спину. Красота Зиночки его ослепляет: невозможно смотреть, как она прекрасна. Особенно соблазнительно то, что на ней не красный комсомольский платок, а вот эта чудесная шляпка с шарфом, словно головка какой-то не нашей, дразнящей птички.

С той решительностью, на какую способны только очень застенчивые люди, Пчелкин схватил ее за руку, глухо заговорил, торопясь как можно скорее высказаться; знал, что если не скажет сейчас — не скажет никогда:

— Постойте на минуту, Зиночка! А? Я расписаться с вами хотел... Денег нам хватит... через три года я инженером буду... А? — с восторгом, с надеждой глядел он в цепкие напуганные глазки. Она захохотала пронзительно, втыкая нож этим смехом в простое сердце.

— Ну, какой же вы идиот! Ах, какой вы замечательный идиот!.. Даже удивительно, до чего вы глупы... Сейчас же пустите руку — слышите? Сейчас же пустите мою руку — люди идут! Кателька, — ты? Иди скорей, иди сюда, милая... сто лет тебя не видела...

Обнявшись, идут подруги мимо цветочной клумбы, дрожат в вечернем холодке красные головки астр, и Пчелкин, — осмеянный и оскорбленный,—

стоит у парадного, мнет в запотевших руках кепку. Вот он пошел, втягивая голову в плечи. Ивану Степановичу жалко Пчелкина за то человеческое, что вспыхнуло, словно облезлый солнечный луч на заборе, умирает, не разгораясь.

— Рассказывай, рассказывай! — позабыв о Пчелкине, говорит Зиночка, тянет подругу за руки, с ласковостью счастливого человека засматривает ей в глаза: — достала билет в Крым?

— Да, на воскресенье!.. Зиночка, в воскресенье еду... — лицо Кательки пунцовеет непривычным румянцем, — словно надо мной разразилась какая-то волшебная сказка, которой и веришь и все не можешь поверить до конца...

— Постой, а как же Павел Петрович! Теперь, когда умерла его жена...

— Не надо вспоминать, — шепчет Кателька, морщась, — это были минуты отчаянья и смерти...

— А теперь жизнь? Да, Кателька! Я вчера тоже прогнала своего Хахомова. Пришел, мерзавец, и говорит: «Я, дорогая Зинуша, не могу вас взять какой-нибудь свободной девушкой, давайте соединим сердца и капиталы, откроем лабаз на Болоте, а вы у меня за кассой словно лазоревый цвет». Я его к чорту послала... Я теперь, пожалуй, в оперетку поступлю! Или даже нет — я буду учиться характерным танцам, поеду в турнэ по всей России... Хочешь? — сегодня на лихаче в Петровский парк! Я вчера ездила — прямо дух захватывает!

Вскочив с лавочки, Зиночка кружится по двору в танце — в танце молодости, удачи, довольства... «Почему так прекрасны лица девушек в счастьи?» — думает Иван Степанович.

— Почему? — строго спрашивает он попугая, смотрящего на него в упор немигающим птичьим взглядом.

— Кра! — отвечает попугай.

— Вот и дурак! — говорит Иван Степанович, — потому что и черви счастливы, когда есть солнце...

Из парадной двери торжественно, словно в церковь, выплывает процессия. Впереди Татьяна Павловна, она не идет, а плывет — ее лицо густо напудрено, у губ большая черная мушка, в руках шелковый японский зонтик, который рассеянно вертит она, не зная, куда его сунуть... Каждому, кто взглянет на нее со стороны — ясно: только по необходимости проходит она вот тут, — со снисходительной улыбкой посмотрела на роскошную клумбу и зонтиком дотронулась до ближнего, поникающего к вечеру цветка. За ней монументально подвигалась горничная с ребенком — куклой в кружевах; у горничной бессмысленные, напуганные роскошеством глаза. Замыкала шествие тетя Саша в новом бархатном платье, нескладном, захлестывавшем колени. Она держала за руку Анечку — подстриженную, в шотланке.

— Как вы держите ребенка? — капризно сказала Татьяна Павловна, оборачиваясь к горничной одной головой, — плечи остались недвижны, — у ней головка затечет!

Испугавшись, горничная затормошилась под окном и едва не уронила девочку.

— Стойте же, стойте! — роняя зонтик, подбежала к ней Татьяна Павловна.

На шум этот раскрылось окно Бузыниной, сквозь жирные фикусовые листы глянуло ее лицо — красное, распаренное со сна, словно после бани. Со спокойствием полководца оглядела она торжественную процессию, сказала густым простуженным басом, не обращаясь ни к кому:

— Ишь, разрядилась шкуреха!

— Ах, да идите же скорей! — толкнула Татьяна Павловна горничную, — ну, что вы остановились под окном этой ужасной женщины?

— Это я-то — ужасная женщина! — приняла вызов Бузынина, налегая на подоконник всей своей могучей грудью и готовясь ругаться долго и взасос, — а ты забыла, стерва ты несчастная, как полы мыла? Забыла, сволочь ты простоволосая и сука! Как за луком ко мне ходила? «Кла-авдия Егоровна — не-ет ли у вас лу-учку, дайте щепоточку сольцы-ма-аслица, Анечке жрать нечего»... А теперь в шелковых рубашках ходишь! Панталоны с кружевами завела! Нос воротишь! На чьи деньги, — позволь тебя спросить, — воротишь пудреный нос? Груньку обобрали! Счастья лишили девку... Вот погоди, суд покажет вам, как трудящую девушку среди бела дня обирать...

Татьяна Павловна, высокомерно подняв голову, отвечала с холодным презрением:

— Мы с вами говорим на разных языках, и все равно не поймем друг друга...

И к горничной:

— Ну, что ж вы встали как вкопанный столб?.. Несите же девочку...

И так же медленно и торжественно поплыло все семейство к воротам, на прогулку.

В изнеможении укладывает Иван Степанович свою старенькую голову на подоконник. С первого же дня после выигрыша что-то остановилось в его сердце, а что? — он сам себя спрашивал с тоской. Жалко ли деньги, — вот эти деньги, которые сами вошли в старость, чтобы старость утешить, и, будто насмешливая рыба, скользнули из рук? Нет, деньги не жалко! Что б с ними делать, если бы все сто тысяч остались ему? В тот день тиража, — до реальности ясно он представил себе, как пошел он с плетеной корзинкой, — с которой одиноко ходил на базар, — в банк, и там ему дали два пуда денег. «Спокойно! — сказал он себе, — спокойно!» Вот они новенькими шелестящими червонцами лежат на столе. Надо только подождать, чтоб угомонились птицы. Нельзя, чтобы птицы видели богатство. Он завесил клетки пиджаком, ватным жилетом, попугая прикрыл одеялом... Итак, что же купить в первую очередь, и как устроить дальше жизнь, которая вырвалась из берегов разума? Надо обязательно купить конопляного семени и дать подштопать старые стрепавшиеся носки... Или, может быть, нанять хор певчих и заставить их петь целый день под

окном «херувимскую» Бортнянского, выпустить всех птиц и спокойно умереть под пение прекрасных дискантов... Уже гасла ночь, ночь гасла тихо и печально, как приучаются в августе гаснуть ночи, и на восходе подолгу задерживалась красноватая звезда и таяла в несмелых лучах солнца, когда он вышел на двор — в тот день, первый день счастливой жизни ноева ковчега — на дворе постоял один, долго, не видя, — глядел на Жилой Дом, и думал о том, что поставлена последняя точка в «книге живота», а надо ли теперь ехать к патриарху, и что сказать ему о потерянном смысле жизни?

Ту ночь он не спал и метался, ужасные мысли о поджоге приходили ему в голову... Хорошо бы купить на сто тысяч рублей керосина и облить дом. Каким изумительным факелом запылал бы он навстречу поднимавшемуся восходу!.. Да, да, — очевидно только одно: когда-то, однажды, но раз навсегда, произошла ошибка. Или Христос приходил на землю напрасно, и ему еще раз нужно приходить, или у большевиков было слишком мало патронов... Сметать — так все сметать! Зачем не рвали с корнем, зачем оставили окурки — из жалости, из милосердия, из русской сердобольности?

Сжав сухонький кулачок, он щурил сумасшедшие глаза навстречу солнцу, въезжавшему на небесную гору со спокойствием сытой лошади, сел на лавочку, закрыл глаза...

— Что с вами? — Чужатников стоял с желтым огромным чемоданищем, в кожаной кепке — с утра приветливый и бодрый, как всегда после долгой езды, больших просторов и бессонных разговоров в прокуренном купэ.

— Если бы вы ко мне пришли, — отвечал не ему, а своим мыслям Иван Степанович, — ко мне, к старичку, к бывшему домовладельцу Ивану Степановичу Журкину, — что бы сказал вам старичок? Братья, — сказал бы он, — рвите под корень, все рвите, чтоб ни единого семени не осталось! — ни единого дыхания не уцелело! Десять революций сделать легче, чем потопить один ноев ковчег!..

И опять показалась ему фигура Чужатникова неестественно и смешно большой, — такой, как приходил он тогда во сне, — с мохнатыми кулаками — и говорил, что пора ему собираться в ореховый гроб, потому что уже пришли люди для дезинфекции... И как во сне — и, может быть, это и было во сне или в бреду болезни, — Чужатников ненастоящим глухим голосом сказал:

— Да, десять революций сделать легче, чем заставить умереть тебя — одного...

— А черви? — спросил Иван Степанович, беспомощно защищая голову руками как от удара...

— Черви отомрут сами... — за нас ты не бойся, старик! Нам по плечу горькая правда земли...

Чужатников пошел в дом, волоча за собой желтый огромный чемоданище. И, глядя вслед ему, на большие его сапоги, подкованные железом, Иван Степанович заплакал...

... И было так в тот вечер, еще раз потрясший до основания ноев ковчег, вознесенный на самый гребень волны — а для чего? Посмеиваясь сумасшедшим смехом над тем, что он знает, а люди не знают неимоверную тайну о жизни, — вынес Иван Степанович все птичьи клетки на двор, открыл дверцы и выпустил птиц на волю. Он брал их руками и швырял прочь от клеток, но птицы летели назад, садились на клетки и пищали испуганными голосами. Блестя сухим огнем страшных глаз, старичок в растрепанной седенькой бородке, на которой билась пена, — гнал птицу прочь, гнал прочь привыкших к неволе, потерявших чувство полета птиц, — они же возвращались обратно в неволю и боялись простора, уже свевавшего пустоту ночи на Жилой Дом. Попугай, которого он подбросил к самой крыше, — махнул крыльями и еле дотянул в косом полете до плеча старика и, сидя теперь на плече, — возмущенно кричал:

— Кр-ра!

— Не хочешь летать, мерзавец? — с холодной ненавистью спросил Иван Степанович и снял птицу с плеча. И с тем же спокойствием решившегося человека достал перочинный нож, грубо сорвал птицу с плеча и отрезал ей голову. Еще живое тело в окровавленных перьях билось в руке, и кровь брызнула в лицо Ивана Степановича.

Во двор входило, возвращаясь с прогулки, все семейство Скорбилиных. И на дворе уже, словно соревнуясь, встретилось счастливому семейству — другое счастливое семейство — жена Петра Ивановича и дети ее — Серпина и Молот, в новеньких костюмах пионеров. И оба семейства столкнулись в тесных воротах, мешая друг другу пройти и не желая дать друг другу дорогу...

Увидев людей, Иван Степанович пошел к ним навстречу и, тыча мертвой птицей в платья их и лица, заговорил бешеным свистящим шопотом:

— Вот они! У-у, гады! В бархатных платьях! Ползуны, пискуны, мерзавчики!.. Глаза бы вам каленым железом! Обрубить руки и ноги... И самое клопиное семя ваше пятьсот лет варить в кипятке, а потом в пушку... в пушку... выстрелить к чортовой матери...

— Мамочка! — закричала Анечка, — я боюсь, — дедушка сумасшедший...

Тетя Саша, загораясь, как всегда загораются душевно-больные люди от припадка других, бросила на землю картонку со шляпой, которую ей только что купили, чтоб скрасить уродство седой ее стриженой головы, с криком воина, бросающегося на штурм, вскочила в коробку, начала топтать ее ногами и, всхлипывая, затанцовала в отвратительном танце.

И опять, как в час выигрыша, раскрылись окна ноева ковчега, и в двери на крик потерявшихся женщин бежали жильцы, и голоса их гремели обиженно и недовольно:

— В чем дело?

— Невозможно допускать такие безобразия в порядочном доме...

— Берите его!

— Связать его! Вон! Вон!

И цепкой стеной они пошли на старика, — вот Барабашкин, все в тех же подтяжках, Петр Иванович в новой толстовке регланом, женщины и дети... И по тому темному гневу, который окровавил их лица, и по той глубине человеческих глаз, которая глубже реки, когда чуют люди неизбежное, — и по кулакам, которые сжались, чтобы наступать — остатками разума понял Иван Степанович, что идет смерть, нелепая и смешная старуха, чтобы плюнуть последним плевком в изнемогшие человеческие глаза. Размахивая мертвой птицей, как шпагой, — а из нее била кровь, и кровь эта пятнами, ранами, падала на лица, Иван Степанович отступал к воротам, и тут подхватили его под руки два милиционера, и еще человек с желтым портфелем, а за ними поднималось лицо Чужатникова, совсем близко нагнувшееся к глазам Ивана Степановича. И, может быть, впервые видел его Иван Степанович так близко, — оно было просто и доверчиво, по нему крупной дробью рассыпались веснушки, а глаза были жалеющими, — по-человечески просто — и этим глазам Иван Степанович сказал с улыбкой, кивая на птицу:

— Падаль!..

— Да! — отвечал живой Чужатников, беря Ивана Степановича под руку...

Склоняя мертвеющую голову, — в последнем, в неповторимом усилии прикрывая глаза, слышал еще Иван Степанович, как сказал тот третий, с желтым портфелем — повышая голос, словно рубя им:

— Граждане, это дом бывший купца Журкина, а ныне жилтоварищества № 3876?

— Совершенно верно, товарищ! — сказал кто-то тихо, словно в тумане.

— Вы выиграли сто тысяч, и на вас поступило в суд заявление от гражданки Бузыниной...

— Здесь! Здесь! Товарищ дорогой... Они самые обобрали девчонку! — голос Бузыниной Иван Степанович уже не узнавал...

— По предварительному постановлению прокуратуры, — продолжал человек с портфелем, — и все тише, все медлительнее, словно прекрасная музыка, какой поют, должно быть, певчие в равноапостольных покоях вселенского патриарха, звучал в ушах Ивана Степановича этот чужой голос, — я должен объявить вам, что деньги принадлежат самому жилищному товариществу, и вы не имели права их делить. Все вы за незаконное потребление выигрыша привлекаетесь к уголовной ответственности, а на ваше имущество будет наложен арест...

Беспомощно улыбнувшись далекой этой прекрасной музыке возмездия, Иван Степанович закрыл глаза...

Писатели.

(Глава из неоконченного романа).

Дм. Фурманов.

Павел сидел на ящичке у окна. Писал:

«Теперь уж никто не сомневается, что продналог — могила нашей нищеты. Мы вышли на новую дорогу. Советская Россия отстояла себя на фронтах гражданской войны — сумеет она отстоять себя и в тылу, на хозяйстве...».

— Нет, не то...

и перечеркнул написанное. Посмотрел за окно — в смутной темени ноябрьского утра печально, тяжело расплывался дым из труб; по крышам, нахохлившись, сидели потные вороны, щипали сердито хвосты. Обглоданные стужей — черны и голы торчали в соседнем дворе пустые березы...

«Будем верить фактам... Довольно праздных разговоров... Изо дня в день эти факты говорят нам одно: продналог открывает простор хозяйственным победам... Украина, Сибирь и Кубань уже дали»...

Он подумал минутку, не вспомнил цифру, оставил для нее пустое место.

«Уж дали .... миллионов пудов хлеба... Мы создадим запасы, из этих запасов мы будем кормить нашу промышленность... Заводы и фабрики, нефтяные промысла, Донецкие шахты — все они ждут только хлеба...

«Будет хлеб — и конец беде: город дает деревне мануфактуру, крестьянин охотней повезет свой хлеб... Заколдованное кольцо: хлеб не дают без ситца, ситец нельзя сготовить без хлеба. И все-таки начинать надо с хлебных запасов. Ключ к победе здесь...».

Остановился. Перечитал: тоже все общие места, разговоры... Что-то надо проще, яснее, убедительней... Он поправил сползшее с плеч на горбатую спину серое байковое одеяльце, посмотрел на красные холодные пальцы, выдохнул на стекло горячий пар... Потом положил карандаш, поднялся с ящичка и, тихо ступая, походил по комнате.

Сходить бы к этому — как его...

И, достав из кошелька записку — прочитал:

— «Мамонтовский пер., дом 47, кв. 113, Исай Исаич Спицын».

Спицын, говорят, недорого может доставить полусаженок — он не то сам на Брянском, не то возит дрова Москвотопу...

И зашагал по комнате маленький, худенький горбун. Укутанный в одеяло — он казался совсем ребенком, и словно шарик перекатывался из угла в угол. На большой круглой голове торчали щетиной жесткие сивые волосы, торчал, как у дятла, острый длинный нос, были строги и печальны сухие, зеленые глаза.

— Оксана... Саночка... ты бы встала...

Оксана лежала с закрытыми глазами и ничего не ответила мужу. Она только выше подтянула ворот и с головой укрылась под тяжелую солдатскую шинель. Павел отошел, достал из угла печные трубы и, стараясь не шуметь, вынес их на лестницу. Там он долго скрежетал и визжал, вправлял друг в дружку ржавые колена, загибал и расправлял кончики кирпичом, прихватывал зубом, выглаживал красными тонкими пальцами оттопыренные морщинки жести.

— Потише там, — крикнул снизу кто-то зло и кратко, — на улицу надо итти, кирпичи осыпаются...

Павел ничего не ответил и, съежившись еще больше, продолжал работу. Когда четыре коленца впились одно в другое и выросла из них черная длинная труба — Павел гордо вскинул ее на плечо и вернулся в комнату. Его встретили широкие темные глаза Оксаны.

Высвободив голову из-под колючего ворота — она лежала недвижная и горячим, строгим немигающим взором посмотрела на мужа. Густые русые волосы разметались на подушке, нездоровое серое лицо вспухло и будто налилось желатином, сдвинулись плотно тонкие ленты бровей, беззвучно сплюснуты были белые, бескровные губы.

— Оксана, ты бы встала...

— Зачем?

— Как же, зачем — на ходу легче: разойдешься и легче... — Она промолчала. А потом резко: — Опять с трубами.

— Прилаживаю, Саночка — ишь...

И он, торжествуя, хлопнул по трубной глади.

— Да что ладить-то — двух колен все равно нет.

— Достанем, это что же...

— Достанем — давно достаем...

(Идет домашний скандал, Павел убегает.) *)

В широком, в круглом варяжском шлеме, в долгополой раскидистой шинели, волочившейся за ним, как грязный шлейф — Лужский был и смешон и невыразимо жалок. И когда бежал он с сердитым, заостренным лицом по мокрым улицам, когда останавливался раздумчиво на перекрестках, гадая: куда итти, когда замученный ходьбой останавливался вдруг и трудно, глубоко вздыхая, присаживался передохнуть на тумбу или приваливался где-нибудь к широкой выемке окна — за ним неизменно следили прохожие, взглядывали на него с каким-то неловким, будто

*) Сцена не написана. *Ред.*

виноватым видом, а он это замечал, всегда замечал, как бы ни был взволнован, схвачен тревогой. И тогда ускорял он свой бег, пытаясь скрыться от чужих взоров, но убегал от одних, а другие навстречу. Бежал снова — и снова те же любопытствующие, внимательные, то насмешливые, то сострадательные взгляды. Видимо, останавливала тогда на себе не одна его неловкая, смешная фигурка — останавливало его чутко-подвижное, изборожденное волнением лицо. Когда он шел спокойный, та же самая толпа его не замечала, проглатывала, тащила и гнала с собою бесстрастно

Пробежал Лужский Чистыми Прудами, по скользким унылым аллеям, вышел на Мясницкую и здесь, у почтамта, сел на приступках. Народу в этом перекрестке всегда много, толпится он так густо, что отдельного человека не видать. Посмотрел на часы — часы стояли. Закоптелые и грязные, они зияли мутным провалом из ободранной стенки, словно вытекший глаз в морщинистом лбу, старого дома-великана. Редко-редко проползали трамваи, потом сгрудились на перекрестке и остыли, — что-то попортилось в пути, за кем-то куда-то послали, публика трамвайная высыпала на площадь и бранилась, негодовала, проклинала неведомо кого и за что. Когда все устроилось и трамваи тронулись с места — Павел, как в тумане увидел поползшие со скрежетом облупленные вагончики с выбитыми окнами, повисшую на них толпу. Сзади вагонов мчались в перегонку отряды ребятишек, повисли на тормозах и слева и справа приклеивались на подножках, хватались за окна. Потом соскакивали, мчались обратно и так же неистово, гикая и визжа, неслись за другим трамваем. И казалось, что кто-то могучий поднял целую охапку народу и несет ее по рельсам — так завешен был вагончик отовсюду человеческими телами. Потом вдруг загалдели, трамвай остановился и снова толпа трамвайная выскочила, загалдела: то ли кого придавили, то ли ребята стащили что-то у пассажиров. Толпа все гудела, все крепче наливалась гневом, запрудила все пути — трамвайчика, извозчики, ручные тележки остановились — площадь пропала в черной, волнующейся массе. Словно во сне слышал Павел, как на приступках лестницы спорили ротозеи:

— Выхватил целую спину — полшубы соданул... Этто они мастера... Они целой шайкой... Пятеро оттирают, а он нарезает... Поделом... Поделом подлецу... Напрочь, по самую чашку отхватило... С...сволочь... И чего только смотрют... Рази так нада...

Павел хотел было подняться, но так плотно сдвинулся народ, что протискаться не было возможности, он прислонился к колонне и смотрел перед собою на черные спины соседей, на кошелки, корзиночки, мешочки, что были у каждого в руках и за спиной: все куда-то, значит, шли получать — покупать...

— Одна беда, — подумал Павел — разве легче кому.

И от этого сознания, что всем тяжело, что и все эти вот сотни-тысячи такие же голодные, как он, что так же нет у них ничего и так же вот они целый день носятся по городу со своими кошелками и мешечками — от этого сознания стало ему вдруг легче и он почувствовал, как

распрямилось что-то на груди, опустился вздернутый лоб и все тело словно выправило крепко стянутые морщины — это уходила дрожь, пропадало волненье, сменялось покоем. И ему стало теперь занятно — что они тут говорят, чем так взволнованы, что там случилось на пути. Он расспрашивал соседей, поддакивал, возражал, усмехался остротам, погоревал над парнишкой, вырезавшем «барыне» каракулевую спину и при полете угодившем под трамвай.

Павел слился с толпой, она ему уже была не чужая, он сам промок насквозь ее интересами, с нею шумел и волновался... И когда улеглось волнение, а толпа поредела, он пошел вниз по Мясницкой, на Лубянскую площадь.

Стояли угрюмы и горестны огромные каменные дома. В выбитых окнах торчали доски и рогожки, висели кой-где меж рамами подтянутые узелки с драгоценной снедью, виднелись по нижним этажам грудки сложенных и мелко нащепанных дров — они были чуть поотодвинуты от окон. Всюду в форточки высовывались трубы, нахлопнутые колпачками, и дым из-под колпачков ударился о земь, расплывался по улице густой и едучей копотью и гарью.

Вот Лубянка. Вот огромный коричневый дом — он тоже весь оползз и как-то грузно, бессильно опустился к земле, словно старичек, одетый в истлевший, бесцветный пиджачек. Над визгливой тяжелой дверью ржавая полоска жести: «Комендатура». У двери толпа — плотная, взволнованная, но тихая. О чем-то справляются, шепчут друг дружке, кивают на дверь. Стоят спокойные и бесстрастные часовые, осматривают бумажки, иных впускают внутрь. ВЧК. Страшный и сильный, таинственный дом, загадочный незнакомец, чья власть и грозная воля дрожит тысячами искр в этих вот испуганных, мелькающих глазах толпы.

Павел подошел, хотел зачем-то протискаться к дверям, но его оттеснили, заворчали сердито:

— В очередь, в очередь, гражданин... Куда лезете?.. Тут люди с утра ждут и то не лезут — идите в очередь...

Он вынул обрывок газеты, сорвал полоску на угол, завернул кривулю, набил ее из гуталиновой баночки махрой:

— Разрешите, товарищ...— потянулся он с цыгаркой к папироске соседа... Тот покрыл его рыбьими налитыми глазами, вынул папироску из зубов и молча отвернулся...

— Разрешите... товарищ...

— Что вы пристали, гражданин, — вдруг окрысился сосед, — курите пожалуйста, вам никто не мешает. — И, перевернувшись круто на каблуках, загородил перед Павлом всю толпу... Рядом, в суконной плотной шубе без воротника, стоял какой-то бритый, с одутловатыми щеками, в котиковой узкой шапочке.

— Разрешите спичку... гражданин...

Тот снисходительно и бесстрастно сверху вниз глянул на жалкую фигурку Лужского и процедил:

— Тут люди с делами, а вы пристали, как банный лист... И как только не совестно, гражданин!..

Павел поглядел ему в строгое, злое лицо и молча улыбнулся:

— Ну и шпана, — подумал он, отходя и прикуривая у извозчика... — Вот удивительный народ — ну до чего же злы... — и внимательно оглядывал Павел эту толпившуюся к дверям кучку народа и видел на лицах у всех какую-то переробевшую сосредоточенность, замкнутую наглухо обиду, сердитую, озлобленную, затаенную боль.

Стояли тут женщины с тонкими высохшими лицами в истрепанных шубейках, в накидочках, иные в мужских широких пальто; непричесанные, наспех связанные волосы выскакивали из-под лодочек, тарелочек, кувшинчиков протертого и облезлого бархата. Многие обуты были в широченные английские штиблетища и они торчали странно и неуклюже на хрупких ножках, обтянутых в шелковые чулки. У многих запросто накручены были грубые зеленые обмотки и снизу теми же обмотками схватывались под подошву широкие, сползавшие с ног калоши. Костюмы были чрезвычайно странны и разнообразны, но почти у каждого из этих пассажиров то чулок, то накидочка, то шляпка напоминали о былом. И все они, несмотря на замкнутость, сосредоточенность свою, были объединены какой-то общею чуть уловимой сходностью — это все люди «своего» круга и пришли они сюда, видно, все по одним, по общим делам. Кой-где желтели тяжелые крестьянские тулупы, коричневые поневы, бабьи поддевки — это наехали, видимо, из деревень. И стояли они в сторонке, о чем-то тоже перешептывались, кидали робкие взгляды в сторону часовых, помаргивали мокрыми печальными глазами. Долетали до слуха обрывки разговора:

— Какая странность... Удивительное, знаете ли, совпадение... Какие там списки — да самый мирный человек...

— Ничего не скрывал, как на духу—да и чего скрывать. Вы только подумайте...

— Ну, что ж, офицер—мало ли у кого брат офицер, а я тут при чем?

И вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо. Павел приподнялся на носки, но стоявший обернулся к нему спиной и продолжал разговор, жестикулируя деланно и настойчиво обеими руками.

Павел полегоньку протискался в сторону говорившего, выполз сбоку:

— Волконский... Здравствуйте...

Говоривший легко перевернулся и на его молодом выбритом лице сначала скользнуло деланное изумление, потом так же деланно и неловко закривилась по губам фальшивая улыбка:

— Лужский... товарищ Лужский. Какими судьбами?.. Да... разве здесь?

И он заторопился вопросами, протянул Павлу тонкую короткую руку.

— Здесь... В политотделе...

— Давно оттуда?

— Три месяца...

— Значит все марширует...

И он холодно, паршиво засмеялся, обнажив прекрасные чистые зубы. Потом вдруг и серьезно:

— А я тут глуп...пейшее дело... Ну, т.-е. такая глупость — сказать смешно: в отряд спекулянтов приписали — ха-ха-ха...

Волконский снова широко сверкнул прекрасными сильными зубами:

— Волконский и... спекуляция... Кстати, у вас тут никого нет. — И он загадочным, сдержанным движением повел большой конец в сторону часовых... — Скорей бы, что ли, никак не доберусь... Выяснить и баста...

Павел молча глядел в его барское, прожелтевшее лицо и чувствовал, как от этой манерности у него что-то растет, сгущается в груди...

— Здесь-то? Нет. Никого нет... — ответил он равнодушно — Вы здесь, здесь-то, в Москве?

Волконский сделал лицо серьезным и чуть прихмурился от небрежного ответа Лужского:

— А я уж тут по иной пошел... Все бросил — это уж вы пописывайте... Мы больше не пишем: в Губ-прод-комисс...

— Вон как... — промычал Павел...

— Да нет, я тоже — какое писанье...

— Писать, знать, еще рано...

— Ну-ну, не скромничайте... Вы все такой же... Да, а где Пальцов, Салазкин, Кунц — вы о них ничего не слыхали?..

Павел через две минуты простился с Волконским — он знал его еще по Симбирску. Волконский что-то клеил там в Культпросвете, пописывал в журнале...

Павел отошел от мрачной неприветливой толпы ожидавших и пошел напрорез, мимо фонтана, к спуску. Фонтан стоял пустой и холодный — сухо желтели ржавые краники. Бесстыдные и грустные серели обнаженными, обгрызанными плечами статуи, словно пригнувшиеся под тяжестью чугунной тяжелой вазы. Мраморный круг сполз и облез, жидкая решетка была местами выдрана из земли и ржавыми, тонкими ниточками извивалась у грузного мраморного круга.

А за фонтаном, вдалеке — рыжела рыхлая крутолобая стена Китай-города — в черную пасть Владимирских ворот вползала и выползала вон торопливая людская толпа. И тут все с мешочками на спинах, с кошелками в руках, сердитые и строгие.

Угловая башня скучно выпятила огромное кирпичное пузо и темнела глубокими выбоинами, откуда высыпался раскрошенный годами кирпич. На стене, неведомо кем, поставлены были два худых боченка — их, видимо, никто не замечал, не стащил в «буржуйку».

Лужский глянул на боченки и мысленно прикинул — на сколько бы их хватило.

И тут вспомнил, что дома нет газолину, что на вечер нечего есть, что ежели припустить ходу — можно еще застать на «Смольбазе».

Он, толкаясь, налетая и сшибая встречных, смешно подобрав одной рукой невероятно длинную шинель — мчался на рынок.

Добежал до университета, подумал и ударил вверх по Никитской. Тут вряд стояли два полуразрушенных дома. Они когда-то, видимо, были огорожены, но изгородь растащили и обломки кирпичей ссыпались на тротуар. Павел заметил и запомнил:

— Будем класть печурку — надо сюда смахать за кирпичами...

Выбежал к Никитским воротам, оглянулся на гигантский угольный дом — он стоял все такой же пустой и страшный, как в Октябрьские дни, когда решетили его пули, когда снаряды сносили ему голову. Когда б ни проходил мимо — каждый раз с какою-то особой гордостью смотрел он на эту живую, наглядную памятку великих дней. Когда Лужский прибежал на Смоленский — тут только вспомнил, что не взял с собой посудину.

Он толкнулся к одной, другой торговке — бесстрастные багровые бабы потирали руки с холодку, подзадаривали:

— Нам хоть десять фунтов бери — одно дело посуду свою доноси...

— Купцы! — сверкнула смелая мысль. Он вытащил завернутые бумажки и быстро пересчитал, хоть и знал без того, сколько тут свернуто.

— Пончики, пончики... вот они пончики, — кричали кругом востроносые мальчишки. Лужский посмотрел на них укоризненно и мимо полков с разной чепухой поплелся тихо и раздумчиво к каменному дому, что стоит посреди — он знал, что там всегда «холодные сапожники».

— Товарищи, сколько за это?

И он, отбросив шинель, взлягнул смешно ногой, подставив сапожнику протертую подошву и развалившуюся дважды кожаную обсоюзку.

— И каблучки?

— Нет, каблуков не надо...

Холодный назвал желанную цифру. Лужский сократил ее вчетверо. Сапожник сердито сказал:

— Иди-ка, братец, по своей дороге — ты, вижу, балясу точишь. Иди-ка, иди...

Лужский пристыженно отошел от сапожника, столковаться явно было немыслимо. Вместо «без каблучков» он добыл четыре таблетки сахарину и собирался уж вовсе уходить, как увидел Греча...

— Греч, — окликнул он его сквозь толпу. Но тот, видимо, не слыхал и быстро уходил с большим узлом под мышкой.

— Чего это он? — подумал Лужский и торопливо побежал наперерез, бранясь и толкаясь с лоточниками, торговцами мылом, сахарином, жухлым хлебом...

Он увидел, как Греч вынырнул, выставив узел вперед, в небольшую старую лавченку Стекла узенькой двери были выбиты — вместо них рыжела плотная и грязная рогожа. Лужский тихо отворил дверь, всунул голову.

— Греч, иди-ка...

Тот сразу смутился, быстро отпихнул от себя узел, показал какой-то странный кукиш хозяину, тот примолк.

- Ты... ты што тут... Лужский?..

— Поди-ка... выдь на слово.

Тот вышел за дверь, быстро повернул пенснэ, на тонком хрящеватом носу и мигая быстро-быстро зелеными плутоватыми глазенками. Он, несомненно, чем-то был смущен.

— Верно из-за узла, — подумал Лужский, — продавать что-нибудь стащил...

— Греч, ты не можешь бутылку достать, — чуть улыбнувшись, спросил Павел.

— То-есть, как бутылку?

— Пустую бутылку..

Павел объяснил, в чем дело. Греч скрылся снова в дверях и через минуту вытащил огромную зеленую бутылку из-под боржома:

— Под честное слово, понимаешь? — приговаривал он, отдавая бутылку... — Завтра же утром занеси — вон старику отдашь, — и он кивнул на рогожу... Потом помолчал и добавил: — А еще лучше, кабы сегодня же вечером...

Павел снова снижает цены торговкам, постукивает, сам не зная, к чему, по пухлым жестяным бидончикам, уверяет, что «на Сухаревой вон вдвое дешевле — чорт знает, как дерете бессовестно...».

Смешливая широкозадая баба, принимая от него бутыль, деловито урезонивала:

— Не мели-ка, милой, напраслину... Что есть Сухарева? На Сухаре мы ж и торгуем сами... Какие там дешевле, не вся одна цена по Москве...

И вдруг глаза ее испуганно запрыгали:

— Да штой-то народ-то бежит?

И баба, ловко выхватив воронку, опасливо замотала головой на все стороны:

— Господи, да неужто облава опять? Нады-ть, гонют сюда. — И быстро, составив посудину в кучу, она целилась впихивать ее в суровые мешки, — в этих мешках таскает она бидоны за спиной от Красных ворот на Смольбаз.

Толпа, действительно, заволновалась, некоторые бежали озабоченно сюда на горку, но по лицам — ни тревоги, ни испуга, наоборот — какое-то острое любопытство, вот как бывает в пожар.

— Убили... человека убили...

— Где?

— В переулке... На горе...

— Да, господи ты мой, что ж это будем делать?.. Батюшки... — И торговка облегченно расставила снова свою посудину, втюкнула воронку в боржаленку, нацедила. Павел сунул ей в кургузую мужскую ладонь отсчитанные бумажки, впихнул бутылку в карман и сам побежал вверх

по горе. У стены, против бульвара, спешно семенил тонкими ножками Греч. Лужский его окликнул. Запыхавшись, путаясь в шинели, Лужский перебежал дорогу:

— Убили, Греч, кого-то?

— Нет, сам — Пахомов какой-то

— Са-а-а-м. Это почему? Не знаешь?

— От голоду, говорят... Семья велика...

К переулку народ сбежался со всех концов. Толпа напирала, оттесняла ниже стоящих под гору...

— За бабу, говорят — сменила... - увесисто и авторитетно сказал крупный рябой парень.

— Какая баба, — казну в карты пустил, сам скончал, никто не трогал...

— Подайтесь, граждане, подайтесь, куда лезете вперед, ишь, ходу нет... — И передние спинами нажали взад, оттеснили стоявших еще ниже.

Но рябому парню охота была пролезть вперед:

— Айда вместях! — подмигнул он Гречу, от толчков хватавшему то-и-дело парня за локоть.

— Айда! — храбро кивнул ему Греч чуточной птичьей головкой.

Павел тоже хмыкнул что-то одобрительное. Тогда парнюга взял чуть влево и крикнул властно:

— У ну, разойдись... Подайся, слышь — мы с етой квартеры будем, родня идет...

И парень уверенно наддал локтями. Покорная окрику толпа и в самом деле раздалась, с любопытством и даже каким-то особенным удовольствием очистила тощую полоску дороги и зарокотала довольно вслед троим проходившим:

— Родня... Свои идут... Братья, поди...

Так, командуя и окрикая, парень подвел Греча и Лужского до самого крыльца; на лестницу подниматься не стал, притих с завереньями о своем близком родстве покойному. Он, вообще, куда-то скрылся — вместо него теперь передом работал Греч. На лесенке у крыльца толпа сомкнулась крепко и, казалось, не было никакой возможности протискаться сквозь. Но Греч понял, в чем секрет:

— Позвольте, дайте пройти.

Но его пискливый тонкий голосок не производил того эффекта, что гудливый бас рябого парня.

— Не лезь, кочерыжка, куда прешь?

И Греча легко столкнули от крыльца...

Дежуривший у крыльца милиционер спокойно дал совет:

— Гражданин, держитесь ниже...

— Медицинская помощь... Фельдшер...— пропищал Греч, сторожко оглядываясь, не слышат ли дальние...

— Та другой дело... Пусти, эй... Так бы и сказал...

Греча с Лужским подтолкнули к самому крыльцу:

— Дохтора пришла...

Дверь открыли — там народ. Они быстро вбежали по лесенке и распахнули дверь в комнату.

Пахомов лежал на столе, в углу у окна; тело прикрыто было солдатской шинелью.

Павел вздрогнул:

— Словно Оксана... под шинелью-то, — выскользнула мысль. И он почувствовал, как острыми иглами закололо охладевшую спину.

Самоубийца — мужчина годов 40, с небритым рыжебородым лицом, в самом деле закатил себе пулю в рот из нагана. От горестной голодной жизни. Пуля выскочила в голову. Смерть проглотила вмиг.

В большой, пустой голой комнате народу втискалось человек пятьдесят. Стояли все с обнаженными головами, и дальние тянулись на цыпочках через головы тех, что стояли впереди. Стоявшие близко к столу сосредоточенно молчали, словно ждали чего; стоявшие ближе к двери тихо перешептывались. Говорили, что кто-то побежал на рынок за Пахомихой, женой покойного, но точно не знали, кто побежал, да и побежал ли вообще. Ждали еще врача, ждали милицию. Разговор шуршал на этих вопросах.

В другом углу, от стола — сидели скорчившись двое малюток, годов по шести и жалобно всхлипывали; их гладили по гладеньким жидковолосым головенкам какие-то женщины, уговаривали от слез.

— Его, штоль, детки-то?..

— Его...

— И детей не пожалел, сердешный...

Говоривший посмотрел скучным пустым взглядом на ребятишек, потом на покойника, опять на ребятишек. Помолчал и добавил:

— Вот она жистя-то — знать сильнее всего.

Ему никто ничего не ответил...

Огромная комната густо была замызгана копотью и грязью. Вещей почти вовсе не было: стол, сундучек, да табуретка — все добро. Какой-то бугорок из хламья чернел в углу, за столом.

Болталась еще на гвоздике серая тряпица — верно, полотенце. Со стола на окно переставили пустую деревянную миску, что-то из мелочи. Комната словно не жилая — так она была пуста, грязна и как-то без надобности просторна.

Павел осматривал ее с грусаным любопытством, он молча переводил глаза из одного склизнеющего угла в другой и чувствовал, как все существо наполняется густо тоской:

— Что я! Хуже вот жил человек...

И снова скользнуло перед глазами широкое желтое лицо Оксаны.

Греч ввязался в общие разговоры, о чем-то даже спорил, нервно жестикулировал, тонко и въедчиво выспрашивал про Пахомовскую жизнь. Вдруг вспугнутым зайцем вскочил в комнату острый женский

визг. Он дрожал высокой женской нотой, на миг срывался и вдруг наново взвивался — оскаленный и страшный.

— Пахомиху ведут, — кто-то прошептал с испугом. И все немножко перепугались: побледнели лица, по телу колючей, тонкой щеточкой проползла тревога. Повернули головы к двери и ждали, когда войдет Пахомиха. Слышно, как по лестнице густо затопали ножищами — вели Пахомиху двое, сцепив под мышки.

Визг остановился и пока топотали по лестнице — было слышно только глухое, изнеможженное курлыканье, словно булькала вода в большом раскаленном котле. Дверь спихнула рывком — сзади кто-то невидный вставил, как в раму, Пахомиху. Она оскалила страшно пустой беззубый рот — там чернели две гнилушки; черные безумные глаза вылупились из орбит и остановились, смотрели и не видели перед собой. Рядом стоял худой и низкорослый мальчик, годов 17, — он не плакал, не кричал — только передергивал сухими острыми скулами, да губы дрожали трепетно и часто, словно тонкие нити в ткацком станке...

— Сын, Петька...

Толпа раздалась по стенам и очистила путь к столу. Пахомиха одно мгновенье остыла в дверях, потом кинулась вперед и дико закричала. Толпа вздрогнула, шарахнулась по стенам. Пахомиха добежала к столу, ударилась руками о шинель, укрывшую труп мужа и сразмаху ткнулась ему головой в живот. Труп колыхнулся и будто охнул. Толпа передернулась... Пахомиха бессильно сползла с шинели на пол, грохнулась в обмороке. Никто не двинулся с места. Она лежала недвижная и, казалось, бездыханная. Так прошла минута.

— Мама... Мамочка, — склонился к ней Петька.

Пахомиха молчала. Два малыша все сидели в углу, закутанные в хламье и недоуменно взглядывали, как зверки, маленькими, острыми глазенками. Как мать вошла — они за толпой не видали, как она вскрикнула страшным криком — они не узнали и только, перепуганные, сжались плотнее друг к дружке. Теперь же, услышав Петькин голос над матерью, словно по уговору — скинули мигом одеялишко и босые, в нанковых рубашенках, побежали к столу, цепляясь за ноги стоявших, царапаясь и плача:

— Мама... Мама, — запищали они, взмахивая ручками, подбежали к Петьке, уцепились за него и дрожа, от холода, зеленые и жалкие — переступали по холодному полу босыми ноженками.

— Детей... возьмите детей, — сказал кто-то от стены...

— Увести ребят, — разве так можно?..

Две женщины подступили и хотели увести ребятишек снова в угол к одеялу, но те пронзительно закричали и, уцепившись за материн подол, отбрыкивались нервно ноженками...

— Доктора надо — помрет Пахомиха...

— Чего дьяволы не едут, нет их, где надо...

— Ишь ты, помочи нет никакой...

Толпа наливалась негодованьем...

Но за доктором никто не торопился.

— Греч, ты бы сбегал, — шепнул ему Павел, — а я тут что-нибудь с матерью...

Греч протискался к двери, а Лужский подошел к недвижно лежащей женщине и пощупал чуть дрожавшее сердце:

— Товарищи, воды бы, што ли...

И когда принесли воду — он смочил свой носовой платок, распахнул грудь Пахомихи и бережно приложил его всей раскрытой ладонью.

У дальней стены, что ближе к двери, послышался какой-то торопливый шопот. Все обернулись туда.

— Это што, подлецы, делаете? — сказал кто-то внятно и полным голосом. И все заговорили громче.

— Кто его пустил?.. Чей такой?..

— У нищего суму... Суккин сын...

Павел приподнялся и увидел, как прижали к стене того рябого парня, что их проводил сюда. У парня в руках маленький узелок, весь осыпанный мукой...

— Что это?

— Из-под стола украл... муку украл... — зашелестело по всем углам, и толпа сдвинулась в сторону рябого парня...

— Убить такую гаду...

— А чего жалеть!.. знамо дело...

Парень стоял безмолвный и бледный, он было торкнулся к двери, но толпа перегородила дорогу.

— Убежать. Нет, мы те не дадим...

— Мы те покажем, хамово отродье!..

В комнате гвалт. Все кричали гневно и громко. Про покойника, про детишек, про Пахомиху словно и забыли.

— Выбросить из окна...

— Голову оторвать стервецу...

Парень огромный и неуклюжий распластался по стене и зорко выглядывал, где ловчее укрыться... Потом он вдруг кинулся к двери и сразу сшиб троих, что стояли около, но в этот миг кто-то вспрыгнул ему сзади, как собаченка на медведя, и впился руками в щеки. Парень выпучил глаза и на миг застыл, — в это время спереди здоровенный удар ахнул ему по левому глазу.

— Товарищи, товарищи, что вы делаете?!.— вскрикнул Павел, но его отбросили назад и, плотно сомкнувшись, отмяли к столу.

Налитая гневом, разъяренная, впилась толпа в очумленного парня, кто-то схватил его за руки, кто-то, сшвырнув фуражку, уцепился крепко за лохматые волосы, вскинутые кулачища с плеском и гулом били по лицу, по голове...

Парню не давали спуститься на пол, его подпирали под бока и били стоя.

Синее и бледное лицо было все измазано в крови, взлохмаченна голова бессильно опустилась на бок. Толпа зверела. Кровь приводил в еще большую ярость... Каждый рвался вперед, чтоб скорей ударить И вдруг широкий бородатый мужик кокнул парня с полного маху толстоі палкой по голове... Все смолкли вмиг. В комнате встала тишина. Парня выпустили из рук, и он, как мешок, отвалился на пол. Широкий мужик медленно проплыл через притихшую толпу и ушел через дверь. Парень лежал на скользком кровавом полу и обе руки были вытянуты вперед словно он кого-то о чем-то просил...

— Убили, — проползло по толпе мертвое слово.

— Неужто вовсе?

— Совсем побили... Зверь народ...

— Господи-господи... дело-то какое, — зашептали с разных концов... — Дело-то какое... человека убили...

Мужики сначала стояли молча, потом помалу заговорили и они:

— Зря это все... К чему убивать было?!. Вор и вор — мало ли воров! В участок надо... Правильно... Известно, в участок... Теперь разбирай вот... Ушел убивец-то...

И всем стало легче, когда сказали про убийцу. Выходило так, что никто и не виноват, словно и не все били, а только вот тот широкоплечий мужик, что с дубинкой.

— Надо бы держать его...

— Да, держи теперь!.. Найдешь...

Один за другим уходили из комнаты и когда оставшиеся увидели, что толпа поредела — словно уговорившись — всею толпой тронулись к двери. Комната осталась вдруг пустая. Только у стола все так же недвижимая лежала Пахомиха, около нее жались дрожавшие детишки с широкими испуганными глазами, стоял и трясущийся Петя, да, привалившись к столу, замер недвижимый, маленький, бледный Павел.

В двери входила милиция. Сзади снова чернела любопытная толпа.

Комиссар милиции составлял протокол. Павел что-то бессознательно рассказывал ему насчет убийства. Парня оттащили с середины комнаты и положили на стол вместе с Пахомовым. Пахомиху выволокли за дверь и куда-то отвезли. Павел уговорил Петюшку итти с собой. Ребят закутали и тоже взяли. Они вчетвером по лесенке через толпу выбрались на волю. Сели на извозчика. Павел увозил ребят с собой...

25/1-26 г.

За городом.

Как по уставу — штык не вправе
Заполнить ротный интервал,
Как по уставу — фронтом вправо
Погруппно город отступал.

Дома исчезли. Царство луж
И пустыри с лицом несвежим,
Изображая в красках глушь
Вошли в сырое побережье.

Дороги к берегам пусты,
Деревья перешли в кусты.

Дымились лачуги, с судьбою не споря,
По огородам чах репей,
И отлученные от моря
Тупели груды кораблей.

Без ропота — ржавые палубы сжав,
— Ветвистые мачты —
Они опустились, пошли в сторожа
К лачугам, лугам бродячим.

У всех навигаций единый закон:
Грузиться и плыть напролом,
Но если ты сдал и на слом обречен —
Ты будешь дружить с пустырем.

Над пароходною трухой
Костер мальчишки разжигали,
Но дым кривлялся, как глухой,
Но дым у ветра был в опале.

Голубоглазые сычи
Кричали ветру: прочь! не тронь!

Но этот ветер их учил,
Как нужно выпрямлять огонь.

Старуха собирала хворост,
Ее спина трещала,
Ее дыханье раскололось
На длинное и малое.

А дальше волны, разлетевшись,
Синели, синих трав наевшись.

Я кинул глаз по сторонам:
Синела нищая страна,
Лачуги, пароходный хлам.

И вдруг взглянули пустыри
Глазами, полными зари.

Из нищенских ножен
Сверкнуло мне лицо победы:
— Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.

— Пусть Петербург лежал грядой
Из каменных мощей,
Здесь будет вымысел другой
Переливаться в кровь вещей.

— Ветхий край ключи утра
Положит сам в ладонь
Вот этим детям у костра,
Играющим в огонь.

— Без крепостей, без крови водопадов,
Без крепостных — на своей покрой,
В мохнатые зыбей ограды
Они поставят город свой,
Приморский остов Ленинграда.

Н. Тихонов.

Васька Свист в переплете.

Посвящается В. Ч.

I.

Что происходило в пивной.

Как ни странно, но вобла была
(И даже довольно долго)
Живой рыбой, которая плыла
Вниз по матушке по Волге.

А горох рос вдоль степных сел,
И завитком каждым
Пил дождь, когда он шел,
А не то умирал от жажды.

Непохожая жизнь у них,
И разно бы надо есть их.
А к пиву во всех пивных
Их подают вместе.

И вобла слушает — поют
О Волге, ее отчизне.
А горох смотрит — люди пьют,
Как сам он пил при жизни.

Воблу ест и горох жует
Васька Свист, молодец и хват.
Черные краги, в петлице Добролет,
Во рту папироса Дукат.

Вдруг гороховый стал ком
В горле у Васьки Свиста:
В картузике с козырьком,
Картиночка, красота, —

Вошла, как будто бы отдохнуть,
(С нею никто не вошел),

И спокойно так говорит:—Кто-нибудь
Вытрите мне этот стол.

«Кто-нибудь» в грязном фартуке стол обтер,
Села она у стены.
Васька Свист глядит на нее в упор,
А она хоть бы хны.

На эстраду гитарный спец влез,
Дзинь-дзинькает так и так.
Разносят раков — деликатес:
Сорок копеек рак.

Васька Свист за соседний стол глядит
И, опутан гитарной игрой,
Двух раков берет в кредит,
Один, между прочим, с икрой.

Васька Свист на вид хотя и прост,
Но он понимает людей.
Он берет рака за алый хвост
И, как розу, подносит ей.

Рвись, гитара, на тонкой ноте!
Васька Свист, любовь тая:
— Отчего, говорит, вы не пьете,
Гражданочка вы моя?

И вот за столиком уже двое.
Ах, ручка — живой магнит.
Ах, картузик, зачем он так ловко скроен,
Зачем он так крепко сшит?!

И вобла, рыбьи глаза сузив,
Слушает час под-ряд,
Что говорит шерстяной картузик
И что папироса Дукат.

Картузик шепчет: — Решайся сразу.
Ты, видать, таков.
Вырезать стекло алмазом —
Пара пустяков.

Зашибешь, говорит, классно,
Кошельки готовь.

Ты, говорит, возьмешь, говорит, себе,
говорит, кассу,
И, говорит, мою, говорит, любовь.

Звенит-рассыпается струнный лад.
Гороховый говорок.
Выходит за дверь папироса Дукат.
И рядом с ней козырек.

II.

Что сказал милиционер своему начальнику.

Нога шибко болит. За стул
Спасибо, товарищ начальник.
Стою это я на своем посту,
А пост у меня дальний.

Стою в порядке. Свисток в руке.
Происшествий нет. Луна тут.
(В эту пору в березняке
До чего соловьи поют!)

Вдруг вижу: идет с угла
(А я отродясь не пил),
Женщина в чем мать родила,
На голове кэпи.

Годов, примерно, двадцати.
— Ну, думаю, однако...
А она: — Яшенька, не свисти, —
А я, как на грех, Яков.

Голос нежный. Глазища — вот.
Руку, товарищ начальник, жмет,
Девушка — первый сорт.
Эх, думаю, чорт.

Делаю два шага.
Вдруг, слышу, стекло — звяк.
Бросил девку, схватил наган,
Эх, думаю, дурак.

Кинулся за дрова.
Здесь, думаю, где-нибудь.

Он — выстрел. Я — два.
Он мне в ногу. Я ему в грудь.

Дело его слабо.
Я же, хоть я и цел,
Виновен в том, что бабу
Я не предусмотрел.

III.

Что сказал в больнице дежурный врач.

Пульс сто двадцать.
Сердечная сумка задета.
Начнет задыхаться —
Впрыскивайте вот это.

Хоронить еще рано,
Лечить уже поздно.
Огнестрельная рана.
Положенье серьезно.

IV.

Что говорил перед смертью Васька Свист.

Поглядела карым глазом:
— Ты, видать, таков. —
Вырезать стекло алмазом —
Пара пустяков.

Что касается бокса —
Я, конечно, на ять.
Почему я разлегся,
Когда надо бежать.

Потихоньку вылазьте,
Не споткнитесь, как я.
Дайте ручку на счастье,
Золотая моя.

Как ее имя?
Держи его... Стой...
Восемь гривен
Я должен в пивной.

Крышка... Убили...
Главное — жжет.
В плохой ты, Василий,
Попал переплет.

V.

Что было написано в газете.

Ограбленье склада (петит)
Обдуманное заране.
Товар найден, Грабитель убит.
Милиционер ранен.

Вера Инбер.

Моя жизнь [1].

Будто жизнь на страданья моя обречена;
Горе вместе с тоской заградили мне путь;
Будто с радостью жизнь навсегда разлучена,
От тоски и от ран истомилася грудь.

Будто в жизни мне выпал страданья удел;
Незавидная мне в жизни выпала доля.
Уж и так в жизни много всего я терпел,
Изнывает душа от тоски и от горя.

Даль туманная радость и счастье сулит,
А дойду — только слышатся вздохи да слезы.
Вдруг наступит гроза, сильный гром загремит
И разрушит волшебные, сладкие грезы.

Догадался и понял я жизни обман,
Не ропщу на свою незавидную долю.
Не страдает душа от тоски и от ран,
Не поможет никто ни страданьям, ни горю.

Сергей Есенин.

1911—1912.

[1]) От редакции. Стихи Сергея Есенина взяты из его ученической тетради Он писал их будучи учеником Спас-Клепиковской второклассной учительской школы Стихи относятся к 1911 — 1912 годам. Они предоставлены в распоряжение редакции учителем Е. М. Хитровым. Наивные и школьнические по форме, они знаменательны тем, что уже в них даны основные лейтмотивы хорошо всем известных настроений поэта

Что прошло — не вернуть.

Не вернуть мне ту ночку прохладную,
Не видать мне подруги своей,
Не слыхать мне ту песню отрадную,
Что в саду распевал соловей.

Унеслася та ночка весенняя,
Ей не скажешь: — Вернись, подожди.
Наступила погода осенняя,
Бесконечные льются дожди.

Крепким сном спит в могиле подруга,
Схороня в своем сердце любовь.
Не разбудит осенняя вьюга
Крепкий сон, не взволнует и кровь.

И замолкла та песнь соловьиная,
За моря соловей улетел,
Не звучит уже более, сильная,
Что он ночкой прохладною пел.

Пролетели и радости милые,
Что испытывал в жизни тогда.
На душе уже чувства остылые.
Что прошло — не вернуть никогда.

Сергей Есенин

1911—1912.

Оркестр.

Уже кончали четвертый акт.
Бинокли метались, как молнии. Зорко
Смотрели с галерки. И музыка в такт
Ласкала актеров, партер и галерку.

Молчал дирижер и гремел монолог,
Дыханье было задержано в легких,
Когда из-под сцены, змеею, дымок
Прополз к декорациям, тонкий и легкий.

Сначала никто не заметил огня
И до появленья пожарного с лампой
Гремел монолог, инструменты, звеня,
Бросали кусками веселье за рампу.

Но крик бранд-майора игру оборвал
На смутном обрыве взметенного чувства.
Сполз занавес наполовину, и зал
Напрягся, как прут, надломился, — и хрустнул.

Все бросились вон от насиженных мест,
На лестницу, к дверям, от запаха гари,
Но паника выросла наперерез
Бегущим и мнущим испуганным тварям.

Тогда-то взлетели смычки и оркестр
По сводам горящего зала ударил.

Про дым и пожар позабыл дирижер,
Склонился над пультом, без дрожи и страха,
И выросла в невозмутимый мажор
Спокойная ширь оратории Баха.

До давки в дверях докатилась волна,
Легла на полу, успокаивать стала,

И люди очнулись. Так после вина
Вину сознают, ощущают усталость.

На улицу вышли калош не забыв,
Шатаясь слегка от жары и угара...
А в зале уж рухнули пол и столбы
И выходы были объяты пожаром.

Обвалы рождали невиданный треск,
Огонь древесину глотал, как обжора...
А где-то внизу, надрывался оркестр,
Не сбившийся с радостной ноты мажора.

Николай Дементьев.

Дзержинский.

Он был карающей десницей революции.

Революция вручила ему свой пламенеющий меч, приказала:

— Иди, рази и устрашай врагов моих.

Он устрашал и разил.

Он прошел, озаренный багровыми огнями революционных битв.

Суровый, отважный воитель, он не отступал, не уступал, не оступался.

Он верил, хотел и знал.

Он верил в неиссякаемое творчество многомиллионного рабочего люда, он хотел торжества величайшего идеала, идеала коммунизма, один закон он знал и считал непреложным в нашу эпоху — закон революции, ее высшую меру всех мер и правду всех правд.

На почетном, страшном и кровавом секторе революционного фронта, где он стоял, были неот'емлемы: твердая решимость, неукротимая бдительность, великая тревога, дисциплина, неподкупность и честность, скромность, готовность принять на свои плечи неизбежное.

Такими свойствами он обладал до конца своих дней.

Мы знаем, что говорили и писали «они» о делах его у нас и за границей. С его именем связывали самые мрачные легенды, его изображали ненасытным и кровожадным истребителем, исчадием ада. Он сам рассказывал:

Одно время в зарубежных газетах усиленно писали, что при допросах я лично пытаю обвиняемых, зажимая в особую машину их пальцы до крови из-под ногтей. В кабинете у меня на столе действительно стояла машинка для очинки... карандашей.

Дрожащая обывательская тварь, опустошенные душонки, сладострастные любители ужасов и ужасиков, выродки и пошляки, сплетники и люди себе на уме, осатанелые от злобы враги революции сочиняли, жадно подхватывали, распускали эти и подобные

«достоверные сведения», передавали их страшным и подлым шепотком на углах и задворках.

Но мы сохраним о нем свою правду и передадим ее грядущим поколениям.

Он руководил ВЧК и ГПУ.

Он ответственен за содеянное ими.

Но он творил лишь волю пославших его. Он был лишь точным и верным исполнителем рабочей диктатуры и своей, нашей партии.

За все содеянное им отвечает революция.

За все содеянное им отвечает диктатура пролетариата.

За все содеянное им отвечает наша большевистская партия.

Только неизмеримая обывательская тупость и глупость, только происки врагов революции делали Дзержинского персонально ответственным за террор и казни.

Ни одного шага, ни одного акта не совершал он без ведома, без санкции, без мандата своей партии и республики Советов.

И мы гордимся нашим мужественным, нашим славным, нашим неутомимым товарищем.

Он хорошо отражал и предупреждал натиск врага.

Он не мстил, он оберегал, охранял революцию. Он отвечал лишь на бешеный террор, на изуверства противника.

Революция в нашу эпоху — это большевизм.

Дзержинский до последних сил защищал знамя большевизма, его заветы, традиции, завоевания.

Да, его боялись. На то он был и поставлен. Его должны были бояться и пугаться те, кто заносил свою руку над Октябрем, над страной советов, над братским единением рабочих. Но его не боялась, а лучшим своим другом почитала революция, миллионы людей, впервые утверждавшие свои исконные надежды.

Вот почему наша революция неразрывно связана с Дзержинским, вот почему он неразрывно связан с революцией.

Не настало еще время во весь рост дать образ Дзержинского.

Но одно сейчас же безотлагательно нужно отметить.

Решимость, беспощадность ко врагу, твердость, неустрашимость, энергия соединялись в Дзержинском с мягкими личными качествами.

Есть содержательный смысл в рассказе, как мечтал он во дни наших побед над польской шляхтой заняться в Варшаве делами Наркомпроса. Лично он всегда тяготел к мирной культурнической работе. И не даром он с такой горячностью, с такой готовностью,

страстностью и плодотворностью занялся в последние годы работой в транспорте и в народном хозяйстве.

Путь ВЧК и ГПУ для него не был легким. И думается, до последних своих дней он ощущал это личное противоречие — мирные, мягкие черты своего характера и суровую подвижническую обстановку карательного органа революции.

Он был беспощаден ко врагам, к изменникам, к ренегатам, к преступникам.

Но он не знал пощады и к преступлениям, к разгильдяйству со стороны своих.

Гигантскую, нечеловечески-трудную работу совершил и выполнил он, организуя, подбирая, очищая ряды ВЧК и ГПУ.

Нужно вспомнить недавние прошлые годы:

Козни и хитросплетения буржуазных государств, белобандитское и союзное окружения, союзы спасения, заговоры, восстания, шатания в тылу, голод и холод, в сумятице революции возникающие органы Советской власти, самочинные действия, распущенность, мелко-буржуазную стихию, потоки случайно связанных с революцией людей, авантюристов, проходимцев и искателей легкой поживы...

Нужно вспомнить, что во дни лево-эсеровского мятежа Дзержинский был арестован своими же работниками, членами партии левых эсеров.

А революция властно требовала, чтобы именно здесь, в ее карательных, истребляющих, преследующих иногда по полустертым следам рядах прежде, раньше всего были сорганизованы, подобраны крепкие, вымуштрованные, строгие, решительные, самоотверженные кадры, люди без страха и упрека.

Ибо там, где смерть и кара, на каждого работника ложится особо тяжелая ответственность.

Этот подбор сделал тов. Дзержинский своей неутомимостью, своей работоспособностью, своей честностью и нелицеприятием.

Он наложил на окружавших его работников свой отпечаток, свой закал и облик.

В этом нет никакого преувеличения.

Он не знал пощады и к себе. Он не жалел себя.

Долгий страдный путь политического каторжанина в царских тюрьмах, в поселенческой ссылке, суровую и прекрасную дорогу революционного большевистского подполья он прошел так же упрямо, страстно, настойчиво, неутомимо и благородно, как и

другой путь во дни открытых битв с противником и работы на хозяйственном поприще.

Сердце революционного героя билось в этом скромном, горячем, всегда поспешающем «по делу» человеке, не знавшим усталости, сомнений, лишенном тщеславия и суеты, сердце героя и товарища.

Редеют испытанные, в бурях рожденные, в боях закаленные, единственные и несравненные ряды большевистского краснознаменного ордена. Уходят могикане, уходят главные организаторы побед, люди неукротимой отваги, воли, революционной страсти, маршалы революции, ее кровные лучшие дети. «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире лучших гвоздей». Уходят в боях, в ранах, не во-время, стоя на сторожевых участках и вышках. Но у них, после них уже есть вечный памятник —

страна советов,

страна первой кладки социализма,

страна мощного единства трудящихся, —

лучшая песнь, поэма, героическая повесть.

«Их могилы песками не занесть».

Среди таких могил одна из самых памятных — свежая могила Дзержинского.

Его памяти.

Дм. Сверчков.

> «Я не щажу себя никогда..»
> (Из последней речи Ф. Э. Дзержинского).

Высокий, худой, в солдатской шинели и картузе, в гимнастерке и сапогах, с толстым потертым портфелем в руках, спешащий и торопливо отвечающий на приветствия, — таким помнят Ф. Э. Дзержинского тысячи людей, которым пришлось видеть его мельком.

Вдумчивый, с глубокими серыми глазами, изможденным от переутомления лицом, с слегка надтреснутым слабым голосом, застенчивый, заботливый о других и никогда не говорящий о себе, вникающий во все подробности самого сложного дела, берущий на себя самую тяжелую работу, схватывающий на лету суть самого трудного вопроса, внимательно выслушивающий доклады и вдруг вставляющий остроумное замечание, оживляющее сухие цифры, — таким он жив в памяти тех, кто был его сотрудником.

Революция гордится многими героями. Но среди них исключительное место занял он, ушедший с боевого поста, на который стал он 17 лет от роду и на котором оставался 32 года, до последней минуты своей жизни.

Ф. Э. Дзержинский написал свою биографию. Когда видишь перед собой эти три странички, в которых он сам отразил свою исключительную жизнь, в которых все изложено с такой неповторяемой скромностью, то чувствуешь, что своей простотой этот документ занимает выдающееся место в истории.

Огромное содержание, которое заключается в каждой фразе его автобиографии, будет раскрыто во многих толстых хороших книгах, по которым борцы революции во всем мире станут учиться, как должен жить и бороться преданный партии и рабочему классу революционер.

Ф. Э. Дзержинский неповторяем. Его создала свирепая эпоха русского самодержавия, его закалила царская каторга, его освободила из тюремного каземата революция, отдавшая после Октября 1917 г. в его руки меч защиты Советской власти, доверявшая ему самые ответственные и трудные посты.

Феликс Эдмундович Дзержинский родился в 1877 году, учился в гимназии в Вильне и, будучи в 7 классе, вошел в с.-д. кружок саморазвития

| 1895 году — через год — он вступил в Литовскую с.-д. партию и, учась ...м, начал вести кружки ремесленных и фабричных рабочих.

«Из гимназии выхожу сам добровольно в 1896 г., считая, что за верой ...лжны следовать дела, и надо быть ближе к массе и самому с ней учиться». Так писал сам Ф. Э. Дзержинский о начале своей революционной деятель...ости.

С 19 лет, когда его сверстники мечтали о карьере, о высшем учебном ...ведении, когда он сам стоял перед получением диплома, который открывал ...му двери университета, он выбрал иной путь: вышел из гимназии и пошел ...уществлять революционную работу в массы. Тюрьмы, ссылки, каторжные ...андалы, быть может, смерть на виселице или на баррикаде, — вот что пред...очел он сытому существованию привилегированного интеллигента.

«В то время у нас в организации шла борьба между интеллигенцией ...рабочими верхушками, которые требовали, чтобы их учили грамоте, общим ...ниям и т. д., а не совались не в свое дело, в массы, — пишет дальше ... Э. Дзержинский. — Несмотря на это, мне удалось стать агитатором и ...роникать в совершенно нетронутые массы — на вечеринки, в кабаки, там, ...е собирались рабочие».

«Мне удалось»... За этими двумя словами скрывается огромная борьба ...недоверием к интеллигентам, которое существовало тогда среди рабочих. ...место этих двух слов, современники по тогдашней работе т. Дзержин...ого расскажут об исключительном его таланте, как пропагандиста, аги...тора и организатора, об огромной популярности, приобретенной им с пер...х же шагов на работе среди масс в этой неблагоприятной обстановке, ...умелом подходе к совершенно незатронутым революционным движением ...бочим, которых т. Дзержинский вытаскивал из кабаков в революционные ...ужки...

Мы, знавшие Ф. Э. Дзержинского в последние годы, уже после Октябрь...й революции, понимаем, в чем заключался секрет его успеха. Феликс ...мундович до самого последнего часа своей жизни оставался таким же, ...им был тогда. До последних дней незнакомые с ним люди, шедшие к нему ...едоверием и страхом, выходили от него полные обаянием этого исключи...ьно чуткого человека, готовые беспрекословно подчиняться его ука...иям и чувствуя искреннее к нему расположение.

Я был свидетелем бесед Феликса Эдмундовича с железнодорожными ...очими в Сибири в начале 1922 года. Они приходили к нему с протестами ...тив ничтожной заработной платы и против казавшихся им непосильными ...бований производственной программы. И нескольких минут разговора было ...аточно, чтобы личные интересы их совсем исчезли из поля зрения и ...бы они превратились незаметно для самих себя в его собеседников, ...тых вместе с ним одной задачей: как при нищенской заработной плате ...луразрушенных орудиях производства осуществить в наискорейший срок ...оданные задания, как их даже увеличить в той или иной части...

В партийной организации быстро поняли, каким крупным работником ...тся молодой Дзержинский, и ему в 1897 г. поручают поехать в Ковну, —

крупнейший промышленный центр Литвы, — где не было ни одной с.-д. ячейки. В своей автобиографии Ф. Э. Дзержинский умалчивает о том, что он создал там первую партийную организацию и отмечает только: «Здесь пришлось войти в самую гущу фабричных масс и столкнуться с неслыханной нищетой и эксплоатацией, особенно женского труда. Тогда, — скромно прибавляет он, — я на практике научился организовывать стачки».

Через несколько месяцев его арестовывают и, после заключения, высылают на 3 года на север Вятской губернии.

«В 1899 г. на лодке бегу оттуда, так как тоска слишком замучила», пишет т. Дзержинский.

Он приезжает в Вильну и продолжает революционную работу. Его отправляют за границу, но он достает по дороге чужой паспорт и едет в Варшаву.

В начале 1900 г. т. Дзержинского вновь арестовывают и через два с лишним года тюрьмы высылают на 5 лет в Восточную Сибирь. Он вновь бежит с дороги в Вилюйск (из Верхоленска) на лодке, поселяется за границей — в Кракове, — откуда осуществляет связь между заграничной и русской частями партийной организации, борясь против всяких проявлений национализма, наезжая много раз для революционной работы в русскую часть Польши, а с января 1905 г. переезжает в Россию совсем. В июле его в третий раз запирают в тюрьму. Октябрьская революция 1905 г. освобождает его оттуда. В конце 1906 г. его арестовывают вновь, в июне 1907 г. освобождают под залог, в апреле 1908 г. он попадает в пятый раз в руки жандармов, его судят, приговаривают к лишению всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на поселение по двум делам, в конце 1909 г. ссылают в Сибирь, откуда он — через неделю — бежит за границу, живет вновь в Кракове, наезжая в Россию, в 1912 г. вновь переезжает в Варшаву, где его 1 сентября опять арестовывают и приговаривают к 3 годам каторжных работ, в 1914 г. перевозят в Орел, где он отбывает каторгу, а после этого пересылают в Москву, где в 1916 г. вновь судят за партийную работу периода 1910—1912 г.г. и прибавляют еще 6 лет каторги.

Февральская революция 1917 г. освободила его из Московского централа.

Таковы первые 40 лет жизни и первые 23 года революционной деятельности Феликса Эдмундовича Дзержинского.

В партийном подпольи, в рабочих революционных кружках и организациях, в тюрьмах, на каторге, в Сибири, в побегах, осуществляемых для возобновления революционной работы, без которой т. Дзержинский не мыслил жизнь, выковался и закалился его стальной характер, ни разу не согнувшийся перед царскими палачами, ни разу не поколебавшийся при самых тягчайших испытаниях и жестокостях, которым его подвергали тюремщики.

Он мало рассказывал об этом периоде своей жизни. Слишком яркой была его деятельность, и он, ненавидевший рекламу, старался молчать о своем славном прошлом. Лишь иногда удавалось услышать его рассказы об отдельных эпизодах его тогдашней работы.

Как-то раз, в январе 1922 г. в Сибири мы обсуждали вопрос о борьбе взяточничеством. Феликс Эдмундович вдруг призадумался, потом улыб-лся и сказал:

«А знаете, я раз тоже дал взятку... Было это в 1912 году, когда я, сле побега из Сибири, работал нелегальным в Варшаве. Охотились тогда нами, но все сходило благополучно. Места жительства постоянного у меня было, приходилось шататься по ночевкам. Однажды я шел по улице, и дмышкой и в карманах у меня были свертки прокламаций. На мне была дета накидка, вроде морской. Под ней очень удобно скрывать ношу. руг на одной из глухих улиц меня сразу под руки подхватывают два ика. — «Идем в полицию для удостоверения личности»... По тому, как они о сделали, я понял, что они не знают, кто я, и специально за мной не отились. Весь мой капитал состоял из двух золотых пятирублевиков. ынул один и украдкой показываю его правому шпику. Тот кивнул головой, показал глазами на левого. Тогда я молча показываю пятирублевик ле-му. А тот кивает на правого. Подошли мы к большому дому с воротами, хожу в ворота вместе с ними и, держа в каждой руке по золотому, про-иваю из-под накидки правой рукой монету левому шпику, а левой рукой — шому. Взяли оба, а я повернулся и ушел...»

Когда после Октября 1917 года Советская власть оказалась извне и нутри под ударами многочисленнейших врагов, меч защиты революции был чен т. Лениным Ф. Э. Дзержинскому. Он стал во главе ВЧК. Тягчайшее него время! Ему пришлось напрячь весь свой организаторский талант, свою неисчерпаемую энергию, чтобы, под беспрестанными ударами врагов летарской революции, создавать, одновременно борясь, организацию аны власти трудового народа на пространстве одной шестой части всего ного шара. От ВЧК уже требовалась ежедневно и ежечасно боевая на-женная работа, борьба с хорошо организованными и располагавшими мадными средствами подпольными контр-революционными заговорщиками. . Дзержинский сумел подобрать себе сотрудников и вполне справился гой огромной задачей. Он жил в ВЧК, и его комната представляла собой азец простоты. «Все — для партии и для революции, и ничего — для » — вот девиз, под которым он прошел свой жизненный путь, ни разу зменив ему даже в мелочах.

Мне пришлось работать с Феликсом Эдмундовичем в Народном Комис-ате Путей Сообщения. Впервые я узнал его, когда он приехал в конце 1 г. в Сибирь с особыми полномочиями от ВЦИК и Совета Труда и роны для организации вывоза семенного и продовольственного хлеба раженное голодом Поволжье.

Я встретил его с докладом о положении Омской дороги, комиссаром рой я был в то время. Он выслушал меня внимательно, задал целый вопросов, а когда я попросил у него указаний, то он ответил:

— Вы напрасно думаете, что я могу давать вам указания. Я приехал омиться с транспортом и буду сам спрашивать указаний по целому ряду осов, в которых еще очень плохо разбираюсь.

Впоследствии он говорил мне, как много дало ему пребывание в Сибири в этом отношении, что он возвращается в Москву, получив значительное знакомство с железнодорожным хозяйством, и будет чувствовать себя в НКПС в этой области гораздо тверже, чем раньше.

В Сибирь Феликс Эдмундович приехал больным. Врачи требовали строгого выполнения диеты в пище. Заботы об этом взял на себя сотрудник тов. Дзержинского по ВЧК. Однажды, когда я сидел вдвоем с Феликсом Эдмундовичем в его вагоне, товарищ принес ему стакан молока. Феликс Эдмундович смутился до последней степени... Он смотрел на молоко, как на совершенно недопустимую роскошь, как на непозволительное излишество в тяжелых условиях жизни того времени.

Белогвардейцы и буржуазия сосредоточили на т. Дзержинском самую бешеную ненависть. В заграничных газетах и журналах на него взводили самые чудовищные обвинения. Но ни один даже из самых заклятых его врагов и ненавистников никогда не упрекнул его в каких-либо излишествах, не заподозрил его величайшую честность.

Отличительной чертой Феликса Эдмундовича была его доброта. Те, кому не приходилось встречать Феликса Эдмундовича, не хотели и не хотят верить этому. Беспощадный к себе, он был полон заботливости и внимания к другим. Непримиримый враг врагов революции, он был ближайшим другом всех, кто работал для укрепления Советской власти, кто принадлежал к трудовому населению.

Как сочетать эту его доброту с его должностью председателя ВЧК и впоследствии ГПУ?

Да, он твердою рукою опускал карающий меч революции на головы ее врагов. Опускал, понимая, что каждое послабление повлечет за собой гибель тысяч рабочих и крестьян, что от быстроты и решительности действий зависит сокращение заговоров против трудового народа, гражданской войны, разрушения нашего хозяйства, бедствий для нашей страны. Но и по отношению к врагам Советской власти он был справедлив. Достаточно было намека на надежду к исправлению, чтобы он щадил человека и ставил его в условия, которые могли бы помочь ему сделаться полезным гражданином Советского государства.

Сохраняя от разрушения во время гражданской войны и внутренних заговоров и волнений народные богатства всеми своими силами, всей мощью созданного им аппарата ГПУ, тов. Дзержинский с переходом к мирному строительству бросился работать в самые важные и самые трудные и сложные отрасли нашего хозяйства: на транспорт и, потом, когда дело восстановления путей сообщения стало на твердую почву, — в Высший Совет Народного Хозяйства.

Тов. Дзержинский — народный комиссар путей сообщения. Многие при назначении его на этот пост кривили губы скептической усмешкой и говорили: «А разве он инженер? Что он понимает в железных дорогах?».

Но т. Дзержинский прежде всего поставил целью дать возможность работать в свободных условиях специалистам транспорта, а сам взялся за

зрешение главнейшей задачи: увязать транспорт со всей нашей промышленностью и сельским хозяйством, поставить его развитие в соответствие требованиями, возлагаемыми на него страной, сделать так, чтобы все хозяйственники относились к транспорту не как к посторонней им организации, как к своей, от которой зависят и их собственные успехи. Теперь эта ысль кажется такой простой и очевидной. Но эта ее простота и является ним из доказательств ее гениальности. Ведь нигде в мире нет социалиической промышленности, кроме СССР, нигде транспорт не представляет не может представлять собою такого огромного государственного регуляора развития народного хозяйства, как в нашей стране. И нигде задачи егоснейшей связи со всеми видами государственного хозяйства не стоят такой плоскости, как у нас.

Много долгих часов потратил Феликс Эдмундович в Сибири для того, тобы об'яснить мне, рядовому работнику железной дороги, эту свою мысль чтобы разработать те формы, в которых увязка транспорта со всем хозяйством должна быть осуществлена. Результатом проведения его плана илось раскрепощение железных дорог от власти НКПС в смысле предоставления им хозяйственной самостоятельности и создание правлений на дорогах, и чем в число членов правлений вошли на-ряду с железнодорожниками и которые представители крупнейших отраслей государственного хозяйства йона, охватываемого дорогой.

Уйдя в 1924 г. из НКПС в ВСНХ, Феликс Эдмундович не порвал связи транспортом. Впрочем, он нигде и никогда не был представителем какогобо ведомства и, наоборот, всюду и всегда руководствовался интересами его СССР, хотя бы они и шли вразрез с узкими интересами того Комиссаата, во главе которого он стоял.

Результаты проведенных Феликсом Эдмундовичем на транспорте рерм очевидны. В 1921 году, когда т. Дзержинский стал во главе НКПС, не могли и мечтать, что к 1926 году будем иметь те огромные достижения, кие теперь на-лицо перед нами.

Но на всех постах, при всех обстоятельствах Ф. Э. Дзержинский ни секунду не забывал, что он является членом Всесоюзной Коммунистичей Партии, и указания партийных организаций были для него непреклонм законом.

Его требования по отношению к членам партии были гораздо более югими, чем к беспартийным.

Я помню, как в Сибири, во время острого кризиса с топливом, он был бочен выработкой точных норм расхода угля на маневровые паровозы. числения, сделанные инженерами, его не удовлетворяли. Как раз ко мне атился один из членов Омского учкпрофсожа, машинист по профессии, редложением проверить на практике эти нормы. Он сел на паровоз и изводил в Омском узле маневровую работу в течение почти 48 часов прерывно, тщательно отмечая расход топлива и принимая все меры к его номии. Полученные им данные опровергли все теоретические вычисления

в этой области. Топлива, как он выяснил, требовалось гораздо меньше, чем проектировалось по норме.

Я сообщил т. Дзержинскому об этом. Он крайне заинтересовался и привел доклад о достижениях этого товарища на общем собрании железнодорожников, работавших на Омской ж. д. и в Сибирском округе путей сообщения. Цифры этого доклада легли в основание новых вычислений норм расхода топлива. А когда я спросил Феликса Эдмундовича, не находил ли он нужным чем-нибудь вознаградить этого товарища, за бессменную двухсуточную добровольную работу, хотя бы путем издания специального приказа, он сказал:

— А он партийный?

Я ответил утвердительно.

— Тогда ничего не нужно. Он исполнил только свой партийный долг.

Передо мной несколько писем т. Дзержинского, написанных им мне. Когда он находил время писать? Не знаю, но он аккуратно и исчерпывающе раз'яснял в письмах свои мысли по важнейшим вопросам нашего транспортного хозяйства. И всюду и везде в письмах первая забота его была об обеспечении партийного влияния на транспорте.

... «Упразднение института комиссаров никоим образом не должно обозначать умаление роли коммунистов. Наоборот. Без преданных делу коммунистов транспорт пропадет...» (от 15 апреля 1922 г.).

... «В своем докладе ЦК (посылаю его вам) я отметил ту роль, которую коммунисты должны играть на транспорте. Эту роль во что бы то ни стало надо обеспечить, — они должны быть хозяевами на дороге. Как это обеспечить — в этом вся суть и задача уполнаркомпутей. Рецепта для всех не придумаете. Эту задачу надо осознать твердо и дать ее вам — местным руководителям и местным партийным центрам. Наш центр (НКПС) должен места раскрепостить, — это главное. И места должны воевать активно за эти свои права... Вы должны намечать коммунистов б. комиссаров на административно-хозяйственные и на технические должности и быть самому хозяином у себя. Овладейте целиком административным отделом, подбирайте красных спецов, поощряйте лойяльных и работящих, свяжитесь и инструктируйте транспортный отдел ГПУ, чтобы работал на вас, наметьте себе линию и упорно шаг за шагом проводите ее... Ни один коммунист не должен с транспорта уйти — вот наш лозунг...» (от 20 апреля).

Таковы те боевые директивы, которые письменно и устно получали от т. Дзержинского работники транспорта. А когда мы являлись к нему с личным докладом, он задерживал нас у себя, требуя ответа на детальнейшие вопросы о работе округа и дорог.

Он ненавидел похвальбу и фантазерство. Помню, как после моего доклада о положении и работе Петроградского округа путей сообщения, куда он меня перевел, когда я изложил ему главные неурядицы и плохие стороны работы округа, он, улыбаясь, сказал:

— Хотя вы и похожи на унтер-офицерскую вдову, которая сама себя секла, но доклад ваш построен вполне правильно. Останавливаться сейчас

на тех работах, которые идут хорошо, не надо. Справляетесь — и ладно. Говорите мне пока только о тех вопросах и недохватках, которые требуют моего вмешательства. И хорошо, что не скрываете, а сами выдвигаете в первую голову ваши ошибки и недочеты.

Он был полон сам и заражал всех исключительной бодростью и неутомимостью и безграничной верой в творческие силы рабочего класса. Разговор с ним был равносилен хорошему отдыху. После встречи с т. Дзержинским появлялась вдесятеро большая энергия для работы и казались легче преодолимыми те огромнейшие трудности, которые стояли кругом на пути к восстановлению нашего хозяйства.

Его огромное значение в революции еще больше подчеркивалось его исключительной скромностью. Он никогда не говорил о себе. И только во время его последней речи у него вырвались слова, поставленные мною эпиграфом к этой статье: «Я не щажу себя никогда».

Разгром на Дунайце.

(Глава из книги «По следам войны», т. II).

Л. Войтоловский.

I.

19 апреля 1915 г. Дует сильный, холодный ветер. На много верст по дембицкому шоссе растянулись обозы, парки, пешие дружины, понтонеры, саперы, телефонисты. И опять обозы, парки, двуколки и десятки тысяч людей, одетых в кожухи и шинели. Гул орудий под Тарновым сливается и временами совершенно тонет в скрипе и грохоте колес по шоссе. Людские голоса и конское ржанье превращают всю эту катящуюся лавину в одно гигантское тело с железной гортанью и разгоряченной бешеной кровью. Отжимая бесконечную вереницу тел и возов к самой обочине, мчатся с треском и ревом грузовики, автомобили и мотоциклетки. Лошади прядают ушами и дико храпят. Навстречу нам попадаются обозы с хлебом и сеном, гурты скота. Никто не знает, куда они едут, зачем? Дикие, свирепые крики, толкотня и долгий затор. Два встречных потока из ног, колес и хвостов наседают, лезут, орут и упрямо стоят на месте, друг против друга, как сцепившиеся рогами быки. Это солдаты 13-й бригады и сибирские стрелки, только что высадившиеся в Дембице и идущие туда, где так грозно рычат германские пушки.

— Откуда?

— Из-под Варшавы, из Сохачова.

— Куда?

— Не знаем...

Может быть, это то самое подкрепление, о котором так жадно мечтали усталые полки? А может быть... может быть, в самом деле немцам готовится ловушка?

Обе столкнувшиеся лавины упрямо стоят и топчутся и все же незаметно просачиваются в разные стороны.

За Дембицей шире шоссейная дорога и размашистей ход. В стороне четыре наших биплана стоят наготове. По счастью, сильный ветер мешает набегу вражеских летчиков. Иначе от одной бомбы были бы сотни жертв. Люди идут густой рекой. Достаточно ранить 2 — 3 лошадей, чтобы вспыхнула невообразимая паника, чтобы паника превратилась в страшное бедствие.

На лицах жителей злорадное изумление.

— На Краков тэнды (туда), — указывают они ехидно назад.

Иные робко осведомляются:

— Куда вы?

— Приказано удирать по 30 верст в час, — беззаботно отшучиваются олдаты. И тут же спрашивают:

— За кем лучше — за Россией или за немцем?

— Лучше з Россией, чем німець, — отвечают русины.

— Врешь! По носу вижу, что врешь...

— По куткам шепчетесь, на нас пальцем показываете. Рады, что усских бьют...

Идет мелкое мародерство. Бесцельное, наглое. С заборов снимают орбы, ведра, посуду. Забегают во дворы, шарят в крестьянских избах, абят дома, фольварки, местечки. И через 20 минут все награбленное летит од ноги грохочущему потоку. Бросают все, что берут: сорванные с окон исейные занавески, плюшевые скатерти, белье, самовары, кастрюли, граммофонные трубы, пластинки, вазы, щетки, горшки... Всё это запружает рогу, трещит под колесами и разжигает жажду погрома. Бросают одно, снова грабят лежащие по пути дома, и снова бросают... Кто станет тревать отчета у отступающей армии?

В обозе кубанских казаков треснуло колесо. Мигом сотни кубанских лодцов рассыпались по дворам и по полю и на арканах приволокли сятки крестьянских телег, за которыми с криком бежали испуганные жики. Кучи солдат, запружая дорогу, столпились, любуясь удалью марođров. Из некоторых дворов казаки притащили на возах растерянных вушек.

— У казачни ноздря на всякую... бабью раздувается, — весело комнтируют зрители.

— Що це русиньски бабы так до казаків ла́сы? — лукаво подмигивает орванный дружинник. — Мабуть вони думають, що от ніих и діты такие — кінем и шашкой, одразу... [1]).

Кругом на всем пути нашей армии идет бесцельный, бессмысленный бёж.

Каждая новая победа кубанцев на мародерском фронте вызывает общее обрение:

— Ловко! Казаки дремать не будут.

Вся дорога усеяна по обеим сторонам брошенным интендантским ром. Груды прессованного сена, овса, муки, консервов, бочки, ведра, ики. Интенданты упрашивают парки:

— Берите!.. Все равно пропадать... А у вас в ящиках пусто... Бросать ходится... Берите!..

---

[1]) И чего это русинские бабы так на казаков падки? Верно они думают, что них и дети так сразу готовыми казачатами родятся — верхом на коне и ашкой.

Но никто не берет. Воруют солдаты и население.

Дарить населению нельзя, дабы продукты не попали в руки противника. Солдатам тоже не велено давать из боязни, что солдаты будут продавать населению. Так и валяются сотни и тысячи пудов пшена, муки, консервов и сахара, обреченные на бесцельное истребление. Интендантство нашей дивизии умоляло заведующих хозяйством взять у него 170 пудов рафинаду. На долю нашей бригады предлагали 30 пудов. 1.200 артиллеристов нашей бригады легко могли бы рассовать по карманам и втрое больше. Но солдатам давать нельзя и строго-на-строго приказано командирам:

— Под вашей личной ответственностью, — никаких попущений!..

Только хлебопекарни да санитарные транспорты, которые едут порожняком, ломятся под грудами неожиданной благодати.

Солдаты поглядывают на горы консервов и мешки, охраняемые казаками от покушений, и злобно посмеиваются:

— Лучше собаке брошу, а у солдата изо рта выдеру.

— Сто лет вошь гоняй, а начальству мил не будешь.

Чем дальше от Дембицы, тем больше гусиных голов под ногами. Солдаты ловят кур и гусей и на ходу скручивают, отрубают, отсекают им головы. Воздух дрожит от птичьих криков. Отделенные гусиные головы лежат придавленные к земле, с разинутым клювом и вытекшими глазами. Ими отмечен весь путь отступления до Домбе. Район между Дембицей и Домбе издавна называют гусиным царством. Здесь все деревни и села разводят сотни тысяч гусей. Осенью приезжие прасолы закупают их целыми вагонами и гонят гуртами до границы. Чтобы гуси не сбивали и не ранили себе лапок на каменистом шоссе, их подковывают по местному способу: опускают лапки в смолу и потом гонят по мелкому гравию; гравий присыхает к смоле, и гуси безболезненно совершают свои многоверстные марши.

Предприимчивые лазареты и госпиталя тут же скупают по дешевке замученную птицу и суют ее в походные кухни. Возы, дороги и люди покрыты выщипанным перьём, и это еще больше подчеркивает погромный характер отступления.

Многих внезапно охватывает какой-то хозяйственный азарт. Они до верху нагружают свои транспорты брошенными мешками, суют в сиденья, в передки, в фуражные тюки, в карманы сахар, банки, консервы. В одном месте телефонная полурота побросала всё телефонное имущество и запрягла своих лошадей в крестьянские телеги, нагрузив их богатой интендантской добычей. Новенькие телефонные двуколки с телефонной проволокой и просмоленными канатами валялись брошенным хламом. Дивизионному врачу одной из отступавших дивизий стало жалко. Раненых не было. Он припряг к телефонному имуществу заводных [1]) лошадей и почувствовал себя Мининым и Пожарским.

---

[1]) Слабосильные лошади, плетущиеся без запряжки в хвосте.

— Сволочи! — орал он в патриотическом азарте. — Мужичье! Ну, разве немец способен на такое?.. Только тупоумный русский мужик, понятия не имеющий о патриотизме, топчет сапогами свое добро...

— Послушайте! — взывал он к командирам частей, — если бы всякий из вас сделал то же самое, мы спасли бы половину имущества...

К вечеру дивизионный врач был в полном отчаянии.

— Помилуйте, — жаловался он госпитальным докторам, — мне некому, понимаете, некому сдать это имущество. Никто не берет!.. Обращаюсь в штаб дивизии — там отвечают: телефонное имущество нам не подведомственно, обратитесь в штаб корпуса. Штаб корпуса отвечает: у нас нет организации, которая этим ведает.

— Но что ж мне делать с телефонным имуществом?

— Обратитесь в штаб армии.

Через час добрался до штаба армии. Там вытаращили глаза на меня, и какой-то штабной «фазан» [1]), небрежно играя хлыстиком, промямлил:

— А у вас есть бумага?

— Какая бумага?

— Ну... предписание есть?

— Откуда ж у меня может быть предписание, если имущество, брошенное вами, я подобрал на дороге?..

— Э... э... В таком случае... извините... Без бумаги мы принять не можем...

— Придется бросить... Еще попадешь под суд за мародерство, — сокрушается непризнанный Минин.

Девятый час кряду откатывается разбитая армия от Дунайца. А орудия грохочут с такой же силой, как раньше. Люди и лошади устали. Раздражение охватывает всех, и чаще вспыхивают острые недоразумения между отдельными частями. Два наших парка с управлением легко опередили тяжелые обозы. Крепкие артиллерийские лошади с грохотом несут пустые ящики и двуколки. Ездовые нахлестывают лошадей, чтобы раньше других добраться до стоянки и занять все лучшие помещения. Это злит конкурентов. К прапорщику Кузнецову, ведущему головную колонну первого парка, подлетел какой-то полковник:

— Это ваш парк?

— Так точно.

— Что же, вы не знаете, кто я такой?

— Не могу знать.

— Я комендант штаба корпуса, к которому и вы теперь принадлежите. Вы не имеете права опережать обозы. Если бы вы ехали на позиции, я уступил бы вам дорогу, а теперь вам спешить нечего.

— Я не спешу. Мы идем обыкновенным парковым шагом.

— Распорядитесь, господин прапорщик, чтобы нам дали место.

— Впереди мой командир. Я не вправе отдавать приказания.

---

[1]) Прозвище штабных офицеров.

— Так найдите вашего командира и передайте ему мое распоряжение.

Кузнецов поскакал, а за ним следом помчался полковник. Подлетев к Кордыш-Горецкому, полковник закричал:

— Это безобразие! Ваши люди заняли всю дорогу. Распорядитесь немедленно...

— Виноват, господин полковник! Впереди командир бригады. Я не могу отменять его распоряжения.

— Ведите меня к командиру бригады, — вскипел полковник.

Кордыш-Горецкий пришпорил лошадь, полковник понесся за ним. Под'ехали к Базунову.

— Это чорт знает что! Я буду жаловаться в штабе. Вы не имеете права итти впереди корпусного обоза. К тому же изранили мою лошадь: ободрали ей весь зад вашими зарядными ящиками.

Базунов приложил руку к козырьку и роняет, чуть усмехаясь:

— Откуда мне было знать, что мы имеем дело с таким высокопоставленным обозом и с таким чувствительным задом?..

Полковник умчался, свирепо потрясая нагайкой.

По-прежнему грохочут пушки. Бесконечный поток колес, лошадей и серых шинелей и по-прежнему лязгает, тарахтит, скрипит, устало ржет устало ругается и матерщинит и утопает в тучах едкой каменной пыли.

Иду обочиной, окруженный толпой дружинников.

— Далеко? — спрашиваю их.

— В Мелец... От Пильзны верст 50 умыкали.

Верст 20 осталось.

— Чего привала не делаете?

— Нельзя. Приказано прийти сегодня.

Вдруг у края дороги затрещал автомобиль.

Впереди сбились в кучу, затрудняя движение, двуколки первого парка Какой-то седоусый генерал мановением пальца подозвал прапорщика Растаковского и приказал, свирепо пуча глаза:

— Расчистить дорогу! И прошу по-энергичнее: — бить морды! пулю в лоб!..

Через две минуты автомобиль беспрепятственно катил по расчищенному шоссе. Кто-то из дружинников усмехнулся:

— У начальства нрав легкий... Как у машины: нафырчит — и ходу...

— Хоть бы порядок какой, — вздохнул другой.

— С начальства не стребуешь, — ядовито бросает первый голос.

— Против начальства не поспоришь, — вызывающе смотрит мне в глаза рослый солдат. — Начальство, что смерть: сама себе выбирает, а до ней не доберешься...

Вечереет. Люди еле бредут, лица измученные и озлобленные. Кучка пехотных прапорщиков, громко разговаривая, идет, отбившись от части. Молодые, свежие голоса. Ловлю долетающие обрывки:

— Нет у нас снарядов — и баста. Хоть по миллиону за патрон плати — нету!.. Через две недели всю Галицию отдадим из-за этого...

— Я начинаю верить в Вильгельма...

— Немцы народ настойчивый — не нам чета...

— Снарядов нет. Людей нет. Тогда кончайте войну!..

...В Домбе пришли к 9 часам вечера. Остановились в полуверсте от станции, в бывшем трактире «Австрия». 1-й парк через дорогу. 2-й парк — в двух верстах от нас. 3-й парк (сейчас головной) перешел в распоряжение штаба дивизии и остался далеко позади — под Дембицей. В «Австрии» тесно, душно и грязно. Половину «Австрии» занимает оркестрион, приводимый в действие 10-геллеровой монетой. Койки расставлены вплотную. Офицеры возбуждены и не ложатся. Каждую минуту в двери стучится новая часть в поисках ночлега и помещения. Ад'ютант и Болконский наменяли геллеров у хозяина и поминутно пускают в ход оркестрион. Звуки матчиша привлекают толпы солдат, которые готовы пуститься в пляс, несмотря на усталость. Но по требованию командира музыку прекращают. Базунова томит бессонница. Сидя полураздетый на койке, он бубнит недовольным тоном:

— Ну, вот: начинается то, что я предсказывал. Брусилов добился своего... На чорта мне его храбрость. На кой нам диавол все эти дурацкие Козювки. Из-за двух георгиев лазает по отвесным скалам. К чему?.. Только людей тратят...

В комнату глухо доносится полузатихшая канонада. Света нет. Большинство офицеров уже тихонько посапывают. Базунов, охваченный приступом обличительной горячки, бросает сердитые выкрики в темноту:

— Заманули — лезь в мешок. Я бы его повесил. Показывает чудеса храбрости. Что у нас не солдаты, а чудо-богатыри, это все знают. А что у нас командиры — прохвосты, об этом только немногие догадываются. Ну, на кой чорт нам понадобилась эта вонючая Галиция, где население нас сожрать готово, где все работают, как один человек: шпионят, выведывают, доносят...

Просыпаюсь от неожиданного грохота. Кто-то тяжко штурмует наши двери.

— Кто это ломится? — кричит Базунов.

Парк четвертой тяжелой батареи. Шел прямо из Тарнова в Мелец: ? версты. Добрался до нас во втором часу ночи и просит приютить офицеров.

— Могу уступить свое место, я все равно не усну, — говорит Базунов.

Офицеры уходят, а Базунов продолжает свой обличительный монолог, елчно и в'едливо он выбрасывает фразу за фразой, не давая мне спать:

— Вот попомните мое слово: через две недели Галицию отдадим. это давно знал! Только боялся говорить. Ведь скажешь здравую мысль, кричишь ура — изменником еще прослывешь... Мы должны понимать, что м далеко до Европы. Нам нужно было закопаться поглубже, обмотаться оволокой на 25 верст и сидеть, притаившись. Хотите брать нас — пожайте к нам. Разбивайте ваши умные головы об наши медные лбы... Теперь пробуйте, уберите наши войска и грузы. Отрежут на Сане — и потом

переловят по частям. Да и как воевать, когда снарядов нет, оружия нет... А тут еще при дворе идет медленная, но верная работа: продают по частям Россию...

— О, боже, — вздыхает проснувшийся Болконский, — вы все еще, Евгений Николаевич, с Карпат не спустились...

— Нет, вы подумайте, —набрасывается на него со свежими силами Базунов, — нужна мне его храбрость... Вот там добейтесь победы на севере. Тогда Галиция сама в руки нам поплывет... Прямо, как нарочно всё не так делают, чтобы к поражению привести... А немцы все учитывают. Дают нам проходы: подставляйте свои лбы... А когда время придет — тогда свое дело сделают... И делают, подлецы! Ох, как делают...

...Сквозь утреннюю дрему долетает бубнящий голос командира. Неужели все еще разносит Брусилова?

— Поздравляю вас с новой командировкой. Разводите скорей озера вокруг себя (так подсмеивается Базунов над моей привычкой делать утренний туалет на свежем воздухе, не жалея воды) и немедленно скачите что есть дух на Карпаты. Наш неутомимый дивизионный врач не отстает от своего штабного начальства. Прислал вам экстренную боевую эстафету.

— В чем дело, Евгений Николаевич?

— Немедленно командировать врача бригады в 3-й парк, находящийся в непосредственном распоряжении штаба дивизии.

— Куда именно?

— Стратегическая тайна.

— Как же я доберусь?

— Очень просто. Поймаете неповешенного ксендза и спросите: где 3-й парк 70-й дивизии? Наверное осведомлен лучше, чем все дивизионные генералы.

...Едем с Коноваловым налегке. Только шинели приторочены к седлам, да по банке консервов в кобуре. Базунов, по обыкновению, читает прощальное напутствие:

— Я говорю вам, как машинисту, который отправляется по неисследованному пути: будьте осторожны. Может случиться, что вам придется изменить свой маршрут. Может выйти так, что мы разойдемся. Если придется отступать, держите путь на Кольбушовку — и далее на Развадов...

Гудит аэроплан. Гудят далекие пушки. Коновалов беспечно машет рукой:

— Хай вiн про нас ны журыться. Мы свою стэжку добре знаем [1]).

Обозов гораздо меньше. Дорога, как и вчера, усеяна рванным тряпьем, обломками ящиков и досок, битой посудой, перьями, сплющенными гусиными

[1]) Пускай он об нас не печалится. Мы с нашей дорожки не собьемся.

черепами. Казаки сонно дежурят у интендантских мешков. Жители робко поглядывают на проходящие части. Солдаты кричат, матерщинят и хватают за груди девушек.

Погода тихая, ясная. Голубое небо радостно улыбается. Мерно покачиваясь в седле, чувствуешь себя крепко слитым с конем, с дорогой и с бодрым постукиванием подков.

Едем на Дембицу. Чем ближе к месту, тем оглушительнее пушки. В 10 верстах от Дембицы делаем привал. Мимо плетется обывательская подвода, нагруженная чемоданами. В подводе военный доктор. Поровнявшись с нами, он торопливо соскакивает с телеги и кричит в нашу сторону:

— Не научите ли, как мне пробраться на ст. Чарна?

— Чарна? Она давно уже у немцев...

— В самом деле? — изумляется доктор и с нескрываемой радостью добавляет: — В таком случае я возвращаюсь в Любачов.

У доктора черные с проседью волосы, добродушные губы и полная фигура сангвиника в полковничьих погонах. Он поспешно вытаскивает большой походный ларец из чемодана, и мы вчетвером с его возницей приступаем к закуске. Прихлебывая большими глотками (пьем по очереди из чашки), доктор весело повествует:

— Еду я, понимаете, в Чарну. Главным врачем запасного полевого госпиталя. Полгода прослужил в Любачове, прекрасно наладил дело. Так вот тебе: приказывают в Чарну ехать. А в Любачове, видите ли, общеземская организация свой лазарет устроит. Передал им 600 больных. Мрут, как мухи. Одно безобразие. Полторы бабы приехало и выписали себе в помощницы двух сестер милосердия и трех оспопрививательниц. У меня амбулатория ежедневно в 100 человек была. А у них больные бегут. Оставил им 14 человек санитаров из команды для выздоравливающих, так они все теперь на позицию просятся. С ног, жалуются, сбились, по 20 раз приказания отменяются, да еще голодать приходится.

— Для чего же вас переводят?

— А чорт их знает. Получил бумажку: немедленно. А земский лазарет не едет. Через неделю — хлоп! Новая бумажка: с угрозами. Ну, приехал мой лазарет. Стал я сдавать, возиться. А тут и третья бумажка — еще грознее! Мне-то, положим, наплевать. Я — портартурец. Давно свое отслужил. Ну, поехал я в Сумы — к своей семье. В Сумах я в кадетском госпитале врачом. Мне и служить не надо. Сам напросился. Ну-с, погостил я дома... Поехал в Любачов за вещами... Собрался скоренько — и в Чарну. А тут, выходит, новое осложнение...

Доктор радостно пожимает мне руку и, взгромоздившись на чемоданы, говорит встревоженным голосом:

— Хоть бы не обстреляли. Наверное с аэроплана обстреляют.

— А вы об этом не думайте. Все равно не поможет.

— Да мне что? Я портартурец. Я по собственному желанию пошел.

Вечерело, когда приехали в Дембицу. Ищу на станции коменданта и натыкаюсь на доктора Шебуева.

— А вы здесь как очутились?.. Опять за детритом? Парк, говорите, ищете?.. Какие ж тут парки? Давно артиллерия ушла. Одна пехота осталась. Да наш головной лазарет. Из Тухова сюда перешли. Со всеми придатками: с генеральшей, с «кузинами», с Шульгиным. По-прежнему: всё развертываются. Один за всех отдуваюсь. Здесь, впрочем, по диспозиции еще один госпиталь указан: из Чарны. Но тоже — не то «развертывается», не то «свертывается». Говорят, главного врача третий месяц «срочными» бумажками бомбардируют, а он хоть бы что...

Разговор обрывается Коноваловым:

— Прапорщик Виляновский на станции.

Виляновскому 22 года. Студент — политехник. Владелец небольшого имения на Волыни. Барич, скептик и польский патриот. Высокий, рыхлый белотелый, с голубыми глазами на выкате — он вял и ленив. С офицерством — настороже. Пьёт мало; но скоро хмелеет. А напившись, идет в команду и бьет по лицу солдат. На вопрос возмущенного Болконского:

— Что ж вы и в польской армии будете так драться?

Виляновский как-то ответил с задумчивой улыбкой:

— У меня две мечты: поехать охотиться на тигров и обить мой кабинет в имении негритянской кожей.

Говорит врастяжку и нагловато:

— Случилось все так, как полагается. Об нас забыли. Штаб дивизии за Пильзну удрал, а нас покинул. Вспомнили случайно, когда снаряды понадобились. Выяснилось, что парк впереди артиллерийских позиций находится, рядом с окопами. Командир артиллерийской бригады приказал парку отодвинуться к Дембице. Теперь по приказу из штаба дивизии мы опять откомандированы в распоряжение Базунова. Сейчас еду к Базунову за предписанием.

— Как дела?

— Неизвестно. Надо быть наготове каждую минуту к отступлению.

— Где вы сейчас стоите?

— Вон в том лесочке. Версты три отсюда. Стояли вначале в экономии, но во избежание обстрела с аэропланов в лесу укрылись. Обстановка экзотическая. Костры. Палатки. Минеры — мосты взрывать будут.

— А найти вас в лесу легко?

— Прямо по дорожке пойдете, — наткнётесь на сибирских стрелков. А мы тут же рядом с резервами.

— —

...В лесу темно. Ведем лошадей на поводу. Издали мигают костры. Посылаю Коновалова разыскивать парк, сдаю ему лошадь, а сам подхожу к кострам. Не видно ни лиц ни фигур. Только смутно маячат какие-то темные тени. Но голоса разносятся гулко, как под мостом. Слышно каждое слово.

— Вот крови где пролито — на Ужокском перевале. Выбила яво наша дивизия. Бились крепко, жизни не берегли. Должны были дальше двинуться. А тут приказ. От начальства. 61-й дивизии — на кажного солдата по 25 патронов, а кажному саперу — по 5. Пришлось отступать...

— Хоть начальство, а по другому враг, — вставляет новый голос.

— Очень просто, — сурово продолжает рассказчик. — Такого первой пулей убить... Долго ребята не козырялись — послали жалобу верховному. Тот бумагу в дивизию: где приказ? покажи! Пошвырялись в приказах: нет. Как скрозь землю всё провалилось. Теперь два генерала арестованы...

Звенят жестяные чайники и чавкающие губы, обжигаясь, прихлебывают чай. Пьют кряхтя и сморкаясь. И снова несется из темноты густой, задумчивый голос:

— Встали все как один. За тыщи верст от насиженных мест угнали. А тут — во как геройствуют... Опомнятся, да поздно будет. Такой порчи напустят...

— Через всю Россею измена пущена, — гудит чей-то твердый голос. — От верных людей слыхал. Приказала царица все заводы с патронами поджечь. И написала Вильгельму: «Теперь иди! Голыми руками Россию взять можно»...

— Эх, милай! — звонко вливается в темноту задорный и свежий голос. — Не там измену искать надо, где доселе искали...

Тихо, темно и грустно. Теплая ночь налита запахом леса и влажной земли. Где-то в пруду или в болоте тоскливо квакают жабы. От пылающих костров вдруг отрывается и широко уносится кверху звенящая, жалобная песня, такая же грустная и ароматная как ночь:

Не на тот ли мертвый нá голос
Псы железные залаяли —
В чистом поле над окопами
Медны коршуны загрáяли...

Стонет пахарь, плачет лапотник,
Кличет, — кажет чорну вóрону:
Ты лети-кось, птаха вольная,
Во родиму-милу сторону.

Ты шепни-кось старой матушке
Во святое утешеньице —
Уж как милостями взысканы
Мы на царском попеченьице.

Резвы ноженьки изрезаны,
Крепки рученьки закованы,
На победной на головушке
Ясны оченьки поклёваны...

...Перехожу от костра к костру. Всюду песни. Всюду, как древние колдуны, сидят и лежат всклокоченные бородатые мужики, курят, прихлебывают, плюют и роняют веские фразы:

— Достукались... Довоевались... Теперь пойдем Галицию мерять...

— Навалился тыщей орудиев — ревет и ревет. А у нас — руки две только, да штык...

— Не осилить яво, не одолеть...

— В корыте моря не переплыть...

— С шилом на медведя — где уж?..

— Вот уж верно, что молодец из пушек палить. Только против песни нашей русской — ку-уды!.. Хоть с немцем, хоть с какой угодно нацией спорить буду, — говорит мягкий голос и заливается щемящей, раздольной песней:

Во густых хлебах яма чорная.
Во сырой земле — гробова́ доска..
За бугром лежу да за насыпью.
Эх, ты, лютая невтерпёж-тоска...

Уж как первая моя думушка —
Ты чужа́ земля австрияцкая,
Во густых лесах, во глубоком рву
Ты черна́ земля — яма братская.

Тяжче грому бьют пушки медные...
Во глубоком рву — ясны оченьки.
А вторая, ох, дума-думушка —
Ты развей тоску, тёмна ноченька.

Градом-тучею пули стелются
По-над кручею над карпатскою.
Не сказать вовек, не поведаю
Третью думушку я солдатскую.

Во глубоком рву наточу я штык
Во глухи леса уйду-скроюся...
Да тому ль дружку — штыку вострому,
Я спокаюся и откроюся!..

... Подхожу к большой группе. Гудит хриплый бас вперемешку с певучим тенором. Издали узнаю Асеева. Живописным табором разлеглись лошади у коновязи. Искрами разлетается пламя костра.

— Живой огонь скрозь щель пробивается, — долетает голос Асеева. — А ты знай, молчи...

Стою, скрытый сосной. Близ самого пламени лежат чужие солдаты. Много наших артиллеристов. Выделяется лохматая, грузная фигура огромного пехотинца в папахе. Шагах в двух от него, спиной к костру сидит бледный Асеев.

— Видать штунда, что ли? — бросает хрипло огромный пехотинец, остро блеснув глазами из-под бровей.

Потом, затянувшись цыгаркой, говорит раздраженным голосом:

— Кожна тварь о беде своей жалуется, кожный пёс скулебный — пни его — заскулит не в очередь. А мужик всё молчит да к богу жмётся...

Говорил он окая и крепко выдавливая слова.

— А ты в бога веруешь? — строго взглянул Асеев.

— Бога не замай, — лениво сплюнул гигант, — на ём свой венец, не солдатский.

— Погоди... Словами не хряскай, — заволновался Асеев. — Я тебе простое слово скажу, а ты вникай... Скатилась слеза хрустальная — и нет ее. Ан слеза-то в сердце горит... Так вот оно всё в саду божием: звездочка гинула, закатилась — солнышком выглянула... Перстами господними деются дела человеческие. Не по нашему хотению — по воле божией. А ты, знай, живи, да душу во цвету хорони...

Пехотинец приподнялся на локте и выпечатал с угрюмой усмешкой:

— И воробей-то живёт да житьишко его дрянное: ножками пò снегу бегат и всяку дрянь клюѐт.

— А ты терпи, — воскликнул Асеев. — Т е р п и!.. Христос терпел — и нам велел.

— Штунда! Мать твою в бок, — захохотал пехотинец. — Христа до нашего брата ровнят!.. Не-е, ты псалтирь не топчи. Христово дело одно: Христос для души порядку по земле ходил. А то наше дело не небесное... Я, может, сотню душ загубил... Своей мы, что ль, охотой на такое дело пошли?..

— Правильно! — загудело из темноты.

И как блохи запрыгали острые словечки:

— В бою — не в раю...

— Вперед себя под пулю Христа не пошлешь...

— Наше дело — солдатское: стой столбом, да сполняй, что велят...

— Чу-удак ты, Асеев, — юлой врывается беспечный смешок Блинова. — Христос в небесах, а солдат в окопе — на голой... Нацепи-кось Христу винтовку, легко ль ему будет?..

— Дело! — крякают наши артиллеристы. — Уж ты, Асеев, не спорься. В нашем деле псалтырь твоя дешево стоит.

— Э-эх!.. Оглушило вас дò-глуха пушками, — вскочил, весь трясясь, Асеев. И понес певучей, волнующей скороговоркой, по-сектантски, с истерической дрожью выкрикивая отдельные слова: — Гудит людям смерть словом огненным.

Стоят ворота железные, замками замкнутые. Велики ворота, как грех греховный... Глянь, мужик, поверх силы твоей сермяжной... Ходит война, зубами в тело вгрызается, рушит земли крещеные... Опился л ю т человеческий крови людской, земля от крови паром пошла, не стало свету божьего в глазах, найтить себя не знает мужик. Стучит рукой смертною в ворота железные. Ан ворота голос д у ш е подают...

— Заплясал, как дождь на болоте, — смеясь, вставляет Блинов.

Но Асеев не слышит. Он весь трясется в экстазе:

— Сбереги душу свою во цвету — и травинка садом покажется. Закажи...

— Полно ты врать, Асеев! — обрывают солдаты. — Одна тут у всех з а к а з ч и ц а: на н е ё все работаем...

— Мол-чальник! — сердито сплевывает пехотинец.

Ворочаясь, как медведь, он встает во весь свой гигантский рост, швыряя отрывистые слова вперемешку с матерщиной:

— Н-не!.. Намолчались!.. Будя...

И, тяжело ступая, уходит в темноту, откуда по-прежнему несутся волны глубокой человеческой грусти.

Я подхожу к Асееву. Он бледен. Губы его трясутся.

— Хорошо поют, Асеев, — говорю я ему.

Асеев вслушивается, пристально смотрит на меня и на лице вдруг появляется привычная светлая улыбка:

— У земли — ясно солнце, у людей — ясно слово... Песней душа растет...

II

...Срочное предписание от инспектора артиллерии:

«Доносить спешно два раза в день о количестве имеющихся в парках снарядов и иметь при штабе корпуса все время двух ординарцев для экстренных распоряжений. Установить немедленно питание со ст. Ржешов. Ад'ютант и-ра артиллерии Киркин».

Через полчаса срочное донесение из штаба IX армейского корпуса:

«Питание огнестрельными припасами из местного парка в Ржешове. Эшелонироваться всем паркам по направлению от Дембицы на Ржешов. Согласно этому головному эшелону головного парка находиться в районе Пильзны. Остальным эшелонам через Заваду — Ройчицу до концевого в Ржешове. Вся парковая бригада переходит с сандомирского шоссе на ржешовское и эшелонируется шестью полупарками от позиции (Пильзна) через Дембицу до Ржешова. Эшелонам быть на месте назначения к 12 ч. ночи».

Командир рвёт и мечет.

— Просто житья нет, — кричит он в полном отчаяньи. — В этом девятом корпусе форменный кабак. Все растерялись. Отдают распоряжение одно нелепее другого. Ну, скажите на милость, чего я погоню в Пильзну головной эшелон, когда снаряды тяжелой германской со вчерашнего дня ложатся позади Пильзны, и мы через час покинем эту позицию? Кого чорта я полезу в Заваду, когда всякому идиоту ясно, что не успею я приехать в Заваду, как мне прикажут передвинуться в Кшиву. А из Домбе до Кшивы рукой подать. Ординарцы едва ходят. Лошади скоро откажутся возить. Где мы теперь будем брать провиант? Не знаю... От нас требуют форсированных рейсов и в то же время циничнейшим образом заявляют: питайтесь, как знаете, и изворачивайтесь, как хотите — по своему усмотрению.

Резкий стук в двери прервал излияния Базунова. В комнату вошел незнакомый офицер:

— Разрешите у вас передохнуть. Офицер 6-го понтонного баталиона.

— Как вы здесь очутились? — спрашивает Базунов.

— Приказано перейти в Ранишов.

— Отступаем?

— Пока нет. Но на всякий случай. Куда мы с нашей бандурой денемся в суматохе? Да и устали мы страшно после вчерашнего разгрома в Ясло.

— После какого разгрома?

— Мы были в 10-м корпусе. Ночью во время отступления, когда шли обозы второго разряда, казачья сотня сдуру стала кричать, что прорвался австрийский эскадрон. Солдаты моментально побросали обозы, понтоны, выпрягли лошадей и ускакали. Всё австрийцам досталось.

— Где же сейчас 10-й корпус?

— Вдребезги разбит. Калужский полк весь в Карпатах остался. От Воронежского полка одна знамённая рота уцелела.

Офицер сидит, понуро опустив голову. Потом медленно говорит усталым голосом:

— Четыре месяца стояли без дела. Неужели снарядов не могли изготовить? О чем же они думали?.. Нет снарядов — так заключай мир. Смеялись над немцами, что они из дверных ручек шрапнели льют, а у самих и глиняных ер нет. Нечем воевать — так складывайте оружие и сдавайте без бою всю Россию. Но не обманывайте нас... Гоняют с места на место — из Ясло в Заваду, из Завады в Кшиву, из Кшивы в Ранишов... Таскаемся с нашей бандурой по 50 верст в день. Для чего?.. Понять не могу. А вы понимаете, полковник?..

— Не больше, чем вы, господин капитан, — отвечает Базунов.

— Что ж, в России им так и промолчат? Надо жаловаться в Государственную Думу.

— На что жаловаться? Что в России нет нужных заводов? Что Германия опередила нас техникой на целое столетие?

— У них Крупп. У них гигантские пушки. Хорошо. Мы не требуем ничего гигантского. Но пускай у нас будут 10 малюсеньких Круппов. Изготовляйте снаряды для наших маленьких пушек.

— В том-то и дело, что и для этого тоже нужны машины, инженеры, рабочие, которых у нас нет. Не в пушках дело. Война показала, что нам не хватает образования, у нас нет хорошо подготовленных людей, хорошо оборудованных заводов. Все у нас гнилое и второсортное. Потому мы всегда рядились в чужие обноски. Всё получали из немецких рук. Вот мы и устроили себе бал...

В комнату входит ординарец с донесением из головного парка:

«В головном парке осталось только несколько сот шрапнелей. Между тем в нашем парке дожидаются кроме 12 зарядных ящиков 70-й артиллерийской бригады, 8 зарядных ящиков из 13-й сибирской бригады и 2 зарядных ящика 2-й казачьей терской дивизии. Из Ржешова прап. Болконский доносит, что заведующий местным парком в Ржешове заявил: снарядов вам не дадим; мы назначены для питания карпатской армии; ваш местный парк в Развадове. Штабс-капитан Калинин».

— Ну вот! — вскакивает в раздражении Базунов. — Нельзя-же воевать одними штыками. Мы все-таки живем в XX веке и воюем не с кафрами, а с Гинденбургом.

...Отступаем. Идет переправа через Вислóку. Бомбы, аэропланы, снаряды. Далеко, далеко полыхает дымное зарево: это горит зажженная германскими снарядами Пильзна. Узкая, гибкая Вислока быстро катится между песчаных берегов. Чтобы укрыться от аэропланов, мы дожидаемся в лесу очереди. Война ворвалась сюда внезапно. Грохот орудий еще не успел разогнать ни птиц, ни зверей. Везде — и в реке, и в траве, и на деревьях, и на горячем песку бьет кипучая жизнь. Звонко кукует весенняя кукушка. Сидят, нахохлившись, на ветвях большие сивоворонки. Две сойки ведут отчаянный бой с назойливой вороной. Реют пестрые бабочки. Стрелою мечутся сероватые рыбки в холодной воде. Из густого кустарника выскочила белогрудая лисица и мелькнула желтым хвостом. Всё охвачено напряжением. Только на лицах людей озлобление и усталость. Нервы издерганы. Армию утомили, замучили эти бесцельные переброски. Мотанье с места на место без плана, смысла...

— У переправы весь корпус. Каждая пядь земли здесь густо забита артиллерией, пехотой и кавалерией. Войска стоят вперемежку: тяжелые орудия вместе с пехотой, госпиталями, обозами, парками и понтонами. Командиры парков исхлопотали разрешение укрыть зарядные ящики в лесу. Четыре парковые бригады — 12 парков — сгрудились в небольшой лесистой ограде. В ожидании очереди. Все рвутся перейти через мост, чтобы убраться из полосы обстрела. Орудия безунимно грохочут. Аэропланы кружатся и гудят, как назойливые шмели. Сейчас мы наблюдаем их из укромного уголка. Наблюдаем с каким-то хищным любопытством. Германские альбатросы, когда летят высоко, поразительно похожи на птиц. Крылья и хвост окрашены в сероватую краску, а тело ярко белеет. На такой высоте их можно принять за аистов. Но эти аисты беспрерывно швыряют бомбы. Из нашего лесного убежища мы видим густые, черные дымные столбы и слышим грохот зенитных [1]) пушек. На этот раз дежурные орудия стреляют довольно метко. Шрапнели рвутся у носа аэропланов. Небо усеяно пушистыми клочьями. Но аэропланы как ни в чем не бывало кружатся над переправой. Крылья у всех приподняты кверху. Это значит, что они нагружены бомбами и сбросят их сегодня не мало. Грозные, воздушные хищники внушают жгучую ненависть и тревогу.

— Вот подбить бы его, мерзавца, — яростно шипит Базунов, — поймать и повесить пять раз или зажарить на медленном огне! Знал бы он, как бомбы бросать...

Сейчас у всех на душе какое-то откровенное облегчение, от сознания, что сегодня **мы** вне обстрела. С кровожадной заинтересованностью наблюдаешь эту борьбу между землей и небом из защищенного места. И эта подлая радость защищенного зрителя еще крепче подчеркивает каждому, до чего остра и мучительна ежедневная жуть, с которой шагаешь под рвущимися бомбами и прислушиваешься к вою шрапнелей, сыпящихся сверху и ведущих к неменьшим жертвам, чем вражеские аэропланы.

---

[1]) Пушки, направленные дулом кверху, для обстрела аэропланов.

— Ох, прямо извели ероплане, — постоянно жалуются солдаты. — Днем всем здоров, а ночью спать не могу. Пулемета не боюсь. Против пулемета в атаку ходил. А как загудит вверху, всю ночь потом маюсь. По 30 штук за день над нами летают.

— Бомбы, что ли, боишься?

— Не от бомбы страшно, ероплана боюсь. И во сне ероплане вижу.

Другие еще безнадежнее выражают свою растерянность и тоскливые думы:

— Тоска, ваше благородие. Под грудями болит, давит. Всего тебя жмет, простору нет. По телу словно бы вся эта передвижка идет. От головы до низу переливается, стискивает, ровно бой по телу идет.

— По дому скучаешь?

— Нет, я о семье не забочусь. Потому — я у отца живу. Только так — никакой радости нет... Намаешься за день, ляжешь в десятом часу — не спится. Всё тоска грызёт. Про непорядки наши все думаешь...

Тяжелое уныние закралось в душу солдата. Не страх, а печальное раздумье. Аэропланы, осадные орудия, немецкие хитрости и глупая бестолочь начальства поразили армию мертвящей апатией. Конечно, всех больше задерганa пехота. С мучительной болью в глазах жалуется мне, сидя на пне и прижавшись щекой к винтовке, солдат стрелкового батальона:

— Нет во мне ни страху, ни радости. Мертвый я будто. Ходят люди, поют, кричат. А у меня душа ровно ссохшись. Оторвало меня от людей, от всего отшибло. И не надо мне ни жены, ни детей, ни дому — вроде как слова такие забыл. Ни смерти не жду, ни бога не боюсь...

— С чего же это с тобой приключилось?

Солдат долго молчит. Он смотрит на меня пустыми, холодными глазами и крепко стискивает винтовку:

— Обмокла кровью душа... И пошли думки разные... И допрежь такое думалось, да знал я, что век на такое не пойду... А теперь — нет во мне добра к людям...

Коран и его социальная идеология.

(Окончание).

М. Рейснер.

Мы остановились довольно подробно на рае Магомета именно ввиду громадного социального значения этой картины. Повторяю, в отличие от затемненных и затушеванных образов райской награды, находимой нами в других мировых религиях, здесь все необычайно просто и ясно. Классовое разделение, взятое меньше всего со стороны производственного положения класса, но исключительно со стороны потребительной возможности и участия в распределении, здесь служит прямой основой для отражения земного блаженства богачей на небесные обители, где тот же богач, наслаждающийся жизнью, приобретает идеальные черты и отнюдь не качественно, но количественно восполняет недостающие на земле. Христиане поступали со своим раем более прикрыто и строили его обходными путями. Несомненно, каждый верующий христианин, принадлежащий по крайней мере к широкой массе труждающихся и обремененных, не мог представить себе иного рая, как того покоя, свободы, счастья и блаженства, какое на земле становится уделом лишь имущих и в особенности богатых людей. Такова во всяком случае добрая половина, а то и две трети райских ожиданий и надежд у христиан, и лишь меньшинство способно представлять себе рай в качестве совершенно лишенной материи жизни, где находит завершение идеал полного, а подчас и болезненно извращенного самоистязания и самоотречения. В этом отношении мусульманство поступило гораздо практичнее, поскольку оно вовсе устранило самоотречение и прямо возвело в идеал блаженства утехи и радости исключительно богатого человека. Здесь не только положительная, утилитарная и коммерчески подсчитанная сторона одной из мировых религий, но и мотивация по своей крайней простоте, грубости и вместе реальности доступная всякому, кто желает не убивать себя, а, наоборот, наслаждаться жизнью, подобно тому, как ею наслаждаются немногие избранные. Превращение всех верных, послушных, щедрых на милостыню и самоотверженных почитателей бога в богачей и миллионеров загробного рая — одна из важнейших идей мусульманской идеологии, которая способна была привлечь к себе не только состоятельных людей, уже имеющих некоторый вкус в ис-

пользовании богатства, но и бесчисленные массы бедноты, поскольку они верили и могли поверить, что в будущем мире каждый из них будет возлежать в шатре среди дивного сада, оденется в атлас и шелк, украсится драгоценностями, будет закусывать мясом изысканных птиц, запивать эту пищу чудесным вином, пользоваться райскими фруктами и в довершение всего иметь в своем полном и неограниченном распоряжении, можно сказать без преувеличения в рабской от себя зависимости, и прекрасных отроков и восхитительнейших женщин. Если бы современные христиане или по крайней мере мусульмане попробовали бы несколько модернизировать свой рай, то они поступили бы вполне последовательно, если бы перенесли в него идеализацию блаженства какого-нибудь американского миллиардера с его дивными яхтами и автомобилями, пышными дворцами, кокотками, лакеями, собственными поездами и аэропланами. Именно так поступил в свое время Магомет при описании тех богатств, которые может приобрести всякий «заложник» господа, если он выполнит честно условия сделки, заключенной с божественным сверхкапиталистом.

Что касается вопроса о постановке религиозного террора в системе корана, то она не заслуживает такого серьезного внимания. По существу она не выходит из пределов того, что мы имеем в религиозном законодательстве других народов, а во многих пунктах даже уступает ей. Такого напряжения угрожающих и злостных картин, какие мы имеем в системе индусского переселения душ, египетского посмертного наказания, иудейской казни здесь на земле и страшного христианского ада, — у Магомета мы не найдем. Что касается земных наказаний, то они сводятся у него преимущественно к картинам бедствий, заимствованных из ветхого завета, дополненных по разным апокрифам и данным современной ему практики и исчерпываются карами за непризнание различных посланников божьих и пророков, пришедших для возвещения истины. С утомительной регулярностью повторяются в коране истории Авраама, Ноя, Моисея, Гуда и непризнавших его Гадян, отвергнувших Салиха Феммудян, сограждан Лота, жителей Эйки и Шогаиба и т. п. На всех этих случаях демонстрируется гнев божий, приводящий к страшным мучениям и полному истреблению неверных. Подобные же истории приурочиваются и к Иисусу, к Ионе, Исмаилу, Идрису и т. д. Весь этот материал имел и имеет свою главную ценность исключительно в целях пропаганды и прозелитизма Ислама среди неверных. Что касается наказаний на земле, то они опять-таки приурочиваются исключительно к восстанию против пророков и непризнания единого бога. (Коран, с. 5—37, с. 6—124, с. 7—3, 4 и т. п.). Что же касается обычных грешников, то потому уже нельзя считать земные лишения и беды исключительным признаком наказания за грехи, что, как мы уже знаем, весьма часто господь именно такими несчастьями и страданием испытывает праведность, которая впоследствии вознаграждается за все это понесенное на земле. Посмертное наказание по учению Магомета совершается в полном согласии с христианским учением в особом месте, в аду, где мы находим все, так сказать, общепринятые признаки такого мучения: здесь и огонь геенный, и выжигаемые на лбах, боках и спинах раскаленные

клейма, раздаются «вопли их, визг и рык ослов», поят этих несчастных «от вратительною гноевидною водой» «смерть со всех сторон будет подступат к ним, но они не будут мертвыми; и позади их жестокая мука». «Когда он будут умолять о помощи, им помогут водою, подобной растопленному металлу, которая будет жечь их лица», неверующие будут в особых одежда «из огня», на головы их «будет возливаема кипящая вода. Ею будут обваряемы и внутренности их и кожи; для них там будут рожны железные» Когда же они будут пытаться выйти из ада, они будут возвращаемы в нег с злобным увещанием: «Наслаждайтесь мукою в пламени». Питать грешников будут плодами дерева Заккум, похожими на «головы дьяволов», поить и будут «кипящим раствором», или же «смрадною гнилью», сама пища из дерев Заккум будет как «расплавленная медь», она будет кипеть во чреве «ка кипит кипящая вода» (Коран, с. 9—35, 64, 69, с. 11—108, с. 14—19, 5 с. 18—28, с. 21—98, 100, с. 22—20, 22, с. 35—33, с. 37—67, с. 38—57 с. 44—43, 47, 17, 55, 41, 56, 40 и т. п.). Отметим здесь по сравнению с христианским адом некоторую сравнительную мягкость ада мусульманского, та как, во-первых, пророк не утверждает, что наказание во всех случаях бе исключения будет вечным, и предполагает, что всемогущий бог может в крайнем случае их сократить, а, с другой стороны, как очевидно, все наказани сводятся почти исключительно к страшному зною и весьма скверному питанию. Нельзя не узнать и здесь некоторого возведения до крайних предело тех наличных бедствий, которые в Аравии были уделом всяческой бедноты Безумно страдали от зноя те, у кого не было ни крыши, ни воды, ни тени Пили гнилую воду нищие города и бродяги пустыни, не имеющие возможност добыть воды из чистого источника. Питались пищей весьма скудной, а подча испытывали жжение от голода те же бедняки, которых наблюдал вокруг себ Магомет. Надбавкой здесь является лишь возведение в превосходную степен всех этих бедствий, особенно же страданий от зноя, жары и палящего пламени. В общем и целом ад Магомета не столь страшен, как другие религиоз ные застенки и небесные тюрьмы. Долговая тюрьма корана играет бесспорно второстепенную роль на-ряду с могущественным притяжением сосредоточенного в раю богатства утех и наслаждений.

Перед нами теперь вполне ясен общий план идеологической системы корана. Всемогущий творец и собственник вселенной создает мир в свои личных целях. Это не цели забавы. Об этом мы имеем подлинное свидетельство мусульманского бога: мы сотворили небо, землю и все, что есть межд ними, не для забавы своей; если бы мы хотели найти себе какую утеху, т нашли бы ее в нас самих, если бы хотели мы так сделать» (Коран, с. 21—16, 17). Люди сотворены для того, чтоб они поклонялись богу. В этом божество усматривает торжество правды. Но отношения между собственником мира и людьми далеко не проникнуты началами свободы. Все предопределяет собою божья воля — бог, поступает как хочет. В силу своего произвола он стави людей в такое положение, что каждый из них может стать участником те благ, которые находятся в распоряжении бога как небесного капиталист Бог дает каждому из людей возможность повести так свое дело и так по

гавить свое маленькое предприятие, что оно, работая на божьем капитале, юсобно в конце концов превратить человека в одного из пользователей еличайших рессурсов и материальных богатств, находящихся в распоряжении ога. Можно сказать без преувеличения, что каждому человеку дано из редоставленных ему материальных и духовных имуществ сделать вклад божественную сокровищницу для получения воистину великолепных про-ентов. С этой стороны царит полное равенство перед богом и непосредствен-ая связь между небесным собственником и его земными арендаторами и дер-жателями посланных с неба благ. Но это равенство перед богом нисколько е мешает полному неравенству самых божьих закладчиков и клиентов между обою: один наделен от бога «прекрасным наделом», а потому он и явно тайно делает из оного пожертвования, другой же «раб — невольник, кото-ый ничем распорядиться не может». Бог «раздает им (людям) жизненные отребности в этой дольной жизни, возвышает одних над другими в степе-ях, так что одни из них держат других подвластными себе невольниками» Коран, с. 16—77, 78, с. 43—31). Отсюда вытекают и различные обязанности лиентов главного небесного собственника, которому они здесь на земле бязаны давать определенные дары («ссуды») и нести по отношению к нему редписанные законом обязанности. В этой области им предоставлена извест-ая свобода и даны соответственные указания. Те, которые выполняют требо-ания бога, делают вместе с тем блестящее коммерческое дело и вступают екоторым образом в райскую акционерную компанию или паевое товари-ество по использованию всех блаженства рая. Другие избирают пагубный уть, запутываются в неоплатные долги по отношению к богу и в результате ак «закладчики бога» принуждены отдать ему свой заклад, т.-е. самих себя адскую долговую тюрьму, где они испытывают в безмерно преувеличенном де страдания и муки аравийской нищеты.

Теперь нам остается лишь исследовать вопрос о том, как устанавли-ется закон всех этих отношений между собственником мира, его клиен-ами, арендаторами и должниками, и какие обязанности налагает на них мый юридический факт их рождения на земле по воле творца и собствен-ика. В этом отношении господь не оставляет людей своими указаниями наставлениями. По существу вся история последовательного создания наро-в и поколений сводится к различным актам такого наставления и поуче-ия. Ибо бог создает народы за народами и поколения за поколениями для полнения его целей и каждому из этих последующих поколений он посы-ет особых посланников порознь одного после другого. Эти посланники при-сят народам закон и наставления от имени творца, но тут-то мы встречаемся оригинальностью божественного плана: по общему правилу каждый раз, к приходил посланник к которому-либо народу», этот народ «принимал его лжеца» и, как говорит господь, «мы давали возникать одному народу вслед другим и делали один для другого предметом рассказов». История челове-ства с такой точки зрения представляется постоянной сменой следующих т за другом неудачных миссий с небес, которые служили предлогом для его проявления греховности и непослушания, но эти деяния в свою очередь

обращались в материал для педагогических воздействий на последующее поколение. И там повторялась та же самая история с начала: опять посланничество, опять проповедь — и снова непослушание, неповиновение и грех и проистекающий отсюда новый поучительный пример на пользу последующим поколениям (Коран, с. 23—12—52). Таким образом каждый народ и каждое поколение получали своего посланника и «на каждое срочное время было свое писание»; «бог, что хочет или уничтожает или утверждает: у него первоначально написанный свиток писания». Сам посланник обязан лишь сообщить народу причитающееся ему писание. На пророке лишь обязанность «передать» его, «а наше дело, говорит господь, потребовать в том отчета». «Бог распоряжает всем, и нет могущего остановить его распоряжения: он скор в требовании отчета» (Коран, с. 13—38—41). Вместе с тем бог не посылает никаких чрезмерных требований и не возлагает непосильных задач: «мы обязываем душу, — говорит он, — только к тому, что по силам ей. Пред нами писание, изрекающее истины, и они обижены не будут» (Там же, с. 23—64). И действительно то писание, или вернее программа действий, выполнения которого бог требует у людей, не заключает в себе ничего сверх'естественного.

Обычно, при изложении требований магометанского религиозного закона, в первую очередь перечисляются обязанности культа, затем религиозной чистоты, домашней и семейной жизни и наконец правовых отношений, включая сюда и долг по отношению к государству и власти. Ввиду нашей специальной цели, мы несколько отступим от этой обычной схемы Представление Аллаха как великого бога торговых сношений ставит перед нами совершенно иную задачу. Ведь здесь менее всего идет речь о каком-нибудь освобождении от страдания в буддийском духе или спасении души по христианскому вероучению. Господь Магомета выступает не с метафизической системой или идеально-нравственной программой. Задачи его, несмотря на чисто индивидуалистический подход, целиком проникнуты и материальным, и общественным содержанием. Это своего рода торговая теократия, где бог оказывается на положении высшего руководителя великого предприятия, где участниками должны быть все правоверные муслимы. Из задач и целей такого всемирного предприятия — ибо он есть бог Востока и Запада — и вытекают все те обязанности, которые наложены его волей на его земных клиентов и заложников, коим назначены крупные и мелкие уделы. С этой стороны мы и подойдем к отношениям между человеком и богом, согласно постановлению «первоначально написанного свитка писания». Такие обязанности мы должны разделить прежде всего на обязанности личного характера и материальные или имущественные жертвы. Предпосылкой их всех является открытое присоединение к божественному предприятию и принятие на себя его цели. В других великих религиях здесь мы встречаемся с обширной догматической формулировкой всевозможных предметов веры. И старый израильский закон, и новый христианский символ веры в этом отношении являются образцами такого вероисповедного обоснования. Иное дело в мусульманстве. В виду практического и делового характера отношений

никаких метафизических и догматических скрижалей здесь не имеется. Все исповедание сводится к одной формуле, которая гласит: «Нет бога, кроме Аллаха и Магомета его посланника», «Ла-илаха-иллалла-мухаммадун-расулулла». Этой формулы вполне достаточно для того, чтобы запечатлеть самое главное, а именно подчинение, преданность и послушание Аллаху в качестве абсолютного повелителя души и тела, руководителя и господина всей жизни. И лишь в подтверждение этого акта отдачи себя в распоряжение бога установлено по еврейскому образцу обрезание, создающее физическую связь между человеком и божеством.

Безусловное подчинение единому богу Авраама и Исаака и Иакова, Иисуса и Магомета — есть требование, от которого под страхом тягчайших наказаний нет никакого исключения. На этом пункте мы останавливаться не будем. Достаточно отметить, что здесь мы имеем основание власти, являющейся началом и концом всего мусульманского общества. Ибо оно целиком, все и во всех отношениях есть в истинном и высшем смысле слова теократия, где никто иной, но лишь сам бог есть высший небесный государь и повелитель. И подобно тому, как всякая истинная государственная власть устанавливает в монархии непосредственную связь верности между государем и его подданным, точно так же и здесь связь с божеством личная и непосредственная. Без помощи каких-либо промежуточных инстанций между богом и человеком каждый правоверный зачисляется в великую армию повелителя закона Востока и Запада и становится в числе божьих воинов. «Прямое руководство есть руководство божие» (Коран, с. 3—66). И на первой же основной заповеди этого бога — «Владыки великих щедрот» — мы можем усмотреть именно военный характер и этой теократии и того экономического основания, на котором она возникает. Эта первая и основная заповедь заключается отнюдь не в еврейском законе, гласящем: «Люби господа бога твоего всем сердцем твоим и душою, а ближнего как самого себя». Бог корана есть глава торговой теократии, а посему и заповедь его другая. Как слишком хорошо известно, первоначальная торговля была в такой же степени неразлучна с войною и с грабежом, как современный империализм — с эксплоатацией колоний и порабощением отсталых народностей. История древнего Востока, также как Запада, есть поэтому непрестанное ведение войн там, где проложили первые пути торговцы и купцы со своими товарами. В одной руке аршин, а в другой меч, такова типичная фигура древнего представителя торгового капитала, и она разнообразится лишь в том отношении, что воина и купца пустыни сменяет по временам образ торговца и морского пирата вместе. Отсюда, если Аллах желает быть действительно непосредственным главою своих вкладчиков, заложников и клиентов, то он должен сам стать во главе алчущих добычи армий и в первую голову потребовать от правоверных воинского подвига, храбрости и самоотвержения в битве, честности в делении добычи и готовности принести материальные жертвы для снаряжения в новые походы. И коран, конечно, не оставляет без ответа запросы военно-торгового братства, стоящего под командованием божественного арматора и предпринимателя.

«Да подвизаются в битвах на пути божием те, которые за настоящую жизнь хотят купить будущую: кто будет подвизаться в битвах на пути божием, тому — убит ли будет он, или победит — мы верно дадим великую награду». Так предлагает основную сделку великий капиталист Востока и Запада и продолжает: «Верующие воюют за путь божий, а неверные воюют за путь Тагута». И само собой разумеется, что эти неверные, как нежелающие подчиниться истинному богу войны и торговли обозначаются в качестве — «друзей сатаны». Господь отлично знает, что те выгоды, которые он предлагает в будущей жизни за потерю настоящей, могут кое в ком вызвать сомнение. Ибо «некоторые» скажут: «Господи наш, для чего ты предписываешь нам войну? Чтобы тебе не дать нам отсрочки до близкого уже предела нашей жизни?» Такое сомнение, однако, неосновательно. И коран опять-таки употребляет аргументацию отнюдь не нравственного или философского характера. Здесь дело идет о прямом материальном расчете. Ибо «удовольствия здешней жизни малы, но будущая лучше для тех, кто благочестив: там вы не будете обижены и на толщину плевы на финиковой косточке». Таким образом здесь дело оказывается надежным и верным. И купить за настоящую жизнь будущую — это хорошая сделка, приносящая громадную прибыль. Правда, коран не сразу приходит к такому ясному и точному бухгалтерскому расчету. В первых сурах война обусловлена наличностью нападений, которые в свою очередь покоятся на серьезных материальных основаниях. Первоначально выходит так, что будто бы воевать следует лишь тогда, когда сам подвергается нападению других: «Сражайтесь на пути божием с теми, которые сражаются с вами», «кто враждует с вами, с тем и вы враждуйте, так же как он враждует с вами». Но даже эта военная самозащита отнюдь не отличается особой мягкостью, хотя и здесь требуется, чтобы правоверные не были «несправедливы». «Убивайте их, где ни застигнете их, говорит господь, — изгоняйте их, откуда вас они изгнали». Но уже слишком скоро такая военная самооборона переходит в прямое нападение и притом совместными силами людей и самого Аллаха. Неверным и особенно многобожникам об'является решительная война. Эта война, впрочем, лишена того характера истребительных и беспощадных религиозных войн, которыми окровавлена история человечества. Бог вполне стоит на утилитарной почве и допускает полную возможность мирных сношений даже с многобожниками: реальные интересы прежде всего. И если те «из многобожников, с которыми вы заключили союз, не делали вам никакого ущерба, никому не помогали против вас, то и вы в отношении к ним исполняйте договор с ними в продолжение срока сего». Но такие льготы не должны превышать 4-х месячного срока (перемирия божия). А по окончании его требует бог от своих правоверных: «убивайте многобожников, где ни найдете их; старайтесь захватить их, осаждайте их, делайте вокруг них засады на всяком месте, где можно подстеречь их». Лишь в том случае, если многобожники с раскаянием обратятся, те могут быть пощажены. Но этим увлекаться не следует. Они, «если берут верх над вами, не соблюдают ни клятв, ни обязательств... наибольшая часть их — злодеи... Воюйте с ними: бог накажет их руками вашими

посрамит их, даст вам победу над ними и исцелит сердца людей верующих» Коран, с. 2—186, 190, 215, с. 4—76, 78, с. 9—4, 5, 8, 10).

Величайшие награды ожидают павших «на пути божием». Ряд предписаний закона обращен против тех трусов, которые изменяют богу и к неприятелю обращают свой тыл. Им грозит смерть за такое бегство, при чем сам ог берет на себя ответственность за их убийство: «Не вы убивали их, говорит он своим поклонникам, но бог убивал их; не ты метал, когда метал, но ог метал его». Такое участие бога вполне понятно. Дело в том, что в сражениях на пути божием участвует и он сам. И в то время, как на земле ражаются правоверные, господь посылает им в помощь массы ангелов, «которые будут отличены особыми знаками». Так в одном случае господь посылает 3.000 ангелов, в другом — 5.000 и т. д. В результате такой божественой помощи необходимо следует победа. Конечно, она рождается не одним ожьим чудом: «Держите, говорит господь правоверным, в готовности все, акие можете, военные силы и отряды конницы: ими будете держать в страхе рагов божьих и врагов ваших и кроме них всех других, которых не знаете ы, но которых знает бог». Но в крайнем случае во время битвы будет оказана чудесная помощь: «Если будет в вас 20 человек стойких, они победят 200; если будет в вас 100, они победят тысячу неверных... если будет вас тысяча, они... победят 2 тысячи». И после такой победы при помощи нгелов и чудесной подмоги наступает момент торжества — происходит ахват добычи и раздел ее. И в этом распределении завоеванного добра сам ог участвует в качестве одного из виновников победы: «5-я часть богу, осланнику и родственникам его, сиротам, бедным, путешественникам», стальное распределяется между победителями. Но главная добыча остается се же на небесах в виде блаженных садов отдыха и райского счастья. Отношение к пленным было установлено кораном довольно милостивое. І так как основной задачей было не истребление неверующих, а расширение орговых связей и божеского рынка на возможно большее количество юдей, то отсюда и вытекало основное правило, требующее прежде всего бращения неверных в ислам, т.-е. другими словами присоединение их великой торговой компании корана, и лишь в случае малоуспешности гого предписывалось или уничтожать их, или в лучшем случае оставлять а положении бесправных данников (Коран, с. 3—120, 121, с. 8—17, 42, 6, 68—72) [1]).

---

[1]) Как известно, распространение ислама явилось великолепным воплощением священной и первой заповеди, переданной миру Магометом. Меч стал одним из величайших доказательств истины этого учения, и стремления к хозяйственному расширению арабов очень скоро превратили все важнейшие торговые пути в пути ожии. Первой добычей ислама была Аравия, которая впервые превратилась об'единенную и замиренную стоянку громадной армии земных пайщиков Аллаха. дары против Сирии и Ромейского или Византийского царства были ошеломляющи. рисоединившиеся к арабам и отчасти сменившие их сельджуки делают добычей слама Анатолию, которая и доныне остается под его знаменем. Армения, Кавказ Азербайджан становятся одними из первых жертв великого торгового об'единения. Через каких-нибудь 100 лет после рождения Магомета были завоеваны

Страны, завоеванные рукою ислама, населенные иноверцами, не испытали особенно тяжелого гнета со стороны муслимов, так как, несмотря на заповедь Ноя, приведенную в коране, о том, чтобы на земле не было оставлено «ни одного неверного», так как, если оставить их, то они «введут в заблуждение» рабов божиих «и родят только нечестивых, неверных» (Коран, с. 71—27—29), закон Магомета, несмотря на всю проповедь путей божиих, тем не менее проникнут тем принципом, что «в религии нет принуждения» (Коран, с. 2—257). Поэтому в отличие от римского католичества с его огненными методами убеждения, религия Магомета никогда и нигде не предпринимала никаких принудительных мер по крайней мере для непосредственного и насильственного обращения в ислам, путем жестоких наказаний и преследований за веру. И если против язычников еще держалась заповедь непрестанной войны и соответственного истребления, то в конце концов и с ними по торговым и политическим расчетам заключались союзы и соглашения. Те же страны, которые были завоеваны муслимами в Азии и Европе, были населены менее всего многобожниками. Отсюда же прямой вывод: эти иноверцы лишь нисходили на положение второго разряда подданных в составе мусульманских халифатов и согласно велению корана откупались особой очистительной данью, которой на-ряду с обязанностью послушания и безусловного подчинения и ограничивались их обязанности по отношению к победителям. Иначе и быть не могло. Ибо при синкретическом характере корана поклонники предшествовавших ему религий не были в точном смысле слова многобожниками или язычниками, но лишь людьми, которые познали неполную истину и в этом отношении, хотя и поклонялись единому богу, но в той форме, которая уже была отменена кораном. В мусульманских халифатах поэтому на христиан, евреев, персов и т. п. возлагались особые отличающие их знаки, они лишались права носить оружие, они стано

для его проповеди Бухара, Самарканд и Кабул. Несколько позже мы видим у ног ислама Хорезм и Кашгар. Ислам доходит на Восток до Инда и занимает там твердую позицию. Другой поток муслимов идет в Индию из Бухары и покоренной Магометом Персии, и в Бенгале уже в 1200 году создается магометанская империя. Несколькими путями проникает ислам в Тибет. В Китае учение Аллаха захватывает китайский Туркестан, по великому караванному пути Кашгар — Турфан — Кумул Юмон мусульманство проникает в северный Китай, находит энергичную поддержку в движении монголов и расцветает под кровом Чингисхана. В Африке ислам начал свой победоносный путь с Египта. Следующей добычей его был Судан, Алжир Тунис и Триполи. В Европе вместе с турками ислам поднялся на Балканы и с арабами на Пиренейский полуостров, где завоевателям удалось водвориться на территории современной Испании, при чем в Кордове и Севильи были созданы аристократические республики. Торговые и военные успехи ислама были так велики, что помимо образования могущественных халифатов, существовавших в течение веков, кошелек и меч муслимов дал организацию правоверных на протяжении обоих полушарий, так что в настоящее время по данным статистики имеется около 240 миллионов мусульман на земном шаре, рассыпанных буквально по всем странам света. Как очевидно, религия святого товарищества на паях оказалась вполне соответствовавшей экономическим запросам восточной торговли (M. Hartmann, Der Islam, Leipzig 1909, стр. 167 и след.).

лились беззащитными по отношению к муслимам, но в то же время они оставались совершенно неприкосновенными в своих частных правах, земельном владении и даже в области корпоративного и местного самоуправления. Иго арабов было в общем довольно легко, и в этом секрет такого широкого распространения религии Аллаха и Магомета (Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, в «Die Kultur der Cegenwart», Leipz. 1911, T. II, Abt. II, 1; Hartmann, Die Islam. Staaten, стр. 55).

Политической организации и государственной власти коран сравнительно очень мало посвящает внимания. Непосредственное руководство верующими со стороны бога как бы исключает необходимость установления особых посредников между господом и правоверными. В этом отношении коран совершенно довольствуется своим пророком и его посланниками. И если впоследствии во главе отдельных мусульманских государств становились особые правители халифы, то они обыкновенно претендовали и на светскую и на духовную власть и так или иначе приводили в связь свое происхождение с непосредственным потомством самого пророка. Такой же духовный характер имели и различные имамы, и лишь в институтах султаната и эмирата мы встречаемся уже со светской властью, возникшей самостоятельно в качестве политического учреждения и лишь иногда соединяющейся с духовным характером халифата. В своем тексте коран прямо примыкает к ветхозаветному учению о царской власти, где на первый плач выдвигается военная задача царя. Так по поводу избрания Саула на царство говорится: «Бог избрал его властвовать над вами: он дал ему преимущество в знании и телесной силе: бог дает царство свое, кому хочет». Признается в коране и общая необходимость власти: «Если бы богу не удерживать одних людей другими, то земля расстроилась бы». Однако неясно, идет ли здесь речь о светском царе или божьем посланнике, так как это сказано по поводу Давида, а дальше говорится опять-таки о посланниках божиих. В виде царя представляется и Авраам, соединявший в себе качество царя и посланника божия. Остальные же места корана прямо указывают на присвоение власти специально посланником божиим. И если бог как «царь царства» дает царство кому хочет и от'емлет царство у кого хочет, возвышает кого хочет и унижает кого хочет, то в конце концов все же власть отдается в руки посланника божия или пророка, ибо он посылается «только с тем, чтобы ему по изволению божию повиновались». Бог своим посланникам дает во власть, кого хочет. И точно так же именно посланнику предоставлено распоряжение имуществом покоренных городов: «Что предоставит вам посланник, то берите; что запретит он вам, то считайте для себя запрещенным...» (Коран, с. 2—44—252, 260, с. 3—25, с. 4—67, с. 59—6—9). Приведенные положения корана таким образом оправдывают установившуюся в исламе практику, и соединение халифата со светской властью является принципиально обоснованным самим пророком. О дальнейших формах государственного устройства и управления коран не заботился, так как политическая власть для него была лишь второстепенным орудием для достижения основных и высших целей — образования мировой торговой компании верующих под водительством самого бога

Установленная кораном система имущественного и семейного права не представляет собой ничего замечательного и целиком отвечает тем взаимоотношениям на основе частной собственности, которые существовали в эпоху Магомета в восточном хозяйстве и в частности в торговле. Для нас гораздо важнее другая сторона отношений между правоверными и богом. Мы уже могли проследить выше целую систему отношений в среде небесного предприятия Аллаха, которые на первый план выдвигают коммерческие задачи новой религии. И для нас гораздо важнее поэтому проследить обязанности, налагаемые непосредственно господом на правоверных и об'единяющие небесного хозяина и его земных клиентов в одну грандиозную торговую компанию. С этой стороны второстепенный интерес представляют и те, крайне простые и немногочисленные культовые обязанности, которые по замечанию некоторых ученых дают своего рода военную перекличку великого стана Магомета с его господом, нежели молитву в истинном смысле слова. Уже на примере исповедания веры мы видели, как удобен и прост этот символ. Но такова же и молитва. Пять раз в день правоверный краткими формулами перекликается со своим небесным хозяином путем немногочисленных молитв. В храмах или мечетях он повторяет лишь те движения и слова, которые совершает и произносит перед ним его мулла. Пост точно так же отбывается совершенно механически и не требует никаких особых возношений сердца, покаянных настроений или чаяний искупления. Несложность и доступность каждому обрядовой стороны совершенно изумительна. Можно сказать без преувеличения, что ислам представляет собой в этом смысле наиболее легкую, простую и так сказать портативную религию, которая не только не затрудняет правоверного какими-нибудь метафизическими тонкостями и сложной догматикой, но точно так же выбрасывает за борт всякую способную поставить в затруднение мистику и нравственное богословие с их понятиями первородного греха, последующего искупления, страстей господних, необходимости покаяния, каких либо мистерий и всей таинственной или, как она называется в христианском обиходе, «благодатной» связи верующего с таинственным телом церкви и воплощенного в ней божества. Нет здесь и той философии, которая в буддизме приводит к напряженному личному подвигу освобождения от царящего в мире страдания и погружения в вечную нирвану свободы и покоя. Ни с какой даже чисто рационалистической сектой не сравнится мусульманство по бедности, трезвости и ограниченности своего культа, унаследовавшего от арабской древности лишь один сколько-нибудь затруднительный подвиг — а именно по возможности хоть единого паломничества в Мекку на поклонение черному камню Каабы. Да и то этот подвиг весьма легко совпадал с торговыми интересами обычного арабского караванного пути и только поддерживал центральное положение близких Магомету очагов азиатской торговли.

Для наших целей гораздо большее значение имеют те непосредственные обязанности правоверных по отношению к Аллаху, с некоторыми из коих мы уже познакомились выше. На первом плане здесь стоят как общенравственные обязанности, так и добродетели, вытекающие из требований пра-

вильного делового оборота. Прежде всего мы остановимся на обязанностях нравственных в широком смысле слова. Мораль корана далеко не пред'являет к человеку чрезмерных требований: «Повинуйтесь богу, повинуйтесь посланнику». Это само собой разумеется первая и основная заповедь. И затем уже следует изображение людей, благочестивых в смысле Магометова учения. Это те, которые «дают из имущества своего ближним, сиротам, бедным, странникам, нищим, на выкуп рабов; которые совершают молитвы, дают очистительную милостыню; верно исполняют обязательства, какими обязывают себя; терпеливы в бедствиях, при огорчениях и во время бед». Как очевидно, мы имеем здесь дело с довольно скромным ассортиментом обычных житейских добродетелей: праведными являются те, «которые были терпеливы, правдивы, благоговейны, щедры на пожертвования, просили «у бога» прощения во время утренних зорь». Быть добродетельным в таком смысле слова, это значит ни больше ни меньше, как быть средне добросовестным человеком, каким является торговый деловой человек на протяжении веков. Подобные требовании и сейчас образуют предпосылку нормального обихода средней буржуазии, которую мы иногда называем в культурном отношении «мещанством». Религиозный характер этим требованиям в коране придает лишь то обстоятельство, что они устанавливаются богом и что к ним присоединяются некоторые культовые предписания. И если заповедь войны пред'являет серьезные запросы на мужество, иногда даже героизм, самопожертвование и подобные подвиги, оплачиваемые лишь впоследствии в блаженном раю, то здесь мы встречаемся с обычной жизнью среднего торговца, который, ведя самую ординарную жизнь, в то же время становится и благочестивым и праведным в смысле закона (Коран, с. 2—172, 190, 191, 211, с. 3—15, с. 4—40, с. 23—1—11, с. 64—12, с. 70—22—30).

Но и эти обычные добродетели подлежат известному ограничению и ближайшему определению, поскольку они относятся непосредственно к области имущественного оборота. Так прежде всего в деле благотворительности нужно знать разумные пределы. Вообще не нужно лишать себя земных утех. Так господь рекомендует своим правоверным «одеваться в лучшую одежду» при посещении храма, есть и пить в свое удовольствие, но с известной умеренностью, потому что бог «не любит неумеренных», «скажи, — говорит Магомет, — кто запрещал нарядную одежду, которую бог доставляет рабам своим, и благие снеди из того, чем питаются». Вообще правоверные не должны мотать своего имущества, как говорит бог: «Не расточайте ваших имуществ, потребляя их между собою на пустое, кроме таких случаев, когда будут между вами торговые сделки по взаимному согласию». «Кто богат, тот должен быть воздержан; кто беден, тот должен тратить его (имущество) рассудительно». Даже помогая родственнику, бедному и путешественнику, нужно держаться надлежащей меры: «Доставляй то, в чем нуждается он, но не будь расточителен, расточая выше меры». С другой стороны, осуждению подвергается также излишняя скупость: «Бог не любит тех..., которые скупы и внушают скупость другим людям, скрывают то, что дал им бог из щедрот своих». Нужно уметь оставаться на разумной середине. При производстве

расходов «не прижимай к себе руки твоей, как бы она была привязана цепью к шее твоей; да и не протягивай ее во все протяжение ее, дабы тебе не остаться или осуждаемым за скупость, или обедневшим от мотовства» (в переводе Саблукова здесь стоит слово «тчивости»). Даже оказывать милосердие сиротам можно с некоторым удовольствием и для себя. Так по отношению к сиротам женского пола рекомендуется не только помогать им, но делать это в специальной форме, а именно путем женитьбы на них числом вплоть до четырех. Конечно, это в тех случаях, «если они нравятся вам». Так соединяется приятное с полезным. Но деловая мораль корана на этом не останавливается. Она входит в весьма большие подробности коммерческого оборота. Благодаря такому своему оттенку она в некоторых пунктах гораздо шире и терпимее принятой вне торговли нравственности. Характерно здесь отношение к клятвам. И так как восточная торговля с испокон века пользуется ложными клятвами продавцев в виде рекламы, то и в коране мы находим очень снисходительное отношение к такого рода «празднословию в клятвах ваших». — «Не считайте бога помехой для ваших клятвенных уверений». И это — даже в том случае, если такие клятвы хотят ввести в заблуждение самого бога, а земные клиенты небесного капиталиста уверяют его в своих клятвах, что они «благочестивы, богобоязненны, благотворительны к людям». С другой стороны, однако, некоторые правила морали уточняются для деловой жизни. Бог хвалит особенно тех людей, «которые если дашь им в залог талант, возвратят его тебе». Наоборот, он порицает неисправных должников, «которые, если отдашь им на сохранение динар, только тогда возвратят его тебе, когда ты настойчиво станешь требовать от них». И это вытекает из общего правила, ибо, как говорит господь, «будьте верны в исполнении обязательств, потому что в обязательствах по требуется отчет. Будьте верны в мерении, когда вы меряете для других, и вешайте весами правильными». Такие требования выводятся отнюдь не из каких-нибудь высших идеальных законов, но прямо из положительности и разумности в ведении дел: «Не следуй тому, — говорит господь, — о чем нет у тебя знания», и слух, и зрение, и сердце должны работать правильно и трезво — «за каждое из них будет спрошено». Этим и обеспечивается необходимость быть внимательными «к соблюдению залогов», людям данных «к исполнению... обещаний» и к устойчивости в «свидетельствах». Если поэтому порою мы слышим требование корана о нравственной обязанности быть «стойкими в правде», то это специально относится к судебным свидетельствам, к судебному процессу вообще и нисколько не подрывает главной предпосылки для построения всей морали мусульманского закона. Ибо «своекорыстие постоянно в душе людей» (Коран, с. 2—225, с. 3—68—69, с. 4—2—7, 33, с. 4—41, с. 5—91, с. 7—29—31, с. 17—28—41, с. 23—1—1 с. 70—34, с. 4—61, 127, 134).

В литературе неоднократно указывалось на тот факт, что наступившая после долгого господства католического единоверия протестантская реформация была мощным идеологическим поворотом навстречу запросам торгового а за ним и промышленного капитала, так как этим путем отменялось спа

ение души при помощи так называемых дел, т.-е. заслуг и подвигов, установленных католичеством, и состоявших в различных отречениях от мира, самоограничении, самоистязании и вообще в отказе от пользования радостями жизни и плодами того производства, какое должно было обеспечить материальную сторону всякой радости. С реформацией ушли в прошлое не только монашество и аскеза, безответственная власть всевозможных чудотворцев и мастеров таинственной благодати, но получила освящение трезвая, простая и материальная деятельность средних общественных классов, которые давно взирали на католические проклятия «мамоны» с великим неудовольствием. Реформация при помощи евангелия непосредственно благословила прилавок и мастерскую, возвела в ряд спасенных одною верою и волей провидения каждого лавочника и мастера и тем самым приспособила религиозную и нравственную идеологию к существованию и деятельности нового выступившего на арену истории буржуазного класса (См. об этом подробнее мое предисловие к русскому перев. книги Треймана «Тираноборцы, Спб. 1906 г., стр. 12—14). Закон Магомета, преследовавший задачу идеологического отражения восточной торговли и запросов современного пророку купечества, выполнил ее едва ли не лучше, нежели это сделали Кальвин, Лютер и Цвингли для европейского капитала. Как-никак, там приходилось приспособлять книгу, написанную совершенно в иных классовых целях к новому времени, а в коране мы находим совершенно новое законодательство, непосредственно отвечавшее запросам и определенной хозяйственной среды и довольно узко взятого общественного класса. Коран прямо поражает своей необычайной трезвостью, прозаичностью и рационализмом в деле создания идеологической конструкции. От начала до конца он руководствуется рационально установленной истиной, что «своекорыстие постоянно в душе людей», и отнюдь не думает устранить эту могущественную пружину торгового оборота. Это «своекорыстие» менее всего оказывается грехом. Надо только дополнить его благотворительностью и благочестием, при чем последнее точно так же вводится в весьма скромные пределы. В этом отношении весьма примечательны те положения закона, которые говорят о лихве или лихвенных процентах. По существу господь, установивший существование богатых на-ряду с бедными, не имеет ничего против получения прибыли: «Бог позволил прибыль в торговле». Но в добывании этой прибыли опять-таки нужна известная мера. И те, «которые жадны к лихве», воскреснут исключительно для того, чтобы стать жертвами сатаны. Бог «лихву запретил». Здесь, следовательно, рекомендуется отнюдь не отказ от прибыли, а известная сдержанность и милосердие: «Бог выводит из употребления лихву, но лишнюю силу дает милостыням». Впрочем, и ростовщики-лихоимцы не лишены видов на прощение: «Если вы покаетесь, — говорит им пророк, — то в ваших руках останется капитал. Не обижайте других и сами не будете обижены». Терпимость и милосердие и здесь могут исправить дело. Если должник — «человек, отягощенный бедностью, то ждать, когда его состояние улучшится; но обращение вами долга в милостыню будет лучше для вас». Наказание за лихву оправдывается, кроме того, исторически. Как

оказывается, именно за то, что евреи — «брали лихву... пожирали имущест людей и употребляли его на пустое», они и были так жестоко наказан Ссылкой на природу человека об'ясняется и самое существование беднос Бог «знает внутренность сердец». «Если бы бог в изобилии подавал раб своим жизненные потребности, то они без меры буйствовали бы на земле, он ниспосылает их в умеренном количестве, в каком хочет; потому, что ведает и видит рабов своих». Вывод из этих положений целиком по тверждает сказанное нами выше. Все здесь приспособлено на потребу сре него торговца и вообще того класса мелких и средних собственников, к торые под предводительством крупного торгового капитала в свое вре завоевали великие торговые пути. Ничего чрезмерного не требуется участников божественной компании на акциях, в которую поместить св вклады могут мельчайшие участники с самыми скромными «наделам (Коран, с. 2—276—281, 282—284, с. 4—158, 159, с. 42—26).

Рациональный и, так сказать, торговый характер идеологии корана н сколько не помешал тому, что впоследствии, когда эта религия встретила с запросами других общественных классов, она соответственным образ была изменена и переделана и этим путем приспособлена к иной среде и др гим временам. Мы знаем, что самый положительный и рациональный характ любой идеологии, даже построенной строго научным методом, не гаранти ее от последующих извращений в духе ли героической романтики, или сам неприкрытой мистики. Но учение Магомета, несмотря на свой рационализ меньше всего претендовало на какое-нибудь научное и в этом смысле полож тельное обоснование. И как ни ограничивал Магомет понятие бога, все оно оставалось понятием религиозным и даже не философским, а учение о непрестанном руководстве миром со стороны Аллаха, действующего своей воле — «как захочет» или «как пожелает», этим самым вводи в закономерность реального мира постоянный момент неустойчивости, нео данности и божественного произвола. Правда, Магомет был весьма осторож и в деле обозначения своих посланников и в обещании всевозможных чу здесь, на земле. Подобно иудейству ислам далеко не склонен к представлен людей, подвижников и святых, творящих чудеса. Но за богом способно и власть творить чудеса никто не мог оспаривать, а следовательно, здесь крывался широкий простор для всякой фантастики. Погрешал в этом отно нии и сам Магомет. Напомним здесь хотя бы повести корана о Соломон чудесах, сопровождавших его жизнь и деятельность. Тут мы находим и вой «из гениев, людей и птиц, разделенное на отряды», и муравьев, узнающ Соломона, и войска его, и разные чудеса гениев, устанавливающих связь Со мона с царицею Савской, и ангелов, работающих для Соломона и создающ для него «дворцы, статуи, чаши, широкие как водоемы, котлы, стоящие ак оры», и т. п. (Коран, с. 27—17, с. 34—11, 12, 13). То же заметим отно тельно глиняных голубков детства Иисуса. Вполне естественно, что в слу надобности подобная сила чудотворения и таинственной мудрости могла бы использована и для того, чтобы не только дополнить, но прямо преобразов всю систему корана в священную книгу мистики и чудотворения.

Мы неоднократно встретим в истории теократических систем такие извращения и переделки весьма рациональных, даже атеистических воззрений. Мистика тем и хороша, что путем извращения понятий и значения слов она подставляет под определенный словесный сигнал или вообще отображающий символ любое содержание, с ним совершенно не связанное. Стоит лишь перейти к аллегорическому толкованию, к разысканию скрытого смысла, казалось бы, совершенно ясных и точных положений. Судьбы ислама в этом отношении нисколько не лучше истории буддизма. И как мистика, определенно чуждая Магомету и его классу, увенчала собой систему мусульманства, точно так же и буддизм, построенный на психологии и философии без участия какого бы то ни было божества, в конце концов дал несколько форм теократии, завершенной чисто католической церковью и таким церковным государством, как доныне существующая область тибетского первосвященника или Далай-Ламы. С другой стороны, величайшим грехом ислама, как религии, было его нежелание ставить и разрешать общий вопрос о классах и их взаимоотношении. Коран оставляет богатых и бедных целиком на их местах и примиряет противоположности этих двух общественных групп лишь путем крайне недостаточной благотворительности, с одной стороны, и терпения — с другой. Такое игнорирование междуклассовых отношений было хорошо, пока Магомет говорил только во имя одного класса и лишь для него. Поскольку эта система выразилась впоследствии в господстве завоевателей над побежденными — она точно так же могла существовать. Но как только среди самой мусульманской массы произошло социальное расслоение и под знамя Магомета встали в одинаковой степени и муслимы имущие, богачи и предприниматели и муслимы бедные, живущие не добычей, а своим трудом, идеология корана оказалась явно недостаточной и потребовала весьма серьезного и радикального дополнения. Как мы увидим не раз, одним из самых радикальных решений в области междуклассовой розни является общее отрицание, материи и материального интереса, как области, порождающей наиболее опасный конфликт. И в древности, и в настоящее время вопрос борьбы классов и противоположности их интересов легче всего разрешался таким путем, что люди прямо и сознательно отказывались от его решения и создавали себе золотой мост для бегства и отступления прочь от этой страшной социальной проблемы. Признать, что противоположность классовых интересов не существует, было всегда легче, чем решить спор в сторону труда или капитала, а так как именно материальные условия и материальные запросы были той почвой, на которой вырастали и классы и их интересы и борьба, то самым простым было отказаться от всякой материи, плоти и связанного с нею греха, чтобы этим путем примирить и богатого и бедного в сфере чистого духа и таинственного мистического спасения. Мистика уничтожает материю. Дух отрицает разорванную на классы плоть. Духовный подвиг уничтожает всякое значение материальной деятельности и борьбы. Отсюда ясно, — как только мы встречаемся с общественными классами в их отношении друг к другу, является и потребность идеологии, которая путем мистики или идеализма превращает религию одного класса в идеальную и единую идеоло-

гию нескольких враждующих между собой классов. Так случилось и с мусульманством.

Превращение строго утилитарной и рациональной религии купечества в мистическую религию внеклассового спасения началось уже очень рано Уже в первом и во втором столетии Гиджры появились на-ряду с правоверными вообще особые святые, которые и по внешнему виду отличались от обычных верующих. Носимое ими платье из грубой шерсти—суфа—дало им и свое имя так что они стали называться суфиями. В начале они еще не удалялись из мира и в этом отношении не нарушали заповедей корана, однако уже собирались для особых религиозных упражнений, состоявших в длительном призывании бога. Самое развитие и организация таких религиозных общин относится к значительно позднему времени, но начатки таких экстатических и мистических упражнений появились уже в указанное нами время. В Персии учение суфиев получило чрезвычайное распространение, так как здесь были для этого достаточные социальные предпосылки. Во-первых, это была эпоха тяжелого национального унижения, а следовательно, и состоятельные классы были не прочь отречься от бренного мира и искать утешения в религиозном забытьи. Во-вторых, здесь ислам охватил сразу людей нескольких классов а следовательно, должен был восполнить ту идеологическую прослойку междуклассовых отношений, которую до него уже создала религия Зороастра и Митры. Поэтому коран в Персии сразу должен был перестроить религиозную бухгалтерию святого рая «Фирдависа» на мистический союз всепримиряющей любви, а личное представление о боге расплылось в полнейший пантеизм, что, может быть, отчасти об'ясняется и влиянием индусской системы Веданты. Персидская поэзия сослужила в этом отношении корану большую службу, так как именно здесь мы встречаем целый ряд пантеистических мистиков, воспевавших суфитскую «любовь». Турки, принявшие коран, в значительной степени унаследовали такое суфитское движение В конце концов мы находим образование своего рода суфитских обществ которые в нравственной организации менее всего могли удовлетвориться рациональной моралью ислама, а в религиозном отношении создали под руководством шейхов об'единения аскетов с предварительным ученичеством и цензом с регулярными религиозными упражнениями сурового и утомительного характера (Шантели де ля Соссей, т. I, Гудсма, Ислам, стр. 382—384

И текст и смысл корана совершенно исключают какое бы то ни было монашество. В этом отношении сходство между европейским протестантством и религией ислама неоспоримое. И однако же социальные интересы привели и здесь к нарушению строгого закона Магомета. Бегство от мира и его основного ужаса — классового раздвоения — не могло разрешиться иначе, как путем действительного создания такого общества, где одинаково сходились бы и богатые и бедные в поисках единой истины, а самое главное — единого и общего отречения от суетного, грешного и страшного мира классовой борьбы. Такие монашеские организации и бегство в аскетизм само собой разумеется, диктуются не столько интересами трудящихся, сколько имущих классов, так как именно последним особенно грозит всяко

ивное обнаружение и реальное обострение классовых интересов. Монашество — это везде и всегда та плата или даже контрибуция, при помощи коей имущие классы откупаются от угрозы классовой борьбы, доставляя различным орденам официальных нищих и живой материал в виде подвижников, спасающих душу, и материальные средства — в качестве той милостыни и пожертвований, которыми живут многочисленные паразитические организации ничего не делающих тунеядцев в монашеской одежде и под кровом аскетического самоотречения. Впрочем, конечно, эти люди не совсем тунеядцы, так как они делают большое идеологическое дело ослабления классовой розни и оправдания классового строя. Неудивительно поэтому, что, начиная с XII и XIII веков и до сих пор, в исламе процветают многочисленные монашеские ордена со своими собственными зданиями или монастырями и с различными приемами выработки религиозного подвига. При помощи воя, верчения и своеобразных танцев дервиши доводят до высокой степени экзальтацию и становятся способными к тяжелым самоистязаниям. Монастырских дервишей дополняют собой не менее многочисленные нищенствующие монахи, питающиеся исключительно милостыней. Само собой разумеется, что не было недостатка и в политическом образовании таких монашеских орденов и в Северной Африке особенно прославился орден Сануси, который до сих пор заставляет говорить о себе как о политической силе (н. с., стр. 384—385).

Развитие ислама из классовой религии в междуклассовую систему, особенно в таких странах, где существовали широко развитые идеологии мессианского типа, должно было дополнить и учение корана соответственной надстройкой. Как мы можем видеть на истории еврейского мессианства, для удовлетворения широких крестьянских запросов нельзя было обойтись без обещания земного рая и особого чудотворца в качестве социального реформатора. При известных условиях массы трудящихся становятся чрезвычайно нетерпеливы и не могут удовлетвориться тем компромиссом, который предлагают им в виде различных подвижников и монахов, демонстрирующих в царстве богатства и бедности святую нищету и религией освященное рабство. Точно так же не удовлетворяются эти массы обещаниями потустороннего блаженства, так как порою слишком очевидна возможность приобретения этих благ здесь на земле. В особенности нуждался в мессианском дополнении коран, так как здесь рай был результатом своеобразной сделки между воинами-купцами и богом и был основан на участии земных пайщиков в небесном предприятии. Но те, у кого не было никакого «надела», кто не мог рассчитывать здесь ни на какую «добычу» и вообще говоря не был в состоянии сделать взнос в акционерную компанию святого рая «Фирдависа», тот нуждался в получении хотя бы части этого рая здесь на земле, а следовательно, и в новом посреднике между богом и людьми в виде мессии. С другой стороны, такой мессия мог и должен был стать необходимостью для ислама в случаях его неудач и победы со стороны неверных. Вполне естественна была мысль, что подобно тому как Магомет в качестве посланника божия двинул массы муслимов на блестящее завоевание мира, точно так же

должен явиться новый пророк, преемник Магомета, и освободить от порабощения правоверных, положить к их ногам всю вселенную. Основой для такой теории была уже указанная нами выше своеобразная философия истории в коране, где появление отдельных пророков, Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса и Магомета — было связано с особыми периодами времени, а так как шесть периодов уже истекли, то было логично заключить, что последний, седьмой, период будет ознаменован появлением нового пророка или Махди, который и спасет правоверных. Раскол ислама на два направления суннитов и шиитов особенно благоприятствовал такой переделке ислама, и шииты, которые сделали предметами поклонения в качестве своего рода искупителя одного из наследников Магомета, сына Фатимы Али, с особенным успехом перевели на язык ислама еврейское учение мессианства и этим доставили персидским массам утешительную надежду в спасение мира при помощи нового посланника, прямого продолжателя и преемника великого пророка (н. с., стр. 385—391). При изучении христианства мы впоследствии еще раз вернемся к рассмотрению социального значения, так же как идеологического выражения мессианских идей с их страстями господними, искуплением и окончательным водворением рая.

Во всяком случае ислам сделал свое дело. В виде ли чистой религиозности восточного купечества или с дополнениями суфитского и мессианского характера (махдизм) он дал идеологическое завершение и организацию сотням миллионов восточного человечества. Падение его будет результатом радикального изменения производственных отношений на востоке под давлением нового промышленного и финансового капитала, и тогда лишь поэтическое значение получат великолепные клятвы Магомета при установлении им священного корана:

> Клянусь солнцем и утренней светозарностью его
> И луною, когда она последует за ним,
> Клянусь днем, когда он открывает блеск его,
> И ночью, когда она закрывает его,
> Клянусь небом и тем, кто устроил его,
> И землею и тем, кто распростер ее,
> Клянусь душою и тем, кто образовал ее, —
> Вдохнул ей нечестие и благочестие ее:
> Блажен тот, кто очистит ее.
> Нечестен тот, кто оскудит ее. (Сура 91, солнце, стихи 1—10).

Блаженным станет не старозаветный купец, а современный промышленник и коммерсант, пока не установит своего «блаженства» в социальной революции грядущий восточный пролетарий.

ЗА РУБЕЖОМ

Кемализм.

(Письма из Турции).

Константин Юст.

Европейский империализм убил Оттоманскую империю. Но он же породил совершенно новое государство, доставляющее ему сейчас столько хлопот. Не довольствуясь жестокими условиями Мудрасского перемирья, которые сводили империю на положение небольшого Анатолийского полуколониального государства, Антанта стала продвигаться дальше.• Аппетит приходит во время еды. Англичане заняли Моссул, Самсун и стали лихорадочно готовиться к оккупации всего юго-восточного района под официальным предлогом создания «автономного Курдистана». Французы захватили Зонгульдак и Киликию и начали продвигаться оттуда на север, оккупируя Аинтад, Урфу, Мараш. Итальянцы разместились в Адалии, распространяясь к Айдину и Конии. Об'единенные союзнические отряды оккупировали все внутренние железные дороги. Греки заняли Фракию. Все яснее и рельефнее становились планы захвата Константинополя и организации Великой Армении на Востоке и греческих государств на Севере (Понт) и на Западе (Смирна). Наконец, в кругах турецких патриотов были получены сведения, что англичане из Самсуна и французы из Аданы готовят поход на Ангору и Сивас, с тем, чтобы завершить захват всей страны и окончательно ликвидировать Турцию.

Новая Турция родилась в тот день, когда Греция, — этот черный овод, посаженный Антантой на израненное турецкое тело, — оккупировала, в свою очередь, «Гюзель-Измир» и когда воды Смирнского залива были залиты турецкой кровью. Занятие Смирны было последней каплей, переполнившей чашу всетурецкого терпения. После взятия Смирны Анатолия, омываемая морями, сохранила из множества своих портов только Трапезунд, да и тот же отходил по Севрской карте в руки великой дашнакской Армении. Саранча прыгает раз, два раза, но на третий раз ее ловят. Европейский империализм обожрался турецкими землями и не смог их переварить. Анатолийское крестьянство восстало против оккупантов, анатолийская буржуазия стала во главе движения идеологически, оттоманские паши возглавили его в военном отношении, духовенство ислама благословило его от имени Аллаха. Все национальности, жившие в пределах Анатолии и Румелии, перешли в этот двенадцатый час на сторону врага, и отстаивать обломки империи пришлось

только туркам, тем анатолийским туркам, которых в течение всей своей истории так презирала султанская свора. Из Салоник, города, который дал империи столько великих людей, в котором родился Иттихад, на десять лет предотвративший гибель империи, из Салоник пришел вождь, уже имевший в недавнем прошлом Анафарту и Йильдерим и сумевший стать во главе движения, направить его по надлежащему руслу, использовать разногласия между ослепленными империалистами, опереться на далекий Север, откуда шел буран освободительной революции, привести движение к победам и придать ему свое имя, имя Мустафа-Кемаля. Когда арба сломана, то находится много людей, торопящихся указать дорогу. Когда десятилетиями гибла Оттоманская империя, оттоманские политики самым энергичным образом составляли планы ее спасения, заседали, обсуждали и постановляли. После Мудрасской петли священный Стамбул, во главе с падишахом, стал на этот же путь. Счастливы народы, которые в критический момент своего бытия могут дать из своей среды вождей, находящихся на уровне исторических событий и воплощающих в себе всю волю и мощь угрожаемых гибелью классов населения. Анатолия выдвинула такого вождя, и кемализм победил.

Однако вековые устои не умирали так быстро, как откатывались к морю греческие и союзнические полки из Анатолии. В чьей арбе сидишь, должен и песню того петь. Против оккупации поднялась вся Анатолия, за исключением лишь придворной челяди и непосредственного окружения падишаха. В ряды движения встали убежденные революционеры и сторонники реакции, светские радикалы и дельцы клерикализма, Иттихад и многие из исторически враждебных ему итиляфистов. Нужно было приспособиться к этим «живым» силам, нужно было, на время вооруженной борьбы, затушевать новые лозунги и поставить перед движением такие «общенациональные» и «внеклассовые» задачи, которые сплотили бы эту идеологическую абракадабру, придали бы внешнее единство, — одним словом, нужен был временный тактический оппортунизм. Вот почему национальная армия, громившая греков, шла вперед не только во имя спасения страны, но и под лозунгом освобождения «священной особы халифа» из унизительного плена неверных. Печатные органы армии и официальные декларации правительства, созданного Кемалем в Ангоре, после Эрзерумского и Сивасского конгрессов, призывали народ к защите Ислама, к борьбе Полумесяца против Креста. Широко используя британскую королевскую казну, Вахидэддин организовывал восстания против Кемаля, об'являя его в своих фетвах мятежником и бандитом, вел против него верные султану войска и приветствовал греческую интервенцию. Мустафа-Кемаль, отбивая одной рукой эти халифатско-султанские армии, другою рукой продолжал молиться за Вахидэддина, отправлять ему верноподданнические послания, клясться в верности падишаху.

Путь из Эрзерума в Ангору и Смирну оказался долгим и тяжелым.

Великие августовские бои (1922) привели Кемаля в Смирну и затем в Муданию. Успехи вождей движения достигли зенита славы, и Мустафа-Кемаль решил использовать их. Смирнские «зейбеки», оставляя своих

мертвых на поле битвы, отрезали им головы, чтобы быть уверенными в их смерти. Мустафа-Кемаль, посчитавший, что после Муданийского перемирья можно больше не церемониться с султаном, решил поступить по примеру зейбеков и отрезать голову у погибшей империи, — голову, которой еще так недавно национальное движение оказывало полный почет. Кормить ворону для того, чтобы она потом выклевала глаза, больше не было нужно. Вернувшись в Ангору после Муданийского перемирья, Мустафа-Кемаль, используя свой авторитет, как спасителя отечества, провел через Меджлис закон 1 ноября о ликвидации султаната, о низвержении Вахидэддина, по адресу которого были, наконец, произнесены надлежащие «слова», и об установлении нового строя, режима Меджлиса. Закон Первого Ноября, явившийся первым официальным революционным актом, обезглавил уже смердевший труп Оттоманской империи, и 17 ноября, спасая свою шкуру, Вахидэддин бежал из Стамбула сперва в Геджас, затем в тихое Сан-Ремо. Но — дырявый камень остается недолго на земле. Николай Романов закончил свои гнусные дни у стенки. Вряд ли могут надеяться на что-либо лучшее, кроме виселицы, его собратья по Египту, Марокко, Тунису и другим восточным «самодержавным колониям». Но смерть Вахидэддина, последовавшая в Сан-Ремо через три с половиною года после его бегства из Стамбула, — от животного страха и дикой мании преследования, — была наиболее позорной казнью. От Керзона — до Муссолини. От английской опеки до итальянской, тоже исторически враждебной туркам. — Уж лучше плаха.

Ликвидация султаната явилась первым «прощупыванием» ребер клерикально-реакционных попутчиков национального движения, первым ударом по фронту консерваторов. Реформа Первого Ноября сметала не только личность Вахидэддина, — она уничтожала самый трон падишахлыка, стало быть один из священнейших устоев Ислама, краеугольный камень режима, строившегося на религиозном феодализме. Поэтому, несмотря на ореол движения, спасшего страну от верной смерти, клерикалы и консерваторы все же решились на отмежевание от Кемаля, на разрыв «единого фронта». Вахидэддин, слишком уж скомпрометировавший себя в глаза всего населения, был оставлен служителями Ислама на произвол судьбы. Нужно было спасать лишь самую идею султаната, и реакция выступила с этой защитой уже 1 Ноября. Так свершился первый раскол в кемалистском национальном движении, вскоре же приведший к созданию в Меджлисе так называемой «Второй Группы». Кемализм констатировал необходимость «передышки», для очищения своих рядов. В течение Первой Лозанны Кемаль укрепил позиции своей Первой Группы, подготовил ее реорганизацию в так называемую «Народную партию» («Халкфыркасы»), с другой стороны терроризовал вождей Второй Группы и, когда положение выяснилось и стало очевидным, что Вторая Лозанна приведет к подписанию договора, распустил Меджлис и об'явил перевыборы.

Второй Меджлис, созванный в августе 1923 года и составленный в большинстве, благодаря личным заботам Кемаля, из более или менее надежных его сторонников, вскоре же после ратификации Лозанского договора пришел к выводу, что «передышка» закончена и что революция может итти дальше.

29 октября была об'явлена Республика («Джумгуриет»), логически продолжившая собою недоделанную реформу Первого Ноября. Через две недели после провозглашения Республики, окончательно оформляя ориентацию на Анатолию, на широкие народные массы, кемализм декларировал столицей нового государства Ангору, возвращаясь, тем самым, к тюркским временам Эртогрула и Орхана и бросая открытый вызов всему наносному, не-тюркскому, оттоманскому и безнациональному. Одновременно началась подготовка общественного мнения к дальнейшим реформам, к официальной смене ориентации с Кашгара на Европу, с Востока на Запад.

Однако Второй Меджлис вовсе не оказался таким монолитно-кемалистским, как это предполагалось вначале. Среди военных вождей движения было немало таких, в которых кемализм и раньше сомневался, хотя в лагере открытой оппозиции они еще не были. Являясь в своем большинстве представителями портовой посреднической буржуазии, которая, сохраняя оттоманские тенденции, не верила в творческие силы турецкой Анатолии, была тесно связана с иностранным капиталом и находилась под его влиянием, выявляя, с другой стороны, интересы султанской, военной, гражданской и духовной бюрократии, которая не желала лишаться праздной жизни на берегах Босфора за счет анатолийского мехмеджика и не хотела итти в Анатолию, — эти паши и беи стали колебаться при первых же внутренних реформах, пытаясь задержать их, помешать революции в ее поступательном движении. Эти колебания заставили Кемаля, в свою очередь прибегнуть к репрессалиям к своим недавним сторонникам, путем снятия их с руководящих постов. В результате к их идеологическому недовольству присоединилось личное озлобление людей, оказавшихся без места. Отсюда их выступления против провозглашения республики, — выступления, убедившие Кемаля в том, что эти лица были тоже только «попутчиками», что благодаря их активности борьба с ними неизбежна и что сговор с ними обозначал бы лишь капитуляцию.

«Остановить быстрый ход поезда, если он и наезжает на стадо баранов, нельзя». Однако кемализму пришлось на некоторое время остановиться. Прежде всего, антантовские державы умышленно задерживали ратификацию Лозаннского договора, ожидая раскола в рядах националистов и думая использовать его в своих целях. С другой стороны, перед тем, как решаться на открытый разрыв с такими лицами, как Али-Фуад-паша, Киазим-Карабекир-паша и Реуф, необходимо было «измерить» их вес, прощупать влияние этой группы на массы. Поэтому уже в ноябре 1923 года была об'явлена новая «передышка». Поскольку лидеры новой оппозиции развили к этому времени энергичную кампанию против Кемаля во всех портовых газетах, перешедших на их сторону, и, с другой стороны, начали налаживать контакт с открытыми клерикально-реакционными элементами, Кемаль, воспользовавшись удобным предлогом (клерикальное письмо индусов Эмир-Али и Ага-хана), отправил в Константинополь знаменитый «Истиклял-Мехкемеси» (Суд Независимости), создавший себе жуткую известность казнями дезертиров и анатолийских греков.

Суд не смог уже тогда, в декабре 1923 года, приступить к расправе с оппозицией, и этому помешал совсем не страх перед нею. Напротив, Суд сразу же выяснил, что одно лишь его появление ошеломило «оппозиционеров», часть которых ушла в подполье, часть же поторопилась отречься от вождей. Кемалю стало ясно, что широкие массы не поддержат оппозицию и что опоры недовольных пашей и беев неустойчивы даже в портах. Опасность для кемализма выявилась совсем в другом месте, в недрах его собственной партии, где нашлись отдельные группы депутатов, настроенных «эволюционно», протестовавших против репрессий, связанных с новой оппозицией еще со времени совместной борьбы и мечтавших о возможности «сговора» с нею. Эти группы, поддерживаемые довольно значительным «болотом», которое было вообще против всяких решительных внутренних мер, восстали против «излишней суровости». В партии появилась трещина, и это заставило Кемаля отсрочить борьбу и ожидать более удобного момента. Однако посылка суда в Константинополь все же принесла пользу, в смысле подготовки почвы для реформы и выявления бессилия оппозиции. После-октябрьская передышка была об'явлена законченной. Идя на окончательный разрыв со старой империей, кемализм смог декларировать уже третьего марта 1924 года такие величайшие по своему значению реформы, как ликвидация халифата, изгнание из Турции всех членов бывшей династии, во главе с халифом, уничтожение министерства религии, закрытие шериатских судов и религиозных школ, лишение начальника генерального штаба армии права входить в кабинет и, с другой стороны, создание комиссариата земледелия, лаисизация суда и школы и т. д. и т. п.

Третье марта явилось одною из самых великих исторических дат в жизни того государства, которое возникло на развалинах империи. Реформою первого ноября, приоткрывая краешек завесы, кемализм сделал большой, но всего лишь первый шаг в сторону оформления нового строя, придания ему нового содержания. Ликвидация трона султаната неминуемо влекла за собою провозглашение нового республиканского режима, которое состоялось ровно через год. Компромиссная форма «власти Великого Национального Собрания», декларированная в самом начале национального движения, воспевалась в свое время в одах официальных газетчиков и публицистов, как наилучшее и наибольшее воплощение идеала «народного суверенитета». Хотя официальные публицисты доказывали, что установлением той новой формы власти Ангора показала новые пути всему миру и что власть Меджлиса будет являться примером для западных демократий, это никого не убеждало. Радикальное крыло кемалистского движения сознавало, что «власть правительства Меджлиса» является лишь переходной формой, знаменует собою неизбежный компромисс реакции и клерикализму и что новый режим необходимо зафиксировать в точной формуле. Этот новый шаг удалось сделать 29 октября, когда вместо «режима Меджлиса», одного из зигзагов, по которым шел кемализм, в Ангоре была провозглашена «Джумхуриет». Однако и этот акт, и этот второй шаг далеко еще не означали завершенного оформления нового порядка. Прежде всего, нужно было опреде-

лить, какую республику об'явили депутаты кемалистского Меджлиса и по какому пути они поведут ее. Можно ли было назвать республикой, в европейском понятии этого слова, строй, который, изгоняя Вахидэддина и ликвидируя трон султаната, оставлял в то же время в неприкосновенности халифат, воплощавший в себе все черты прежнего автократического режима и знаменовавший сохранение основ религиозного феодализма. Власть султаната, как такового, фактически перестала существовать уже после иттихадистской революции 1908 года и после реакционного мятежа 31 марта, так как она была урезана конституцией. После 1909 года юридической и фактической властью в стране был только Оттоманский парламент. Однако, вместо светской власти, перешедшей к парламенту, султан сохранял и усиливал свою религиозную власть, как халиф, как «предводитель правоверных», как тень Аллаха на земле. В этих условиях реформа первого ноября, изгнавшая Вахидэддина и ликвидировавшая султанат, как светскую власть, вносила, фактически, малые изменения, являясь скорее демонстративной мерой, поскольку халифат был оставлен в неприкосновенности. Более того, ликвидируя султанат, кемалистский Меджлис декларировал всему миру, что священное халифатское знамя продолжает сохраняться в руках турок, что выразителем идеи халифата является сам Меджлис и что передать кому-либо право на халифат Турция не хочет. Делая соответственный вывод из этой декларации, Меджлис тотчас же после низвержения Вахидэддина произвел выборы нового халифа, в лице Абдул-Меджида, члена все той же Оттоманской династии. Можно ли было назвать республикой режим, который так ревностно относился к идее халифата и парламент которого, сохраняя теснейшую связь государства с религией, производил выборы халифа, отправлял ему по этому случаю верноподданнические приветствия и, стоя, выслушивал его ответные послания?.. Можно ли было назвать республиканцами и революционерами депутатов этого Меджлиса, которые, под влиянием оттоманских традиций, путались в своей идеологии, терялись перед новыми задачами движения и позволяли себе итти на такие шаги, как предложение Кемалю сперва султанского трона, а затем халифатского звания...

Идея халифата уже давно изжила себя в мусульманском мире. Анатолийские турки проделали громадный опыт в этом отношении, отказавшись от своей национальности и веками борясь за торжество этой идеи, за расширение границ безнационального мусульманского государства, и именно анатолийские турки лучше других знали, что, несмотря на всю былую силу оттоманского оружия, мусульманский мир далеко не весь признавал религиозную власть стамбульского халифа даже в период расцвета их завоеваний. В период распада империи и особенно после иттихадистской революции эта власть халифа была более или менее реальной только в Анатолии и только среди турок. Многомиллионные шиитские страны, во главе с Персией, никогда не признавали стамбульского халифа. Такой же позиции придерживались арабы, с возникшими у них новыми течениями в религиозной мысли («вахабиты»). Мусульмане Судана признавали единственным религиозным вождем своего улема, Абдулла-эль-Таиси. В Триполи население знало лишь

шейха Сенусси. В Тунисе халиф был известен только по имени, но даже упоминание о нем строго запрещалось ревнивыми тунисскими беями. Марокко знало своего собственного халифа. В результате, стамбульского халифа признавали, фактически, лишь российские и индусские мусульмане. Однако турки понимали, что признание российских мусульман диктуется не религиозными, а национальными тенденциями (тюркские народности), в то время, как индусские мусульмане использовали Оттоманского халифа только в демонстративных политических целях, для давления на английских оккупантов. Наконец, в среде самих турок, благодаря изуверской нетерпимости исламской догмы, уже давно стали создаваться всевозможные секты, наподобие таких же сект, образовавшихся во всех других мусульманских странах, и все эти «мевлеви», «бек-таши», «накшибенди» и им подобные не признавали константинопольского халифа, почитая только своих руководителей, своих «шейхов» и «пиров».

Третье марта явилось днем, когда кемалистское национальное движение, суммируя вековой опыт анатолийских турок, вбило осиновый кол в могилу халифата и торжественно провозгласило свой отказ от политики панисламизма, от ставки на жупел «религиозного единства исламитян». Третье марта было, в то же время, и днем, когда турки окончательно выбрали свою новую внутренне-политическую ориентацию, ориентацию на тюркизм, на создание своего национального турецкого государства, светского, демократического, республиканского и европеизированного. Если перед иттихадом, кроме панисламизма и тюркизма, намечалась еще третья дорога, — в сторону примирения с меньшинствами в рамках «оттоманизма», — то кемализм с первых же месяцев борьбы решительно закрыл перед собою этот путь.

Реформы третьего марта, помимо социально-политических трансформаций, поставили перед кемализмом и вопрос об уточнении экономического базиса. До этого времени кемализм, по соображениям единства фронта, выступал в качестве выразителя «обще-национальных» и «внеклассовых» тенденций. По сути дела, под прикрытием этой ширмы, внутренняя анатолийская буржуазия уже давно выдвинулась на первое место и стала главным руководителем движения. В после-Лозаннский период ее аппетиты постепенно возрастались. Проведя во время национальной борьбы экспроприацию имущества армян и греков и избавившись, вместе с тем, от их опасного соперничества внутри страны, анатолийская национальная и националистская буржуазия пошла по линии наименьшего сопротивления и стала вкладывать свои капиталы во внутренние торговые операции, будучи еще неспособной к промышленной деятельности. Руководители этой буржуазии вскоре же увидели, что в лице портовых торговых соотечественников они имеют нового и опасного конкурента. Портовая буржуазия, имея постоянно дело с мощным иностранным капиталом, уже давно изверилась в перспективах внутреннего развития страны. Она приветствовала ликвидацию меньшинств, так как в свою очередь видела в них опасных конкурентов. Однако, заняв их места, она не делала никаких попыток развиться дальше и ограничивалась компра-

дорской ролью, ролью только посредника между иностранным капиталом и внутренним рынком. Внутренняя буржуазия, стремясь интенсифицировать процесс накопления своего капитала, мечтала об установлении прямых связей с Европой, через второстепенные порты, минуя посредников крупных портов. Поскольку ее планы отвечали общим тенденциям вождей движения, и поскольку именно она организовывала борьбу против оккупантов, кемализм вскоре же после Лозанны стал решительно опираться именно на нее, предоставляя ей всевозможные льготы и игнорируя портовую буржуазию, как чуждую движению, не националистскую и незаинтересованную в сохранении независимости страны. Прежняя зависимость Анатолии от портов стала заменяться зависимостью портов от Анатолии. С другой стороны, понимая, что Турция сможет укрепиться только в результате роста народного хозяйства, и что единственным ее богатством является только земля, кемализм стал принимать решительные меры в сторону развития сельского хозяйства (создание комиссариата земледелия), уменьшения налогового бремени, лежащего на крестьянстве (ликвидация злополучного «ашара»), перенесения этого бремени на город, и особенно на порты, развития железнодорожного строительства, которое дало бы рынки сбыта для сельскохозяйственной продукции (решение строить на средства казны новые желдороги), и, наконец, ликвидации таких крепостей иностранного капитала, как французское «Режи», мешавшее развитию табаководства, и английская администрация Анатолийской желдороги (решение о выкупе). Сельское хозяйство, как база всей экономики, и внутренняя буржуазия, как власть, — таким был тот экономический базис, который кемалисты подвели под свое новое государство, и который получил свое оформление в тех же реформах третьего марта и в принятой, вслед за ними, новой республиканской конституции.

Эти трансформации в социальной, политической, религиозной и экономической областях не могли не привести к расколу «живых сил» движения. Реформы третьего марта показали всем попутчикам, что кемализм решился порвать с ними, что отныне сохранять фиговый листок единства было бы глупо и что борьба неизбежна. Лидеры новой оппозиции полагали, что, кроме портовой буржуазии, иностранного капитала, клерикалов и других недовольных, они будут поддержаны также и Восточными вилайетами, положение которых, после опустошительного нашествия царских войск, было чрезвычайно тяжелым. Связать эти вилайеты с Анатолией и дать выход для их продукции кемализм мог еще не скоро, так как постройка желдорог требовала больших средств и долгого времени. Имея в течение столетий дело с нашествиями то шиитских, то царских (христианских) войск, и, с другой стороны, соперничая с местными армянами, население этих вилайетов не знало других концепций, кроме религиозно исламистских, и национально-тюркские идеи в его среду почти не проникали. С другой стороны, в Восточных вилайетах была сконцентрирована большая курдская масса, вожди которой пользовались всякими льготами при султанате, строили все свое благосостояние на принципах религиозно-феодального единовластия, а потому не могли не выступить против реформ третьего марта. Шатания в кругах

партии, которыми постаралась воспользоваться новая оппозиция, и неподготовленность этого плана, вызвавшая образование так называемого «мартовского большинства» (хотя и кратковременного, но тревожного) заставили Кемаля отступить и согласиться на некоторое формальное ограничение его официальных прав. Считая, что и после этого положение остается беспокойным, и боясь, как бы оппозиция не развила своих успехов, Кемаль поторопился провести конституцию через Меджлис, после чего первая его сессия была об'явлена закрытой.

Промежуток между апрелем и октябрем 1924 года был периодом, когда обе стороны, «сидя в окопах» (по фигуральному выражению самих кемалистов), организовывали свой тыл и готовились к борьбе. Обстановка для роста оппозици была вполне благоприятной. Иностранный капитал, взбешенный националистской политикой Ангоры в области экономики, оказывал кемализму сильнейшее противодействие на всех путях его внешнего и внутреннего развития, требуя отказа от «ксенофобии» и настаивая на экономической капитуляции. Неразрешенными оставались не только такие вопросы, как Моссул и Дэтт-Пюблик, но и самая ратификация Антантой Лозаннского мирного договора. Внутри страны росло недовольство медленным восстановлением народного хозяйства.

Вторая сессия Меджлиса открылась в октябре. Пропасть между обоими лагерями достигла таких размеров, что, несмотря на октябрьский ультиматум Макдональда, раскол все же состоялся. Кемаль считал, что нахождение оппозиции в рядах народной партии представляет из себя гораздо большую угрозу, нежели этот раскол, а потому сознательно, с первых же дней работы второй сессии, заострял разногласия и делал все, чтобы вызвать разрыв. Оппозиция, уверенная в своих силах, тоже перестала стесняться. В результате, 9 ноября лидеры оппозиции вышли из народной партии и создали свою группировку («Республиканско-прогрессивная партия»), сразу же об'явившую войну кемализму. Поскольку борьба против конституции и против республики грозила бы новой партии репрессиями новых конституционных законов, ее лидеры стали затушевывать свои подлинные цели и выступать в роли «охранителей национального суверенитета» от посягательств со стороны кемализма, в роли более чистых республиканцев, нежели сам Кемаль.

Вступить в открытую борьбу с новой партией, тотчас же после ее появления на свет, кемализм не мог. В кругах «Халк-Фыркасы» все еще имелись течения в пользу «умиротворения», единения сил, и в этих условиях прямая борьба с оппозицией была бы непопулярной. С другой стороны, подобная борьба была бы противозаконной, так как прогрессисты придерживались всех аппарансов конституции, приспосабливая соответственным образом не только программу, но и тактику. Между тем, еще до 9 ноября радикальное крыло кемализма во главе с Исметом, сделало ставку именно на эту борьбу, на отказ от сотрудничества с новой партией и на расправу с ней. По вышеуказанным соображениям, это крыло не было поддержано «болотом», и в результате на некоторое время восторжествовали «умеренные». Через две

недели после раскола радикальное правительство Исмета было заменено умеренным кабинетом Али-Фетхи, и в национальном движении наступила новая фаза, — попытка преодолеть внутренние разногласия путем уступчивой тактики, путем очередного зигзага.

Однако эта фаза продолжалась всего лишь три месяца и завершилась полным крахом политики умеренных. Решив, что кабинет Фетхи является затушеванной капитуляцией Кемаля, реакция и клерикализм стали выходить из подполья, развивать работу против республики и против реформ третьего марта, организовывать свои силы и даже создавать собственные группировки явно антиреспубликанского характера. Чрезвычайно поучительным примером в этом отношении явилось избрание депутатом в Меджлис от Бруссы Нурреддин-паши, известного своими султанскими и халифатскими тенденциями. С другой стороны, кабинет Фетхи значительно поощрял деятельность представителей духовенства в Меджлисе, которые с начала 1925 года стали откровенно выступать против проведения в жизнь реформ третьего марта, защищать медрессе, отстаивать сохранение шериатских судов и открыто обвинять кемализм в кощунстве и вероотступничестве.

Восстание, поднятое в феврале 1925 года в Восточных провинциях, было решительным ударом по всей примиренческой тактике умеренных и, в то же время, торжеством радикального крыла кемализма. То обстоятельство, что шейхи, аги и деребеи осмелились на открытый мятеж против республики, выбросив знамя клерикальной реакции (лишь слегка прикрытое вуалью «курдского национального движения»), не могло не быть поставлено в вину именно умеренным, создавшим благоприятные условия для этого мятежа. Напрасно Фетхи пытался снять с себя ответственность и успокоить радикалов, согласившись принять некоторые из их прежних планов. «После того, когда конь украден, закрывать двери конюшни бесполезно». «Идейные» представители примиренческих групп поняли, что в стране, еще недавно вышедшей из тюрьмы религиозного феодализма, педантизм в отстаивании конституционно-демократических формул является большой опасностью для режима, и что радикалы были правыми, когда требовали решительной борьбы с оппозицией. Ноябрьские, октябрьские и мартовские реформы произвели слишком глубокие потрясения в стране для того, чтобы можно было лелеять себя надеждой на примирение с ними всех тех элементов и классов, против интересов которых они явно были направлены. Раздутый правительством сепаратистско-курдский характер восстания шейха Саида повлиял и на «болото», среди которого начались колебания. «Убежденные» сторонники уступчивой тактики, во главе с самим Фетхи, растерялись и не смогли развить должной работы для отстояния своего большинства. В результате создалась обстановка, благоприятная для перехода радикалов в наступление. Компромиссный кабинет Фетхи был свергнут. Сам Фетхи назначен послом в Париж. 3 марта 1925 года, т.-е. как раз в годовщину мартовских реформ, к власти пришло второе правительство Исмета, которое, используя панику, охватившую болото, организовало суды независимости, добилось предоставления себе исключительных прав и, во исполнение своих еще прошло-

годних планов, приступило к решительной борьбе с оппозицией, во всех ее проявлениях, и к «доделыванию» прежних реформ.

При постройке дороги свозят землю, уравнивают камни, засыпают впадины песком. Профану кажется, что дорога как будто бы уже готова. Но нужен еще каток, необходим компрессор. Вся работа, совершенная вторым кабинетом радикального крыла кемализма с 3 марта 1925 года и до самого последнего времени, напоминает собою как раз этот каток, который с неудержимой силой прошелся по всем новым дорогам, построенным для Анатолии возрожденным и обновленным тюркизмом. Ноябрьские, октябрьские и мартовские реформы открыли перед Турцией величайшие горизонты, разорвали нити, связывавшие турок с панисламизмом и оттоманизмом, и, по образному выражению Кемаля, «пересадили Турцию из арбы в автомобиль». Но это далеко еще не значило, что реформы уже реальны, что они уже вошли в жизнь и что их существование гарантировано. Радикальное крыло кемализма, победившее 3 марта 1925 года, решило «углубить революцию», доделать прежние реформы, провести тяжелый компрессор по всем дорогам, которые открылись перед обновленным тюркизмом. Для тех, кто мог бы заколебаться, — железное давление, нажим и даже прижим. Для открытых противников — виселицы, построенные судом независимости по всем селам и весям анатолийской земли. Восстание, поднятое восточными шейхами, заставило правительство пойти на слишком большие моральные (Моссул) и материальные (20.000.000 лир) жертвы для того, чтобы отныне можно было еще церемониться с оппозицией. Тем более потому, что традиционный взгляд на анатолийское крестьянство, как на гнездо косности, отсталости и реакционного фанатизма, был опровергнут самими «мехмеджиками». Когда «софты» Саида шли на них с криками: «Сдавайтесь во имя Мохаммеда», выдвигая на штыках полотнища с цитатами из Корана, турецкие аскеры спокойно расстреливали Коран. Кто плюет в ветер, попадает в свое собственное лицо. Клерикализм, прибегнувший к цитатам из Корана, своими собственными руками нанес себе одну из самых глубоких ран, одно из самых больших поражений. Расправившись с восстанием Саида, завершившимся постройкой 47 новых виселиц в Диарбекире и гибелью тысяч курдов, которые были спровоцированы шейхами, кемализм попутно ликвидировал всех тех из своих врагов, которые осмелились при Фетхи вылезти из подполья (в этом единственная заслуга, которую кабинет Фетхи принес, воленс-ноленс, турецкой освободительной революции). Заботы о легальности и конституционности были уже не к лицу кемализму. Воспользовавшись промахами правого прогрессистского крыла и избрав предлогом наличие в программе прогрессистов сравнительно безобидной статьи об «уважении к религии» (безобидной потому, что, несмотря на реформы третьего марта, сама народная партия продолжала сохранять свои прежние тезисы, где прямо говорилось о сохранении халифата в Турции), кемализм обвинил эту партию в реакционности, издал декрет об ее ликвидации и спешно закрыл все ее филиалы. После этого суды Независимости начали чистку страны от всех других оппозиционных группировок, начиная с клерикально-реакционных (подпольные организации

Вахидэддина и Абдул-Меджида) и кончая националистскими (курдские, черкесские, арабские и т. д.). Вопреки всем прежним амнистиям, к ответственности были привлечены не только лица, выступавшие против реформ во время национального движения, но и деятели, оперировавшие при иттихаде, начиная с революции 1908 года. Генеральная чистка страны, начавшаяся в марте 1925 года, продолжается с неослабевающей энергией вплоть до наших дней и, по всем признакам, не прекратится еще в течение ряда месяцев (майский закон о продлении работы судов независимости еще на 6 месяцев)

Расправляясь со всеми выявлениями оппозиции, суды независимости создавали, тем самым, надлежащие условия, необходимые для доделывания ноябрьских, октябрьских и мартовских реформ, уточняя и оформляя методы терроризирующей диктатуры, к которым вынуждено было прибегнуть радикальное крыло кемализма. Партия Мустафа-Кемаля, сделавшая своей идеологией возрожденный и обновленный тюркизм, осознала, что республиканско-турецкое государство может укрепиться только в том случае, если решительно станет на путь внутренней европеизации и, с другой стороны, централизует всю власть на местах. Поскольку Ислам сидел во всех порах социального и государственного организма, постольку эта европеизация должна была, прежде всего, коснуться религии. Как бы далеко ни шли отдельные наиболее радикальные элементы кемализма, о борьбе с самой религией, с этим могущественным оружием влияния на массы, из них никто не думал. Нести два арбуза в одной и той же руке невозможно. Быть идеологом национальной буржуазии, бороться за ее власть, подготовлять пути для ее развития и, в то же время, подрубать один из корней ее существования и господства было бы глупостью. Несмотря на то, что анатолийская буржуазия совсем еще недавно вылупилась из оттоманского яйца, классовая тактика ее европейских собратий родилась на свет вместе с нею. Было бы еще большей глупостью предполагать, что кто-либо из кемалистов является действительно «верующим» исламитянином, хотя бы он и выполнял каждодневно все пять священных молитв Мохаммеда. По легенде, которая циркулирует в Ангоре (и весьма многими считается за правду), Мустафа-Кемаля однажды, во время пира, спросили, чего он больше всего желает. «Серый Волк», после короткого раздумья, отчеканил: «Собрать в одном большом доме с'езд всех до одного муфтиев, имамов, улема, шейхов и мулл, крепко-на-крепко запереть все выходы, поджечь этот дом со всех четырех концов и тщательно следить за тем, чтобы ни один не вышел. Жаль только, что в этом случае погиб бы дом». Поэтому, когда убежденные кемалисты выступают в ролях сторонников «чистой религии», когда члены суда независимости, вешающие пачками шейхов и мулл, истово молятся в старой ангорской мечети Хаджи Байрам и когда сам Кемаль требует средств у Меджлиса на постройку большой мечети возле своего дома в Чан-Кая, — все это является лишь лицемерием, лишь классовой стратегией кемализма, лишь тактикой анатолийской буржуазии, которая знает о своих опорах и которая на расшатывание этих опор не пойдет никогда. Борясь с муфтиями и имамами, закрывая текке, завие и тюрбе, запрещая ношение тюрбанов и сарыков, устанавливая фор

щенную одежду для служителей Аллаха, вводя новый уголовный, гражданский, торговый, земельный и санитарный кодексы, приступая, наконец, к переводу священного Корана на турецкий язык, кемализм имеет в виду лишь модернизирование религии, лишь изгнание из нее всего того, что мешает турецкому буржуазно-демократическому режиму, препятствует его национальному и экономическому развитию, отдаляет его от Европы. Кемализм лишь переменил прежнюю концепцию, по которой турки должны были служить Исламу, как безнациональной мусульманской доктрине. Не турки для Ислама, а Ислам для турок, — вот общий смысл всей той «реформации», которую производит сейчас тюркизм в своей религиозной догме.

Модернизация религии, проводимая возрожденным тюркизмом под терминами «лаисизация», «европеизация» и т. д., ведется одновременно с ярко выраженными центристскими стремлениями. Турция, как централизованное государство, фактически никогда не существовала. Примириться с этим положением кемализм не захотел и не смог, хотя бы уже потому, что в новых условиях, после ликвидации христианских меньшинств и после социальных и религиозных реформ, децентрализация, которая могла бы коснуться, по сути дела, таких народностей, как курды, туркмены, лазы и черкесы, обозначала бы автономию их от центра, чрезвычайно опасную при слабости турецкой культуры, при чем эта автономия выражалась бы гораздо более в формах независимости их феодально-теократического режима (шейхи, деребеи) от ангорской светской республики, нежели в виде национальной автономии, автономии мелких народностей в составе турецкого государства. В результате сохранение прежней системы децентрализации обозначало бы примирение с наличием постоянных очагов реакции и клерикализма, т.-е. с существованием перманентной угрозы не только для Турции, как национального государства, но и для республики, как режима. Первоначально, в период вооруженной борьбы с оккупантами, кемализм внешне мирился с этой децентрализацией, с тем, чтобы со всей силой выступить против нее сейчас, после Лозанны и после ноябрьских, октябрьских и мартовских реформ. Отсюда жесточайшая тюркизация всех народностей, населяющих Анатолию, в том числе и остатков христиан, — тюркизация, по сути дела необходимая, хотя иногда, принимая великодержавнические и шовинистические формы, она представляется в виде одной из отрицательных сторон кемализма.

Кроме внутренней политики, кемализм повел по новым путям и национальную экономику Турции и ее международные сношения. На обеих этих темах необходимо остановиться особо.

Очерки.

Михаил Пришвин.

Молоко от коровы с железным хвостом.

У крестьян, как у всех людей, проводящих большую часть своего времени на воздухе, зрение совершенно нормальное. Я ставлю им свой призматический бинокль на нуль и почти всегда приходится верно.

— Видишь? — спросил я, передавая бинокль своему гостю Мирону Иванычу.

Но он смотрел не в бинокль, а на бинокль, на стекла окуляра. Я попросил его глядеть в стекла, как через окно. Умный Мирон Иваныч понял и воскликнул в большой радости:

— Вижу, вижу!

— Что же ты, видишь?

— Вижу по дороге от города идет мастеровой человек.

Он долго смотрел.

— Ну, и что?

— Вот что: этот человек стеклодуй и наверно идет на Игоблу.

— Почему же ты думаешь, он идет на Игоблу?

— Потому, что у него ноги красные.

— Ерунда, Мирон Иваныч!

— Нет, не ерунда, на Игобле у всех ноги красные.

И рассказал мне Мирон Иваныч, что на Игобле раньше был стеклянный завод. Во время войны завод был брошен, в революцию рухнула труба. От всего завода осталось только множество бутылок. Рабочие разошлись на другие стеклянные заводы, а бабы их остались на месте и, как бутылок много, занялись самогонкой.

Мирон Иваныч выразился о самогонке так:

— Бабы стали доить корову с железным хвостом.

Я, большой охотник за словами, был в восторге от крестьянского выражения м о л о к о о т к о р о в ы с ж е л е з н ы м х в о с т о м. У архиереев запрещенное им вино называлось а р х и е р е й с к и м и с л и в к а м и, а у крестьян покрепче: железный хвост, конечно, был змеевик.

Даже взгрустнулось: пока производство самогонки грозило серьезной опасностью народному хозяйству, было неудобно описывать интересный быт

самогонщиков, а когда началось победоносное шествие Госспирта, дело это обреклось на погибель и, вместе с самогонкой, вся ее словесность. Так бывало, собирая былины на севере в очень глухих местах, боишься района действия какой-нибудь хорошей школы. И Успенский, конечно, не о самой же лучине плакал, а о тех песнях, которые пелись в лучинном быту. Нет, я прав совершенно: если могли остаться и быть понятными каждому противные архиерейские сливки, то не пропадать же прекраснейшим выражениям, подобным молоку от коровы с железным хвостом.

— Не ошибся ли ты, Мирон Иваныч, — сказал я, — ноги ли красные? ведь если на Игобле занимаются молоком от коровы с железным хвостом, то у них там должны красными быть скорее носы?

— А вот посмотри, — ответил он, передавая мне бинокль.

Ноги у прохожего мастерового были, действительно, красные.

— Видишь, какое дело, — об'яснил мне Мирон Иваныч, — в этой речке Игобле много рыбы и в травных берегах видимо-невидимо уток, там с малолетства все рыбаки и охотники, они там из воды не выходят и оттого у них там ноги красные.

Я передал бинокль Мирону Иванычу. Он посмотрел и сказал:

— У него за плечами кожаная сумка. Одет чисто. Это стеклодуй наработал себе одежи, обуви на заводе и теперь идет к бабе на Игоблу. Это уж верно.

Я взял бинокль, повесил себе на шею и спустился с горы на дорогу порасспросить человека с Игоблы, правда ли там охота хорошая и как живется ему на стеклянном заводе.

Стеклодуй.

Мастеровой был молодой человек, тощий, бледный, в кожаной куртке, совершенно новой, в отличных суконных штанах галифе, за плечами был большой кожаный мешок и две пары сапог, водяные яловочные и выходные хромовые. Остановить его я не решился: очень спешил человек и вид его был до крайности неприветливый. Босиком он пролетел мимо меня в одно мгновенье. Но бинокль у меня он все-таки успел разглядеть и спросил, не обертываясь:

— Телескоп?

— Вроде этого.

— Что наблюдаете?

— Все, что покажется.

— Значит, философия?

— Ну, что ж...

— Очень хорошо.

Вопросы кончились. Незнакомец был уже довольно далеко. Мне он показался интересным, я пожалел, что не решился остановить его быстрый бег. На счастье все-таки я прокричал ему:

— А что хорошего в философии?

Он остановился, наждал меня и ответил:

— Хорошо наблюдать природу. Я очень люблю природу. Вы птиц наблюдаете?

— Да, больше птиц. Я охотник. Посидим немного. Расскажите мне о порядках на вашем заводе, как у вас профсоюз, администрация?

— Стекло лить, — сказал он, — не кашу варить, дело наше погибельное, а ребята у нас хорошие, можно сказать, цвет революции. Вот вы птиц любите, я вам расскажу о грачах...

Мы присели на бревно, оставленное возчиками леса еще зимой при дороге и стеклодуй рассказал мне что-то вроде новеллы.

Грачи.

(Заводская новелла).

Завхоз разошелся с женой, — какое кому дело? рабочие на это не обратили даже внимания, и, если и были разговоры, то скорее сочувственные.

— Это,—говорили рабочие,—революция хорошо сделала, а то сколько народу спивалось и пропадало. Теперь просто: невмоготу жить, и расходись.

И что у завхоза было много детей и всех их жена забрала с собой, тоже и на это рабочие не обратили внимания: за детей завхоз будет платить алименты.

Не было никакого разговору и когда в старый барский дом, окруженный липами с грачиными гнездами, к завхозу приехала молодая любовница: завхоз был человек еще не старый.

— Я по себе скажу — об'яснил один молодой рабочий: — другой раз соглашусь лучше три дня без хлеба сидеть, а без этого жить не могу.

Не только в семейных делах, но и по службе завхоз наверно был не без греха: просто сосчитать, сколько ему алиментов приходилось платить, и то на жизнь самому едва ли хватало жалованья, а молодая любовница наряжалась в шелк и бархат. Но производство-то шло, зарплату все получали аккуратно, продукты выходили с завода — стоит ли дальше раскапывать? И что толку в человеке совершенно честном, если у него вместо головы решето и пылью трусит? Живет человек, дело ведет хорошо и себя не забывает: настоящий русский человек.

Но однажды завхоз велел прикатить в старый липовый парк, окружающий дом, пожарную машину, и собственными руками из пожарной кишки залил пятьсот грачиных гнезд.

Тогда началось среди рабочих большое волнение.

— Прежде тут барин жил настоящий и ему грачи не мешали, и сам завхоз, когда жил со старой женой и маленькими детьми, грачи не мешали, а вот когда жену, детей выгнал и стал жить с молодой любовницей, тут ему грачи спать не дают.

Рабкор написал корреспонденцию. Явилась комиссия. Разобрали дело, нашли большую растрату и посадили завхоза надолго в тюрьму.

— А все грачи, — заключил стеклодуй свою новеллу: — выше меры зазнался, переборщил и пропал. И в этом пример каждому начальнику: непременно надо соблюдать психологию масс.

Закон и анархия.

Молодой стеклодуй был как будто очень сознательный, передовой.

Рассказав свою новеллу, он сделал из нее вывод:

— Наши ребята — цвет революции, а на других посмотришь, одно только мещанство.

— Покурим, — сказал я.

И дал ему папиросу.

— Ну, как у вас охота? — спросил он меня.

Я, большой мастер этого дела, рассказал ему кое-что о своих собаках. Тогда молодой человек, узнав во мне своего брата охотника, стал задушевно рассказывать о своем прошлом и о своих планах на будущее. Нечего скрывать, признавался он, хотя работа на стеклянном заводе считается погибельной, но зато оплата труда на них отличная. Он сумел себе скопить из зарплаты и на одежду, и на обувь. Одежды ему теперь хватит лет на шесть, обуви лет на пять. Рыбу и дичь он будет себе доставать на Игобле, а хлеб совсем просто: поставит трубу и будет доить корову с железным хвостом.

— Не пойму тебя, — сказал я: — сейчас только говорил, что на заводе у вас ребята цвет революции.

— На заводе, — ответил он: — то на заводе, а на Игобле дело совсем другое, на заводе закон: хрусталь лить, не кашу варить, а на Игобле анархия.

Я стал прощаться, он — звать меня на охоту по тетеревам. На это я заметил, что охота по тетеревам в этом месяце запрещается.

Он засмеялся.

— У нас на Игобле некому запрещать.

Меня передернуло: в охотничьем деле я сам закон.

— Охотнику, — сказал я, — должно быть самому неловко стрелять дичь в незаконное время.

Он не понимал меня: раз некому запрещать, то почему же неловко?

Мы расстались. Он быстро идет вперед и потом на расстоянии, когда голос едва достигал до слуха, кричит мне:

— А гончая есть?

Я кричу:

— Есть и гончая!

— Приводите зайцев гонять.

— Разрешается через три месяца.

— К чорту, приводите завтра: у нас а-нар-хи-изм!

И бежит дальше вперед на своих красных ногах в страну анархии.

Облава.

Пришла зима. Следы животных мне об'ясняют, почему на приболотице разбросаны кусты можжевельника: тут лисий лаз. Дальше след идет по болоту в большой лес и тут сходятся следы наших лисиц с Усольскими и все идут на Игоблу. Увлеченный своей разведкой, я иду все дальше и дальше, по лесным овражкам, тянущим к берегам Игоблы, и вдруг замечаю, что следы лисиц, идущих обратно с Игоблы, все грязные.

Весной постоянно видишь на снегу грязные следы разных зверей, переходящих с черного на белое: к весне зверь от своей любовной течки балдеет, ему все равно, шлепать по грязи или по снегу: запах суки манит, и ему все равно. Но зимой зверь строг. И когда зимой в глухом лесу на девственных снегах я встречаю загрязненные следы обратных лисиц, я изумляюсь и, раздумывая о причинах, иду все вперед и вперед. Увлеченный разведкой, я не обратил внимания, что лисьи следы пересекались такими же загрязненными человеческими следами, не сопоставил одного с другим и потому долго не мог догадаться, почему следы лисиц грязные.

А между тем следопыт от милиции, тов. Ж. Егор Иванович, не обратил никакого внимания на лисьи следы и очень заинтересовался следами человеческими, ему тоже стал вопрос: почему на этом девственном снегу след человека загрязнен. Так и шли мы, не зная друг о друге, я значительно впереди по загрязненному лисьему следу, он позади по человеческому.

Я шел довольно долго и так мало-по-малу подобрался к болотной низине с выступающей на следу черной водой: идешь, и назади вместо следов остаются колодцы с черной водой. Лисьи следы тоже тут были колодцами. Тут, наконец, я обратил внимание на множество человеческих следов и в тот самый момент, когда уже догадался, увидел под деревом корыто, наполненное самогонной бардой, окруженное лисьими следами. Теперь и вы догадаетесь: лисицы ходили лакать самогонную барду. Но этого еще никто не знает, об этом я нигде не читал: лисицы, оказываются, пьяницы, барда им служит отличной приманкой.

Раздумывая у корыта с бардой об этом новом мотиве содружества человека и зверя, я обратил внимание на запах костра, доносимый сюда легким ветром, и, сделав несколько шагов в сторону, открыл в этом краю существование большого самогонного треста, как в шутку называли себя бедняки, об'единившиеся в производстве хлебного вина на потребу более богатых. Найденное мной производство было большое, с постоянными землянками, с усовершенствованными аппаратами, изготовляющими п е р е г о н до 80 градусов.

Самогонщики не очень бо́тся охотников и привыкли к ним совершенно, так же как и лисицы привыкли к производителю вина. Меня же встретили с особенным удовольствием, потому что среди самогонщиков был и тот самый стеклодуй, рассказавший мне летом новеллу о грачах на стеклянном заводе. Мне, конечно, сейчас же предложили самые лучшие первые капли железного

нолока. Я взял стакан и, поплескивая из него понемногу в огонь, забавлялся синими взрывами.

Я не знал, что тут же за деревом в каких-нибудь десяти шагах от меня стоял следопыт от милиции тов. Ж. Егор Иванович и слушал наш разговор и может быть по своему тоже удивлялся крепости вина, дающего на огне такие сильные взрывы.

Мне было крайне интересно узнать о повадках лисиц, что эти звери, обыкновенно такие сторожкие, такие чутистые, до того влипают в алкогольную барду, что позволяют в себя бросаться палками.

Вернувшись в город, я переговорил с хорошими охотниками, мы взяли себе лошадь, катушки с кумачевыми флагами, и на другой же день отправились на охоту в район самогонного треста.

Вполне понятно, что и следопыт от милиции не стал терять времени и тоже отправился, но мы выехали в разное время и ничего друг о друге не знали.

У начальника нашей зверовой команды огромный опыт в окладе: долго он не станет ковыряться в следах, он знает местность прекрасно, а когда не знает, все равно догадается, где должен залечь зверь. Он сообразил, что лисицы, об'евшиеся самогонной барды, не должны далеко уходить и ложатся тут где-нибудь поблизости. Мы не стали тратить время на оклад и отянули весь от'емчик бечевой с красными флагами. Опытному глазу было очень легко определить в этом кругу лазы зверей: тут мы сняли немного флагов, оставили в таких воротцах стрелков, а на другой конец послали загонщиков.

Был довольно сильный ветер, но крайне благоприятный для нас, потому что дул в нашу сторону и скрадывал неизбежный легкий шум, когда мы спиливали верхушки небольших елочек, делали себе укрытия и обминали снег.

Мы устроились и отправили одного человека сказать загонщикам, чтобы они начинали, и только двинулся он, как вдруг в кругу начался беспорядочный крик и ругань. К нашему счастью, суматоха была как раз на противоположной стороне оклада. Лисицы бросились в сторону к флагам, ветерок отлично помахивал красными тряпками и не давал им прорваться. Так, убегая от флагов, они попали в воротца, нарвались на нумера и кончили жизнь.

Вскоре после того короткий день потускнел, стало смеркаться, и, собирая флаги на катушки, мы провозились до темноты.

В полной тьме, там, где узкие непостоянные лесные тропы сходятся и крепнут в настоящую дорогу, нас обогнали сани и начальник нашей зверовой команды, узнав тов. Ж. с двумя милиционерами, воскликнул:

— Так это вы, Егор Иваныч, шумели в кругу?

— Здравствуйте, — ответил он: — не помешали мы вам?

— Нисколько, — ответил наш начальник: — облегчили даже дело загонщиков. Вот лисичек везем. А вы наверно везете молоко от коровы с железным хвостом?

— Да, — сказал следопыт от милиции, — везем молоко и хвосты.

Омутнинская сторона.

Август Явич.

I. Мающиеся дырники.

Стоять этому мертвому уезду еще тысячу лет среди диких лесов и болот.

Омутнинский уезд, Вятской губернии, о котором говорят с тревогой, называя его «омутом» и боясь его, как ссылки, — по величине своей равен двум Бельгиям. Летом сюда проникнуть нельзя и только зимой можно побродяжить по беспредельным болотам. 91% его территории занят непроходимыми лесом и болотами; 9% земли заселены. Глухая бедность. Любая волость отстоит от крайнего села своего на 100—150 верст.

Еще недавно открыли такие селения, где крестьяне впервые узнали, что надо платить сельхозналог, где старики упомнили приезд одного человека из города, где проживает столетний старец Парамон, сочувствующий истинно православным странствующим христианам, которому шестьдесят восемь лет тому назад пришлось побывать в Вятке и на Урале. Его слушает молодежь, как колдуна.

Он рассказывает, что на русскую землю войной пошли некрещеные цари..

* * *

Тяжелым зимним рассветом, когда девственный снег посинел, а в воздухе было тихо, мы выехали. В глубоком молчании мы долго ехали. Изредка свист бича прогрызал тишину, как мышь половицу.

Вдали виднелась темная груда леса, но мы проехали 5—6—10 верст, а лес к нам не приблизился ни на шаг. Он чернел, как навороченные каменные глыбы. Вокруг расстилалась равнина, гладкая, снежная, не видать было ни кустика, — оттого казалось, что все это неживое, нарисованное, ложное.

— Болота здесь... летом если только каблуком попадешь в топь, конечно, уйдет человек в землю, глубже чем в могилу...—пояснил возница, мужик скуластый, безбородый, с двумя бородавками на подбородке, заросшими колючим волосом, напоминающим репей. Он вытирал нос рукавом и часто впихивал свои оттопыренные уши под малахай. Он близорук и моргает глазами, его называют по-местному — моргослепым.

Долгими часами мы ехали по этой снежной, бесплодной равнине, изнуряя тишину молчанием, и как-то невзначай, словно вынырнул откуда-то со стороны, подошел к нам шумящий бор, в который заехать страшно.

Сторонкой, неверной тропой, еле виднеющейся на глубоком снегу, мы мчались на дикой вятской лошади.

— Кричи здесь весь век, никто, кроме неба и леса, и не услышит... — заговорил возница, хлопая кнутом. — Такая местность, суровая сторона...

Возница — человек словоохотливый, любит долго, неуклюже и равнодушно рассказывать. Все время курит махорочную цыгарку и сдерживает коня.

— Тише, тише, милый, ножки утомятся, жадные до спокоя будут.

Лошадь понимает своего хозяина и укорачивает шаг.

— Погнал бы ты коня, так до вечера не доедем...

— До вечера! Н-нет, зачем. Доедем. — Он задумчиво щурит глаза на запад, на несколько секунд лицо его немеет, он застывает, потом дергает коня. — Но, но, милый, застоишься... Тише, тише...

И вот мы от'ехали от леса, покружились и опять вернулись к манящей, черной громаде, храпящей в тишине громче усталого, взмыленного коня. С неба струился пасмурный свет.

— Не пойму, — обернулся ко мне возница, — чего тебе ехать по этой земле, ежели тебе совсем по другой надобно.

— Это как же?

— Да так. Тише, тише, милый!.. Ты где живешь?

— В Москве живу.

— И живи! Маешься зачем?

— Как маюсь?..

Лошадь рванула и обдала нас снежной, влажной пылью.

— Тише, тише... И чего это народ мается, так мается, будто какой огонек неприкаянный... Страшно, говорят, жить на земле, тяжко очень, вот и ищут на небе жизнь. Большое сомнение в народе есть. А по-моему, скушно человеку на земле стало... Вот я тебе расскажу. Тут недалече... — Он задержал коня, оглянулся задумчиво по сторонам. — Совсем недалече, верстов сто, самое большое двести, — дырники проживали. Немного их, а все же было. Жили, значит, в починке, а деревне той имя я и позабыл... Миру, говорят, конец обязательный будет, ни сеять, ни жать не надо. Все только с года на год конец этот перекладывали. То скажут, в нонешний год светопредставление, то сызнова перенесут на другой год. Перед богом, дескать, не все грехи замолили... Ну, понятно, всяк до жизни охоч.

Возница молча скрутил папиросу, долго закуривал, пыхтел, затем сплюнул черной мокроты, и опять бубнит его голос:

— Все ж занятные дырники эти... Врут много. Мы, говорят, на краю света живем, самые мы последние люди, молиться нам за весь мир надобно. Человек — он первый антихрист, за него молиться. Село-то это как раз последнее будет, от него кроме пустоты и дальности ничего нет. Выходит, будто и верно, на краю света живем. Лес, значит, до самого окияна уходит, а может и окияна нет, кто его разберет... Дырники говорят, будто лес на

небо уходит. Да. Много врут они, всего не упомнишь, а раньше я на каждый день всех святых знал, да. Не любят их мужики, дырников-то. Уж больно все они страхи говорят. Русский человек, конечно, до слова охоч, балясник большой, это верно, только ни к чему это... Вот значит. В доме у них в стене две дыры, с одной стороны и с другой — большие дыры. Как солнце взошло, дыру открыли, молются. Заходит солнышко — другу дыру открыли, опять молются... Говорят, православные, в Христа веруем, а на солнце молются. Фу ты, идолы!.. Мужики их не терпят. Уйди, просят, за ради Христа с этих мест, опаршивеет, глядучи на вас, душа. На идолов, поганые, молитесь! Не идут. Мужики их вилами, а они тоже... Война зачалась... А тут как раз советская власть пришла, делу было годов три, может четыре, а может и пять, кто его упомнит. Раганизовали сельсовет, коллектив, а дырникам слободу дали. Молись, мол, от зари до зари, хошь в дыру, хошь в другое место... Но, чего застоялся!..

Лошадь рванула, но ему труднее стало говорить.

— Тише, тише... — зашептал он.

— Поглядели дырники, поглядели да прочь пошли, вон из села, в леса ушли. Ежели, говорят, без притеснения, какое же страждание, никакого нету... А хресьянину страждать надо, за бога, за тебя, за меня, за всех, без этого царствия небесного нету... Скрылись в леса. Вот они, мающиеся-то, а!.. — Возница замолчал.

Мне было тепло, не хотелось говорить. А он, видимо, ожидал вопроса. Не глядя на меня, он злю спросил:

— Чейно ты шары-то выкатил? — Хотя глаза мои были закрыты.

Он начал хлестать лошадь. Разозлился на меня, что ли, что молчу. Мелькали деревья, снежная пыль дышать мешала. Как-то внезапно возница притих, сгорбился и больше не пытался со мной говорить.

II. Мужицкая воля.

На 52 версте мы нашли селение, приютившееся на берегу замерзшей речки, как испуганная овца, заблудившаяся меж лесов и безверстной пустыней. Бедные подосившиеся домишки, старенькие, вялые, а вокруг дремучий бор, и смешно, странно видеть ветхие домики возле непроходимого леса.

Есть здесь сельсовет. Получают две газеты, председатель аккуратно раскуривает их по воскресеньям — и мельница стоит на пригорке и машет крыльями, точно зовет кого-то: — а ну, мол, пойди, погляди на эту белую безбрежность.

— Что, — спрашиваю, — крестком у вас есть?

— Это зачем?

— Как зачем?

— У нас, — поясняет председатель, не моргнув глазом, — христовый комитет... Народ бедный, земли много, от людей живем, как ворон на кладбище... Мужик себе засеет своей землицы, а потом клочок для бедняков, ну,

гам, ежели вдова какая, сирота, инвалид... Все одно. Для них, значит, — как Христос велел, так и делаем.

— Значит нет кресткома?

— Зачем нет.. Есть, только ему делов нет...

Молоденькая вотячка несла ведро с водой, поскользнулась, выронила ведро, и вода разлилась по снегу.

Был вечер, темные тени пробегали мимо нас, скрадывались домики, тановились призрачными, и только мельница, почернев и выросши в сумерках, сильнее замахала крыльями, точно беззвучно надрывалась.

— Вот весной дела настанут... От села к селу доехать нельзя... Как раз три месяца и думать будем, будто земля у нас махонькая, людей вовсе нет, и всего на земле всей пятнадцать дворов. Вот как. — Председатель почесал сразу несколько мест на своем теле, открыл рот, закрыл. Он указал вдруг на лес.

— До самого окияна идет...

Подкралась ночь, и крылья мельницы утихали. Они повертывались неохотно, медленно, их клонило ко сну.

И веселая ватага звезд, как парни и девки на селе, высыпали на небесную поляну.

Маленькие, жалкие стояли мы у подножия лесного великана. Рыжий председатель с обесцвеченными глазами и лицом поджарым, как вылежавшаяся просохшая корка апельсина, чесал себе голову и говорил:

— Ишь ты, до чего барство доходило. Был у нас на весь уезд барин один, так он на рождество девок сажал голых на снежный пригорок и пускал вниз, будто на салазках...

— А ты разве не местный?

— Нет, мы здешние, шестой год живем... А то раньше в Вологодской или... И здесь обжиться можно.

Изо рта рыжего пахло старыми, с'еденными зубами. Он ткнул желтым пальцем с черным ободком на ногте в пространство и вразумительно заявил:

— Отбили барину зад, на одних ногах далеко не уйдешь... Порассуди, человек, сколько теперь мужику воли дали, много воли, — так много, что и девать-то ее некуда. Другой раз и скушно даже бывает, потому живем в селе и никакого тебе приказа нету... Смотришь в окно, господи, думаешь, ничего нового впрямь нету... Много воли дали. И учиться тебе возможно, и газету пришлют, книжка какая тоже дается... Насчет просвещения из самой Вятки люди едут... Потом земли дали, леса дали... — Председатель вдруг рванулся, хлопнул рукой по воздуху. — Леса-то сколько нашинского, ты, мил человек, погляди только, погляди!..

Он потянул меня, подбежал к огромному дереву и стал его нежно ощупывать.

— Говорят, не то ерману, не то аглицкому буржую его продавать будут, лес-то. Врут видно, а? — Он жалобно и в то же время протестующе уперся в меня глазами. Затем он медленно, с расстановкой произнес: —

Зачем мужику лес продавать? Мужику земля и лес — первые святые... Как по пословице: на земле лес береги, на небе тебя бог убережет Вот как.

Слонялась ночь, от одного дерева к другому брела темная, суровая, холодная. На селе блеснули огни.

III. Трясуны.

Трясуны — секта молодая. Принесли это учение с юга пятидесятники, но здесь север, здесь нравы жестче и круче. Дикий край, суровый, безмолвный.

У Чардынского лесного пути стоит этот починок из девяти дворов. От него на восток до села соседнего 100 верст; на запад и юг столько же; на север уходит лес в безбрежность. Люди не смеют уйти в лес дальше меченых мест.

— В лес уйти — жизни решиться...

Но трясуны живут в лесу, они ушли от мира, ибо «прежде, чем возьмешь ты сноп, прийдет спаситель». Раз в неделю выходят они из лесу, собираются на краю села в «божьем» домике и молятся. И в этот день на них нисходит божья благодать. Присутствовать на их молении всем можно, но мужики боятся...

В комнате через двадцать минут стало душно и потно. Трещат лучины. Старухи и старики уселись на полу, молча уставясь на проповедника, человека темного с густой бородой, горящими глазами, глубоко сидящими в черепе, и руками, похожими на острые грабли. И весь человек напоминает нечто тяжелое, загребающее, жадное, звериное.

Голос его гудящий, однотонный, если долго слушать, начинает казаться, будто это эхо, откликающееся на живой, мятущийся голос. В нем нет ни одной повышенной нотки, ровно, уныло и низко звучит он, точно подымается из-под ног человека.

— И кто не берет креста своего и не следует за мной, тот недостоин меня, — говорит проповедник, и длинные космы его содрогаются. — Нет на вас благодати божьей, молитесь!..

И тогда люди начинают беззвучно шептать. Только движутся синеватые, высохшие губы и скулы вздрагивают на лице. Желтые скелетики со старыми лицами и землистыми губами — это дети. Они ползут.

В углу прикурнула старуха. Седые, редкие волосы ее спутаны и торчат клочьями, подбородок выдался вперед, а сморщенное лицо с упрятанными глазами восково и безумно. Она шепчет, шепчет, но слов не слышно. Потом она становится на корячки и начинает говорить громче, но неясно, непонятно. И двадцать человек шепчут за ней искривленными губами, лица их начинают гримасничать, глаза медленно выползают из глубоких впадин и вот видны зрачки — горящие, трепещущие, алчно-безумные. Рты шире открываются

Какой-то старик на четвереньках ползет, длинная борода его впереди ;одметает земляной пол, а подслеповатые глаза слезоточат, но он не плачет. Он шепчет, шепчет.

И вдруг женщина вскакивает, секунду губы ее мучительно отрываются ;руг от друга, она быстро выкликает чужие, неслыханные слова. Они вылеают из ее рта цепким потоком. Виден мечущийся язык, вот-вот готовый ывалиться. Женщина суха и отвратительна.

Тогда в разных местах раздается тихий, тоскливый вой.

...Черный человек выгнул голову и закаменел. У него надувается шея ı борода ерзает, а лицо подергивается мелко и быстро, но рот его туго акрыт.

Вой крадется, он неверен, он выползает не из ртов людей, а из живоэв, и вот явственно слышно, как в вой вплетаются робкие искорки плача. ажется, будто где-то закрытым ртом ревет толпа и сюда долетает одичаое: м-м-м... Похоже, очень похоже.

Откуда-то со стороны вырываются крики.

Человек, у которого только руки отчетливы: они извиваются, как ды, вот чудится сломались в локте, но вот они снова выпрямляются, кисти ; выворачиваются вбок и пальцы, конвульсивно скрюченные, торопливо игаются, как чудовищные спруты, — остервенело по-собачьему лает густым, ігучим брехом.

И внезапно черный проповедник, замерзший в припадке экстаза, пронув вперед молящие руки, падает на землю с ревом, на секунду заглушаюим все голоса. Он грызет землю, царапает ее, бьется головой об край деренного сруба.

И тогда здесь разверзается бездна, из нее летят ликующие, дьявольíe, торжествующие вопли, в этой комнате худой и потной, задыхающейся одном незаконченном бешенстве, свершается жуткое моление.

Лают по-собачьи, лают долгим брехом, вопят, стонут, бьются об земь ползут, а возле печи лежит женщина, дрожит и из горла ее тянется хрип,)вно разматывающаяся жестяная лента.

И вдруг столбняк.

Черный проповедник лежит без чувств, прильнув ухом к земле. Во рту окровавленная земля, в сжатых кулаках земля и свои волосы. Один глаз луоткрыт.

Подле него мальчик, как собака, зализывает раны у ключиц; он ляіет зубами от холода, потом начинает тихо по-детски плакать, боясь)тянуть вперед руку. В глотке у него потрясенно клокочет придавленное ıание.

Вот дохрипела женщина, голова ее соскользнула с земляного холмика, затылке у нее вздрагивает тень.

А молодая женщина, обнаженная, грязная, тупая с лицом, сведенным острастием, изо рта которой ручьями течет слюна, прижалась голой ıью к ножке скамьи. Кто-то со скрежетом зубовным открыл рот и вытил душный вздох. И тишина, беззвучность, жуть...

...Некогда в северных снегах, далеко за полярным кругом я был свидетелем дикой пляски лопарей.

Была полярная ночь, острые, зеленовато-огненные, мертвые ленты сияния опоясали небо, невиданный костер горел вверху, в нем сгорал мир реальный, все было фантастично и страшно. Рыхлый снег вокруг был взбит, будто кто-то многоспинный вывалялся в нем.

Тюлений жир тускло горел в юртах, но это было ненужно, ибо расплавленное небо светило остро, пугающе.

Лопари плясали пляску шамана, опьяненного спиртом, привезенным из Мурманска. Лопари кричали, молились, выли, стонали и под конец окаменели. А когда пришли в себя, об'явили, что шаман был среди них.

Снова пили спирт — здорово пьют они, куда европейцу — потом играли в карты производства Гознака и ругались по-русски не хуже меня. И старый лопарь, ни разу за всю жизнь свою не раздевший малицы, не мог понять, как это белые изготовляют огненную воду, которая слаще шамана самого. Это в 300 верстах от Мурманска.

* * *

Молодая женщина пришла в себя первой. Она медленно оторвала грудь от ножки скамьи, посредине груди осталась впадина, подобно рву. Женщина села, закатила глаза и в такой позе, бесстыдная, истомленная, просидела несколько минут. Потом открыла глаза, обвела всех вяжущим взглядом, и глаза у нее оказались черными, таящими на мглистом дне своем злобу и тоску и еще кое-что от убийства. Она вытерла рукой рот, поджала синие губы, гримаса исказила ее лицо.

Ветер дул в окно, холодный, зимний ветер, женщина, не оборачиваясь, повела плечами, спина ее изогнулась, она обхватила себу руками и стала раскачиваться. Нелепую песню, заунывную, горькую плели ее губы, и песня эта хрипло отдавалась по комнате, будто многоголосо скрипели телеги.

Пробудился черный человек. Он сразу же поднялся, несколько секунд разглядывал всех неузнающими глазами, затем сплюнул песок и сказал:

— Дух божий был у нас.

Ночью крестьяне выбили стекла в этом ненавистном домике, где «враги человеческие скликаются с чертями и мертвецами». Но в дом войти мужики боятся, даже председатель сельсовета, поспешно крестясь, шепчет:

— Опоганили опять... свят, свят...

Крепкий рассвет побежал в снега встретить новый, хмурый зимний день. Вокруг избы стояли крестьяне и ждали. Чего ждали — неизвестно. Они с ненавистью шептались меж собой, но переступить порог дома не решались. Оттуда полз грузный вздох, стон, долгий, нутряной и из окна выливалась унылая песня, однотонная.

— Спалить бы домишко... Только боязно, все село может сгореть, а тут лес недалече... — говорил мне рослый мужик, с задумчивой злобой погля-

дывая на дом. Но вижу: не этого боятся они, а трясунов, этих диких, больных людей.

Выходят трясуны, качаются. Желтые, худые, обросшие, они хило плетутся. Старухи и дети бредут впереди. Под глазами синева, у некоторых черно или зеленые круги. Молодая женщина идет по правую сторону от проповедника. Крестьяне расступаются, трясуны уходят в лес.

— На каком языке вы молитесь?

Черный человек остановился, строго обвел всех нас ничего не видящими глазами.

— Не мы молимся, дух божий молится на иностранных языках.

— Что говорил дух божий?

— Дух божий велел не сеять, не жать, не молотить, ничего не делать, «ибо прежде, чем возьмешь ты сноп, придет спаситель и уничтожит все огнем и мечом».

Трясуны уходят в лес, и целую неделю не видно их.

Если в деревне что случится, мужики говорят:

— Вытрясли трясуны беду...

Власть их не трогает, мужики же ненавидят и боятся. Они платят трясунам «мужицкой местью» за страх животный свой, за обиду и горечь, но обидеть их не рискуют. Так вот и живут, полные ненависти друг другу.

Кто же такие трясуны? Нищие. Не бедняки, а нищие. Когда у мужика сгорит домишко, а помощи нет, когда ему деваться некуда, хоть по миру иди — он отправляется к трясунам. Их немного. Больные, изможденные, пожалуй, психически ненормальные. Жены погибших в мировую войну солдат, выжившие из ума старухи — вот главный контингент секты. Мужчин меньше, а молодежи вовсе нет.

Этим трясунам помочь уж ничем нельзя. У них нет источника, способного их питать. Обездоленного крестьянина теперь всегда выручит свое же село. Надо еще учесть условия Вятского края — дикая сторона, беспросветная, бедная. Благоустройство деревни — смерть секты.

* * *

Под утро я покинул это село. С чувством боязни и тревоги я выбрался за околицу, а когда мельница, издали кажущаяся гигантской птицей, присевшей на землю, готовой ежесекундно с неистовым клохтаньем улететь, — когда мельница скрылась из виду, я обернулся. Исчезло село.

Бескрайная, снежная равнина убегала назад, конвоируемая лесом.

И мне пришли на память бессмертные строки Гёте:

Im Nebelgeriesel, im tiefen Schnee,
Im wilden Wald, im Winternacht,
Ich hörte der Wölfe Hungergeheul,
Ich hörte der Eülen Geschrei.

IV. Странники.

Амундсен пишет, что тишина на него навевает широкий покой, когда ясны цели и каждое движение одиноко и жизненно до физического ощущения.

Леонид Андреев находил, что в тишине сокрыто убийство.

В Японии я встретил саксонца, который жаловался, что здесь вообще не бывает тишины, здесь всегда что-то звенит и волнуется, как прибившаяся к стеклу муха.

Китайский профессор X. определенно утверждал, что человеку много читать под-ряд нельзя, ибо тишина, которая возникает во время чтения, начинена грозой звуковых галлюцинаций, как голова русского мужика предрассудками.

У тропиков и за полярным кругом я не слыхал, не испытывал, не прикасался к такой потрясающе-уничтожающей тишине, как в Омутнинском уезде. Здесь тишина таит безумие.

Часами снежная гладь, из чугуна вылитый лес и ни звука, ни вздоха. Невольно можно закричать. Мне понятно, почему здесь такое обилие диких сект.

Как у тропиков в самой природе заложено сладострастие, так здесь вкраплено в природу безумие. Здесь людям страшно, непонятно, здесь долгие, бесшумные ночи, а ночь искреннее и глубже дня. Здесь человек ближе к космосу, чем к нашему миру.

Он тоскует, а по местному — скучает. Отсюда и трясуны, и адвентисты, и бегствующие, и дырники, и хлысты, и десятки других разных учений, в основе своей имеющих одну и ту же сущность: боязнь и непонимание великого простора, предоставленного слабым, коротким человеческим ногам, неспособным его исходить, слабому человеческому мозгу, не совладающему с тем, что резко и красочно, таинственно и просто.

Странствующие или бегствующие истинно православные христиане появились по их собственной летописи в 1666 году. О них много писалось, да у них и своя литература имеется. Мельников-Печерский исчерпывающе дает о них сведения.

Но ведь время должно было их изменить. Ведь революция прокатилась по России. Конечно, жизнь этой секты значительно видоизменилась. Их называют норниками, ибо живут они вдали от людей, не любят людей и считают человечество в целом антихристом.

В свое время об них много врали. Говорили, что они приносят человеческие жертвы — ложь все это. На них были гонения.

При советской власти их не трогают.

— Во что веруешь? — не спрашивают.

— Како веруешь? — не поэнают.

И вот норники говорят теперь:

— Пришел антихрист при Алексее Михаиловиче, с каждым годом все лютей становился. Николай второй наилютейший антихрист был, а совет-

ская власть притихший антихрист, смирился, мол, знать конец света пришел...

Опять идет сказ о конце мира.

«И придет бог, бездушный бог Анти-Христос», — говорили они некогда, а теперь иначе: «И пришел бог, бездушный бог Анти-Христос».

Считают себя норники потомками настоящих славян, не принявших реформ русской православной церкви. Так как почитают они себя не от мира сего, то не признают никаких гражданских записей, фамилий не имеют, и количество их никому не ведомо. Отрицая все земное, живя во имя небесного, они похищают детей из мира сего, об'являя, что ребенок умер.

Теперь у них начался раскол по вопросу о браке. Более молодые требуют разрешения брака, старики решительно против, и молодежь бежит.

— Да, — говорил укоризненно старейший Яков, хмурый, строгий человек, — нынче времена пошли другие... Антихрист игру затеял. Одной рукой будто и гладит, и не трогает, а другой соблазн людям дает... Вот как... Люди в разврат уходят... Ежели говорят, вы нонче от нас не разны, живите как мы. Вон разговор какой.

«Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед отцом небесным; а кто отречется от меня перед людьми, отрекусь и я от того перед отцом моим небесным».

Но можно ли сочувствовать власти, всемирно отрекшейся от бога? Однако власть-то эта никого не затрагивает, против сектантского антимилитаризма и антигражданства не идет. Что ж делать? Тут пропасть!

Молодежь бежит из пределов. В Вятку прибежали две девушки, их приютил комсомол.

Во второй раз прибежал двадцатилетний парень, рослый, здоровый, красношекий и скуластый. Документов у него никаких не было, и только одно увольнение (путевка) гласило: сын и брат наш Прохор едет в Тагильский придел для исправления. За любовные записки попался юноша. А весна как раз, точно солнышко, всходила. Юноша от норнического благочестия свернул на путь мятежа и страсти.

У другого парня старики нашли невинную политграмоту. На него наложили епитимию: 3.000 поклонов.

Взял юноша листовку со ста рубцами и давай отбивать поклоны. После 00 поклонов не выдержал, пошел к старейшему.

— Не могу, — говорит, — отбивать, скоро лбом камни сотру, а себе о кости голову протру... Ни поясницы, ни спины уже не чувствую...

— Тогда сын наш еще надобно тебе 500 поклонов...

Вернулся он понуро назад, сел на пол, посидел часа два, а на 641 поклоне плюнул и удрал.

Неделю ждал грома небесного, не дождался и успокоился. Ничего. Теперь в комсомоле.

Обратный путь промелькнул быстро.

Журавли над Гнилопятами.

(Алексей Толстой).

А. Воронский.

«Ах, журавли, журавли, в осеннем небе над Гнилопятами!»

(А. Толстой. «Чудаки».)

«Грех, грех мечтать о том, чего быть не может».

(А. Толстой. «Лунная сырость».)

I.

Алексей Толстой — сочный, богатый, отличный бытовик. Его дворянское Заволжье и по сию пору не перестает занимать читателя. Давно уже нет старых лип, а где они сохранились, там течет иная, новая жизнь. Художественная литература об этих липах, оставленная нам, огромна. О помещичьих усадьбах и их бытовом укладе писали лучшие классики. Но Толстой сумел к этому прибавить свое, самобытное. Мишука Налымов — предводитель дворянства «с отвислыми усами, с воловьим, в три складки, затылком», самодур, охальник, тупица и трус, остается в памяти. Остаются в памяти и хромой барин, князь Алексей Петрович, опустившийся до босячества, ползавший на коленях в усадьбу вымаливать у жены прощение, и генерал, сваливший летний урожай ржи в речку, и столичный бездельник Смольков и несчастные Сонечки и Кати. Толстой как бы подвел итог дворянскому вырождению, оскудению и гибели. Он повествовал не о вырождающихся, а о выродившихся, не о приближающейся гибели, а о наступившей. Его заволжские романы, повести рассказы — художественные надписи на могилах, некрологи. Пред нами — паноптикум, кладбище, живые трупы. «Он (Мишука. *А. В.)* был страшен, — распух до нечеловеческого вида. Облезлый череп его был исцарапан, желтые, словно налитые маслом, щеки закрывали глаза, еле видные сопящие ноздри. Под локтями и сзади, придерживая затылок, привинчены были к креслу деревянные бруски, на них, опустив опухшие кисти рук, висел он огромной тушей. Дышал тяжело, с хрипом» («Мишука Налымов»).

Такой огромный разложившейся тушей оказалось к тому времени дворянство; его поддерживали только искусственные подпорки прежнего политического строя.

Кающееся барство сороковых, шестидесятых и семидесятых годов представлено жалкими Щепкиными, одиноко, пусто и нудно коротающими свой век посреди кип пыльных книг в заглохших, затянутых паутиной комнатах.

Тургеневские девушки обречены делить свою участь со Смольковыми и хромыми выродками.

Куда подевались Рудины, Лаврецкие? Они превратились в дряблых и мелких Аггеев Коровиных и Тепловых.

Некто Расстегин, новоиспеченный мильонщик, отправляется в об'езд по усадьбам в поисках «стиля двадцатых годов». Его заставляют покупать какие-то патентованные мышеловки, грабят, чуть не убивают.

«Вот так двадцатые годы!..»

Да, свежо предание!

Бытовая обстановка, повседневная жизнь полны несуразности, бессмыслицы, нелепостей, смешных и дурацких случайностей; Заволжье Толстого — дом умалишенных, либо богадельня, где доживают калеки, кретины, придурковатые люди, больные и неизлечимые. Писатель нередко им сочувствует, обо многом он рассказывает с благодушием, но приговор все же недвусмысленен.

Местами отчетливо выступает и то новое, от чего оскудели и погибнули помещичьи усадьбы. Большинство заволжских героев беспомощны перед деревенским кулаком, перед купцом, перед новым городом с его биржами, рвачеством, сутолокой, с проститутками, щелкоперами, с ресторанами, рынком. Очень хороша Раиса в «Приключениях Расстегина» — дочь деревенского писаря, по-свойски зажавшая дворян. Она словно символизирует эту чумазую, звериную, уже оперившуюся кулацкую жизнь. Жаль, что писатель только наметил образ Раисы, но не дорисовал его.

Толстой — бытописатель не одного лишь помещичьего Заволжья, но и нашей интеллигентской среды. Об интеллигенции кануна революции помимо рассказов им написан самый большой по размерам из его вещей роман «Хождение по мукам» — наглядный, выразительный, художественный документ той эпохи. Главные персонажи романа — инженер Телегин, земский либерал Смоковников, его жена Катя, сестра Кати курсистка Даша, поэт-символист Бессонов, журналисты, офицеры. Они связаны отчасти с дворянским бытом, но больше с новым, буржуазно-городским. Они — представители верхушечных, наиболее состоятельных интеллигентских прослоек. Черты упадка, духовного оскудения и здесь на-лицо. Люди живут как бы в мареве, не зная, что делать с собой, что будет с ними завтра. Тоска, скука, томление, безыдейность, сознание своей ненужности, голый индивидуализм, ощущение безысходного тупика, смутное предчувствие надвигающегося конца — их основные настроения. Война заражает их шовинизмом, в войне они ищут выхода, но увлечения войной у одних неискренни, фальшивы, у других — непрочны. Вымороченная среда эгоизма, пороков, извращений, неврастении, пряных пошлостей и безрадостного существования показана писателем с умелым мастерством и знанием. Хуже удались Толстому дни Февраля и Октября и совсем неудачными оказались попытки спуститься в революцион-

ное подполье. В новом, в советском издании роман в этих главах переработан заново.

Толстой, да еще Пришвин, из прежнего дореволюционного поколения почти единственные писатели, прикасающиеся к современной действительности. Правда, Толстой, особенно, к нашему советскому быту подходит с величайшей осмотрительностью и осторожностью. Эта осторожность свидетельствует, насколько трудно писателю старой закалки отражать и изображать революционную современность. Не даром и не случайно в произведениях Толстого последних лет такое почетное место занимает фантастика, авантюра, условность — «Аэлита», «Бунт машин», «Союз пяти», «Гиперболоид».

Довольно охотно художник останавливается на современном Париже, Берлине, на барах и ресторанах, на кокотках, на миллиардерах, на апашах, на «наших за границей». Из этой серии наиболее удачны «наши за границей» в «Ибикусе» и в некоторых других вещах. Тут Толстой легко овладевает материалом, его кисть сочна.

Его рассказы и повести о современном Западе, главы из «Гиперболоида» и «Аэлиты», сюда относящиеся, — занимательны, читаются с интересом, они лучше того, что обычно пишется у нас на эти и подобные темы, но они ниже таланта Толстого. Фигуры нередко схематичны, штампованы, лишены толстовской яркости и своеобразия, мы не раз встречались с ними и у других писателей. Париж, Лондон, Нью-Йорк — не родная стихия писателя. Дабы убедиться в этом, достаточно сравнить эти произведения с одной такой повестью, как «Детство Никиты», появившейся из печати в 1923 году. «Детство Никиты»,—лучшее из всего написанного Толстым, — далеко оставляет за собой рассказы о Западе и ясно почему: весь Толстой — в родном и близком ему быту. Лишь только художник отрывается от российского быта, талант его тускнеет. Большой искусник, он подменяет быт занимательностью, узорностью сюжета и фабулы. И он вновь крепнет и становится полнозвучным, когда возвращается к нашему бытовому материалу. «Голубые города» показывают, на что тогда бывает способен Толстой. И в остальном Толстой крепок и интересен как бытовик. В «Аэлите» внимание останавливает не Марс с его жителями, а красноармеец Гусев; в «Гиперболоиде» — советский сыщик — Шельга. Кажется, здесь впервые намечен наш сыщик, не схожий ни с Нат-Пинкертоном, ни с Шерлоком Хольмсом: обычно именно с них списывали сыщиков и у нас и за границей.

II.

Настоящее и лучшее у А. Толстого и посейчас — бытовое. Но быт никогда у подлинного художника не служит самоцелью, а только средством для наглядного облачения в образы и картины своих основных эмоций и мыслей. Быт является скорлупой. Разбейте скорлупу произведения, у художника «божьей милостью» непременно найдете ядро. Наличие этого ядра и делает из рассказчика, простого наблюдателя истинного художника; оно сообщает

ему своеобразие, индивидуальность, дает оправдание, почему он должен писать, и почему читатель обязан его читать. Если нет этого ядра, тогда мы имеем свищ, в лучшем случае — талантливого собирателя фактов. Словом, у писателя должна быть своя тема, свой конек. Художник-писатель обладает двойным зрением, он умеет «снимать покровы», видеть то, чего не видят другие и открывать другим эти, свои видения.

Есть ли это двойное зрение у А. Толстого, есть ли у него своя тема?

У главных героев его есть одна особенность: они — мечтатели и фантасты. Они живут обманным. Одни из них верят в чудесное, ждут необычайного и несбыточного, у других надежды более житейские, но и те и другие одержимы мечтательностью. Это об'единяет персонажей Толстого, несмотря на различия в их социальном положении, в возрасте, в характерах, в душевных свойствах и в качествах. Мужики, помещики, интеллигенты, буржуа, революционеры, красноармейцы, императрица, миллиардеры, искатели золота, диктаторы, обыватели, офицеры — все они обольщены какой-нибудь навязчивой идеей, они фантазируют, они испытали сладость и отраву приворота. Генеральша Степанида Ивановна ищет древний клад в «Свиных овражках», галлюцинирует шведской короной Бернадота, Сонечка в ничтожном Смолькове видит сложного, умного, одинокого отверженца, человека иной планеты, смотрит на него «собачьими» глазами. Хромой барин мечтает о Кате, как о чем-то недосягаемом, говорит о женщинах, что они «странные и опасные существа». Аггей Коровин сидит в усадьбе, мечтает о Наде, жене своего друга тоже как о небесном, неземном создании. Биржевик Расстегин ищет в помещичьих усадьбах стиль двадцатых годов. Прогоревший помещик Языков живет мечтой о жене актрисе, сбежавшей от него. Княгиня Завалишина бредит нимфами, сатирами и пастушками. Алексей Федяшев влюбился в портрет покойной княгини и жаждет ее оживления. В сказке «Русалка» дед Семен поймал в реке русалку; из-за нее он продал овцу, лошадь, удушил любимого кота, бросился в омут.

Лучшим эпиграфом к роману «Хождение по мукам» является изображение Петербурга: «Точно в бреду, наспех построен был Петербург. Как сон, прошли два столетия: город, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, г р е з и л всемирной славой и властью; б р е д о в ы м и в и д е н ь я м и мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни... С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные в з р ы в ы ф а н т а з и и...

Петербург жил бурливо — холодной, пресыщенной, п о л у н о ч н о й жизнью. Ф о с ф о р и ч е с к и е летние ночи, с у м а с ш е д ш и е, сладострастные и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, б е ш е н ы е тройки, цыгане, дуэли...»

Этот город, где накануне войны создавались проекты новой роскошной столицы, где правил страной фантастический неграмотный мужик и царствовали «вывихнутые мечты модной поэтессы», этот бред Бессоновых и «Красных бубенцов», бросает гигантскую, мрачную тень на всю страну и на жизнь Телегиных, Рощиных, Сапожковых, Смоковниковых. В жуткой странной

полуяви, полуснах живут они изо дня в день, встречаются, влюбляются, мучаются. Происходит ли это в Москве, в далекой провинции — они опутаны бредовой полудействительностью. И уже настоящим кошмаром и безумием встает война: миллионы людей во имя жестоких, чужих и кровавых фантазий, оторванные от труда, от семьи, гибнут армиями, корпусами в немыслимой, в адской, в сверх'естественной обстановке.

Мечтатель — герой «Ибикуса» бухгалтер Семен Иванович. От юности своей он верит, что его ожидает необыкновенная судьба, что готовится ему беспокойный и странный жребий, символически воплотившийся для него в загадочный говорящий череп Ибикус. Он мечтает о графинях, об аристократической сказочной жизни.

Фантасты — Лось и Гусев в «Аэлите». Фантазм их — полет на Марс. Очутившись на Марсе, красноармеец Гусев больше всего хлопочет о том, чтобы получить «бумагу» о присоединении к РСФСР Марса: «вот в Европе тогда взовьются». Лось одержим Аэлитой. По возвращении на землю, он слышит: «голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича, — где ты, где ты, любовь?» Аэлита рассказывает, что еще девочкой она видела странные сны: она видела нашу землю, людей-великанов и тосковала по нашим облакам, потокам дождя и горам.

Своеобразными химерами одержимы и современные властелины и хозяева земли, миллиардеры, диктаторы, хищные поработители. В «Бунте машин» диктатор Морей на своих фабриках варит протаплазму и изготовляет людей-машин. Его идеал — заполнить ими весь мир, властвовать с их помощью. В «Союзе пяти» инженер Игнатий Руф жаждет овладеть мировым промышленным капиталом, политической властью, свернуть шею революции. Для этого необходимо, по его мнению, «поразить мир невиданным и нестерпимым ужасом». Пользуясь горчичным газом, он взрывает луну и, во время охватившей всех паники, временно добивается своей цели. В рассказе «Черная пятница» Адольф Задер, спекулянт и биржевой игрок, говорит: «На что мне деньги? Я — философ. Я люблю человечество». Он окрыляет надеждами русского полковника Убейко, писателя Картошина, барышню Зайцеву. Уполномоченный правителя Колчака грезит о русском золоте, увозимом во Владивосток.

В «Заговоре императрицы» царица живет в плену бредовых идей. Ее уверяют, что она должна низложить Николая, стать единой, венценосной матерью сына. Ей кажется, что Протопопов — Иван Сусанин, а «святой», уже казненный Распутин, переселился в Протопопова.

Отвлеченные, самоотверженные мечтатели — народолюбы в «Азефе»: Каляев, Гершуни, Сазонов, Гоц.

И даже в «Повести о многих превосходных вещах» 8-летний Никита уже мечтатель. Он покорен девочкой Лилей. Он отдает ей лучшие свои думы, верен ей, как рыцарь своей прекрасной даме. Для него Лиля — странная, далекая, чудесная мечта.

В «Голубых городах» коммунист Буженинов бредит во сне и на яву голубыми городами.

Подобно Игнатию Руфу и Морею фантазирует инженер Гарин в «Гиперболоиде».

Все они — мечтатели. Но не одну мечтательность видит в жизни писатель.

III.

В повести «Лунная сырость» князь Алексей Алексеевич, влюбившийся в портрет покойной княгини Тулуповой, просит остановившегося у князя проездом знаменитого мага и волшебника Калиостро оживить портрет. Калиостро соглашается, но предупреждает князя:

— Материализация чувственных идей, — говорит он князю, — одна из труднейших и опаснейших задач нашей науки... Во время материализации часто обнаруживаются роковые недочеты той идеи, которая материализуется, а иногда и совершенная ее непригодность в жизни.

Калиостро оживляет княгиню. Она оказывается вздорной, назойливой, глупой, грубой, капризной женщиной. Алексей Алексеевич, не зная куда деться, сжигает ее вместе с усадьбой.

Это — обычный конец толстовских рассказов, повестей, романов, драм. Главными героями его произведений являются мечты, идеи, фантазии. Но они обладают свойством: при соприкосновении с действительностью «очарования» неизменно либо терпят самое бесповоротное крушение, либо, как в случае с князем, с их воплощением обнаруживаются их недочеты, а то и полная непригодность. Идеи, фантазии, мечты кончают у Алексея Толстого худо. Кажется без исключения.

Спрядает вольный водопад
В теснинный мрак и плен юдольный.

Одинаково это относится и к большим, широким, общественным идеям и к малым, узко-личным мечтаниям. Служат ли они передовому, поступательному движению человечества, тянут ли они человеческое общество вспять, кажутся ли они естественными и нормальными, или носят явно бредовой характер — трагическая судьба их предрешена в вещах Толстого, они «спрядают в теснинный мрак и плен юдольный». Толстой неизменно ведет носителей всяческих очарований к роковому концу. Спасает он лишь тех, кто во время освобождается от мечтаний и фантазий. Генеральша Степанида Ивановна, Аггей Коровин, герой «Ибикуса», Сонечка, Вера, Даша, императрица, Каляев и Гершуни, Игнатий Руф и Морей, коммунист Буженинов, дед Семен, Аэлита, хромой барин — все они жаждут материализации своих фантазий, идей и повсюду их ожидания разбиваются о гранит действительности.

Действительность у А. Толстого чаще всего имеет пошлое, ничтожное, грубое, плоское и глупое лицо. В ней есть что-то ехидное, противное, пресмыкающееся, мохнатое. Спасаясь от преследования Тускуба, Лось и Гусев попадают в подземный лабиринт. На дне кирпичной шахты они видят коричнево-бурую шкуру. «От нее шло шипение, шуршание. Шкура подни-

малась, вспучивалась». То было скопление миллионов огромных пауков. Действительность Толстого, от какой гибнут идеалы и очарования, похожа на это паучье гнездо. Она появляется в его рассказах и повестях, как жадное, омерзительное чудище, она развертывается клубком неожиданных, непредвиденных дурацких случайностей, пошлейших и ничтожнейших событий, смешных и анекдотических глупостей, скопищем идиотских свиных рож. Наступает кавардак, чепуха, дичь, чертовщина, водоверть, жесточайшая нелепица, что-то хаотическое, непонятное, жалкое, липкое, осклизлое — и в этой бессмыслице и пошлостях, как в паутине, запутываются несчастные идеалисты, мечтатели, одержимые грезами.

Высоко в осеннем небе летят журавли. Как прекрасно, томительно, призывно, отрадно и бодро тоскливо их хрустальное курлыканье! Но журавли летят над Гнилопятами. Гнилопяты — страна особая. Тут бродит дикая чушь, в ней мелькают кикиморы, полу-люди, полу-нежить, она полна неосмысленных вещей и происшествий. Журавли в осеннем небе, но журавли над Гнилопятами. Нет до них, до журавлей, никакого дела этим огромным тушам, выродкам, прихлебателям жизни, самодовольным тупицам, и горе тем, кто заслушается и откликнется на курлыканье, словно зовущее в далекие, в неведомые, в нездешние страны. Гнилопяты никогда не прощают очарований.

Гнилопяты многообразны, они живучи. Гнилопяты и мечтатели. Это — два начала, два полюса жизни, две стороны. Гнилопяты принимают всевозможные формы, воплощаются в типы, в события, они распространяют свои владения далеко за уезд, за губернию, за пределы страны. Они в Европе, в Америке, в Константинополе, на Марсе, они переживают войны, революции. В ранних вещах Толстого они олицетворяются то в образе Мишуки Налымова, то принимают наружность Смолькова, Афанасия, Павлины, Раисы, богача Бабина, Цурюпы. Они пред нами в столичной сутолоке, в «Красных бубенцах», в редакциях газет, в домах терпимости. Они проходят позже пред читателем Иваном Ильичем, Смоковниковым, мерзкими буднями войны, греческим островом Халки, Протопоповым, ничтожными выродками — марсианами, столь схожими с аборигенами Парижа и Берлина, наконец, Гнилопяты живут и здравствуют и теперь, после революции. Как зло, по-идиотски, они издеваются над Бужениновыми!

Они заставляют хромого барина ползать несколько верст в пыли на коленях, генеральшу, мечтавшую о шведской короне, они отдают пьяному и глупому обманщику, они приводят Аггея Коровина вместо любимой к проститутке. В «Ибикусе» Невзоров мечтал о необыкновенной судьбе, о графах и князьях. В одном из захудалых трактиров Константинополя эта необычайная судьба — таинственный Ибикус раскрыл и показал свое лицо, он материализировался: «На вывеске в темные ночи горела поперек тротуара заманчивая надпись: «Салон-ресторан с атракционами — Ибикус». С тараканьими бегами, с аристократами и аристократками. Правда, у княгинь не мыты ноги, не чищены ногти, дряблы лица и, кажется, они приторговывают собой — но таков Ибикус.

Сколько душевной чистоты, подвижничества у террористов в «Азефе»? Но они — игрушки в руках провокаторов. В Азефе нет ничего демонического, сложного. Он — маленький подлец, делающий большие подлости. Он весь в гурьевской кашке, в том, как он сосет постоянно карамельки.

И так всюду у Толстого. Материализация идей терпит неизменное поражение, либо идеи воплощаются в нечто совсем дрянное и отвратительное.

Двойное зрение у Толстого есть. Он хорошо видит голую мечтательность и понимает толк в жизненной чепухе.

В каком же направлении пытается Толстой найти выход из столкновения между очарованиями и действительностью?

За последние годы действительность, сносящая карточные домики фантазеров, все больше и чаще выступает у писателя не в образах Гнилопят, а в образах, в картинах революций, восстаний рабочих. Это понятно: Толстой — большой художник. Он не мог пройти мимо самоочевидных событий, фактов, тенденций. Но в таких произведениях, как «Хождение по мукам», «Необыкновенные приключения Никиты Рощина», революция изображаетсч так, что напоминает собой несколько бессмыслицу Гнилопят: она приходит, как неожиданная, непонятная стихия. Такой она представляется Телегину, Даше, Кате, Рощину. Они недоумевают, видят, что случилось что-то грандиозное, непоправимое, но не могут ничего противопоставить революционному шквалу. С опаской спешат они отойти в сторону, не понимая ни динамики, ни смысла революционной борьбы.

Такое настроение Телегиных и Рощиных для писателя было временным, переходным. Позже, Толстой нашел более четкие образы и слова для революционной действительности. Он подробней, внимательней стал останавливать свое внимание на социальных столкновениях двух миров. С особой настойчивостью Толстой изображает идеологов и практиков современного фашизма с их ницшеанскими крайне индивидуалистическими идеями о сверхчеловеке. Русский фашист — инженер Гарин мечтает овладеть ценностями всей земли... «Ни одна труба не задымится без моего приказа». Будущее ему представляется так: он, Гарин, сосредоточивает в своих руках всю полноту власти. Производится отбор «первой тысячи» — около двух-трех миллионов людей. «Они предаются высшим наслаждениям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней Спарты, особый режим». Производится также отбор рабочих. Их оперируют и кастрируют: они превращаются в настоящих рабочих скотов. Отдельная группа людей изолируется «на прекрасные острова» для размножения. «Затем все остальное придется убрать за ненадобностью», т.-е. истребить. Этого же в сущности добиваются Морей в «Бунте машин» и Игнатий Руф в «Союзе пяти». Подобные мрачные противочеловеческие бредовые идеи могут прийти в голову только в предчувствии гибели старой культуры. Нынешних сверх-человеков это не смущает. Диктатор Тускуб, призывающий разрушить гнездо анархии столицу Саоперу и заковать в цепи рабочих, прямо говорит, что история Марса

окончена и вся задача лишь в том, чтобы покрыть конец цивилизации «венцом золотого века».

Обычно эти изуверы-мечтатели гибнут со своими планами и предприятиями от рабочих восстаний и революций. Морея уничтожают восставшие люди-машины. Игнатия Руфа изгоняют рабочие и устраивают в его помещении свой клуб. В «Гиперболоиде» Гарин терпит крах от большевика Шельги. Революция, восстание уже не бессмысленная стихия, а организованный, целесообразный, неизбежный акт: человеконенавистнические сумасбродства Гариных настоятельно требуют их удаления и пришествия новых хозяев жизни. Все это так. Но, признавая социальную революцию против Мореев и Гариных, Толстой остается лишь благожелательным ее свидетелем, соглядатаем, художником, понявшим ее неизбежность и необходимость. Революционный выход не заражает его, не здесь он ищет главного разрешения противоречия между идеалом и действительностью. Пафос его творчества питается другими настроениями, чувствами, мыслями.

IV.

Еще в ранних своих романах и повестях Толстой пытался найти решение вопроса об идеале и действительности. Сонечка Смолькова, разочаровавшись в своих мечтаниях, в муже, в столичной и заграничной сутолоке, говорит себе в заключение:

— Хоть гибели, хоть горьких слез, но жить! жить! жить! Не бродить в сладком тумане, в очаровании, как прежде, но жить! Гореть, как куст раскинуть руки к этому синему небу, к этой печальной земле... Прими, вот я вся взвилась огнями пред тобой... («Чудаки».)

Выход — в отказе от очарований, в признании высшего и единственного примата за непосредственно-данной жизнью. Очарования, мечтания, идеалы — это все преходящее, второстепенное, не настоящее и часто прямо вредное. Любовь к женщине, вещи, природа, дети, простые и человеческие отношения — вот что верно и прочно. В романе «Хождение по мукам» Рощин такой именно итог и подводит всему пережитому героями:

— Пройдут года, — убеждает он Катю, — утихнут войны, отшумят революции и нетленным останется одно только — кроткое, нежное, любимое сердце ваше... — Этим оканчивается роман.

В «Аэлите» Гусев всячески старается присоединить Марс к РСФСР, становится во главе восставших марсиан. Инженер Лось готов помочь ему, но смотрит на предприятие Гусева с благожелательной снисходительностью. Главное для него Аэлита, голос любви, нежности. В «Бунте машин» рабочие-машины восстают и уничтожают Морея, но не их восстание призвано возродить мир, а вновь воссозданные Адам и Ева. Старик Пуль — он должен для разведения людей варить протоплазму — сошел с ума. Но рот Евы пахнет яблоком, у нее заря на щеках — в этом спасение, в этом будущее и вся радость людей.

Выход из плена юдольного — в жизни, как она есть, освобожденной от очарований. Толстой как бы говорит нам: есть древний закон жизни — плодитесь, размножайтесь, трудитесь, наполняйте землю, обладайте ею. Вот — завет заветов. Очарования, фантазии, мечтания обычно уводят человека в сторону от этого завета. Очарованные, одержимые мечтами, люди не видят, не замечают радости жизни, как она дана нам, они попирают ее и тогда природа, могучие инстинкты и силы жизни мстят за себя тем, кто приносит их в жертву разным фантазмам. Революция, борьба миллионов людей за лучшую долю — благостны, если они утверждают торжество этой жизненной правды.

Бесспорно, разрешение противоречия между идеалом и действительностью, какое дает писатель, не случайно: оно согласуется со всем его художественным мироощущением. Толстой превосходно чувствует прелесть простых человеческих отношений, природу, жизнь в любви, в мелочах, в радостном и несложном обиходе. Он показал и доказал это своими вещами. Особой наглядной убедительностью в этом смысле отличается его «Повесть о многих превосходных вещах» («Детство Никиты»), произведение, единственное в своем роде. Вещи, изображаемые художником, не только превосходны, но и просты: солнечное зимнее утро, учитель Аркадий Иванович, сугробы, сон, старый дом, ледяшка, колодец, стенные часы и вазочка на них, игра в снежки, кулачки, девочка Лиля, грачи, домик на колесах, вечер, елка, лошадка Клопик, лодка, купальня, стрелка барометра и прежде всего сам 8—9-летний Никита. Об этих простых и чудесных вещах рассказано любовно, легко, значительно, тонко, живо и до того занимательно и интересно, что повесть лучше самых сюжетных романов. О самых простых вещах обычно писать труднее всего. Толстой шутя справляется с этими трудностями потому, что он хорошо чувствует душу простых вещей, видит их, ценит, любит.

Дети и простые вещи — всегда самое удачное у Толстого.

И еще женщины.

Правда, Сонечки, Веры, Кати, Даши у писателя однообразны и схожи друг с другом. Иногда с трудом отличаешь Дашу от Кати, Сонечку от Катеньки и т. д., но Толстой умеет художественно правдиво и чутко поведать об их удачах и неудачах, о чувствах и настроениях их. Отлично, например, изображена история Дашиных испытаний в «Хождении по мукам»: страницы, где повествуется, как в Даше впервые растет властно пол, словно вселяется в нее некое, второе, чуждое ей, страшное и новое существо, принадлежат всецело писателю. Воздушен, прозрачно чист, интимен и мил голубой образ Аэлиты, удачна Зоя в «Гиперболоиде», Сонечка в «Чудаках».

Простые вещи, любовь, женщина, природа, дети — вот в чем ищет Толстой выхода из тупиков, куда заводят человека сладкие туманы, лунная ярость и очарования.

Но выход ли это?

V.

Не человек для субботы, а суббота для человека. И революция тогда лишь победоносна, когда она совершается не в угоду мечтателям, фантастам и безумцам, а в утверждение попираемых самых простых, непосредственных жизненных интересов и запросов миллионов людей. Но все же завет заветов Толстого представляется нам чрезвычайно упрощенным. Противоречие между идеалом и действительностью существует: верно и то, что есть не мало очарований и красных вымыслов, вредных и обреченных на гибель. Но Толстой, повидимому, склонен думать, что идеалам имманентно присуще «спрядать в юдольный плен» и причинять их носителям разные роковые неприятности и несчастия. По силе сказанного противоречия между очарованиями и жизнью он разрешает путем простого устранения одного из контрагентов, именно очарований. Химеры, мечты, идеи ведут человека к погибели, долой их, да здравствует живая жизнь, очищенная от вредоносных вымыслов! Но это не разрешение противоречия, не ответ, а уход от ответа. Противоречие между идеалом и действительностью на деле разрешается куда сложней.

Есть идеалы «очарования», — они отрицают действительность во имя иной действительности. Ее еще нет, но элементы ее даны уже в недрах старой действительности. Очарования людей, домогающихся торжества этой новой действительности, опираются на эти элементы, уже данные, уже зреющие. Они поэтому далеко не всегда беспочвенны. Другими словами: действительность сама существует в сложном, в противоречивом сплетении, в борьбе и в столкновении фактов, тенденций, историй. Одни из этих фактов и тенденций питают бесплодные и явно отжившие очарования, другие питают такие чарования, которые на другой день — полно или неполно — зависят от обстановки — материализируются, овеществляются.

Это общеизвестно. Но если это общеизвестно, то сказать, как говорит, например, Сонечка: «Не бродить в сладком тумане, в очаровании, но жить», значит, в сущности, ничего не сказать. Можно согласиться, что бродить в сладком тумане, навеянном Смольковым, дело куда как не веселое. Можно порадоваться, что Сонечка рассеяла этот туман, но дальше и встает вопрос, как именно жить: ведь жизнь сама многообразна и противоречива. Можно дальше согласиться и с Рощиным: пройдет война, революция, а любовь будет всегда, и ныне, и присно, но революция-то и война не прошли. Все дело именно в том, как жить сейчас, теперь, вот в эти годы, в данный исторический отрезок времени. Ссылка на то, что революция пройдет, а любовь останется, ничего не решает.

Завет заветов Толстого — простая отписка. Эта отписка постоянно ослабляет художественную позицию писателя. Замечательная вещь: романы и повести Толстого занимательны, содержательны, правдивы, а окончания их почти всегда разочаровывают. Вспомните наудачу окончание «Чудаков», «Хромого барина», «Хождения по мукам», «Аэлиты», «Ибикуса». Концы в них сбиты, смутны, незначительны, словно автор намеренно оборвал

ювесть, роман или, не дописав, поспешил поставить точку. Отчего это? : окончаниях своих романов, повестей Толстой обычно выражает излюблен- ный им завет заветов — жить, жить без очарований, не бродить в сладком умане. Так как такой ответ не отвечает на всю сложность поставленных произведении вопросов, то концы не могут не проигрывать: неудачные и как бы недописанные окончания об'ясняются неудачными и неубедитель- ными ответами художника на одну из самых жгучих проблем челове- еской жизни.

Все дело в том, что мы живем в определенной исторической обстановке не можем из нее вылезти, как не можем вылезти из своей шкуры, поднять ебя за волосы над землей. Изуверским «очарованиям» Тускубов, Гариных, Лореев, Руфов со всей силой должны быть противопоставлены очарования 'усева, Шельги, — иначе человечество погибнет. Но Мореи, но Гарины, но 'ускубы своих позиций отнюдь не намерены уступать. В ожесточенной, лительной борьбе с ними требуется крепчайшая закалка, мужество, героизм, амопожертвование, могучее развитие социальных инстинктов и подавление эко-личных. Суровая обстановка требует суровых людей и средств. Пусть акое самоограничение временно, но оно необходимо. Формула — жить без чарований — ничего тут не решает и может повредить даже. В споре между осем и Гусевым мы на стороне Гусева. Гусев прав, когда говорит Лосю, что эт слишком «нанюхался сладкого». Если требуется дело закрепить, сладкое» сплошь и рядом мешает. У Гусева с Ихой выходил «магнитный изговорец», но в первую очередь он «разнюхивал», что делается в столице арса, что предпринимает Тускуб. Его тоже тянуло к себе сладкое, но он не ибывал, что «надо меры принимать». Иначе не побеждают. Коммунист Бу- енинов, попав в современную советскую провинцию, провалился со своими лубыми городами, но, прежде чем очутиться в мелком провинциальном холустье, он дрался на красных фронтах. Он не сумел приспособить своих ечтаний о голубых городах к новой, пестрой, сложной, будничной, деловой становке, но художник не показал нам, что его «очарования» принесли ед, когда он дрался. У Малышкина в повести «Падение Даира» красно- мейцы идут брать не Крым, а чудесный Даир, страну, текущую млеком и дом. «Очарования» помогают одержать им трудную победу. В социальных твах, в моменты высших напряжений нельзя обойтись без преувеличений, з иллюзий, без очарований, пускай на завтра эти очарования воплощаются так, не полностью, не всецело.

Художественный путь А. Толстого дает довольно полный и поучитель- й ответ на вопрос, каким образом писатель пришел к своему завету ветов.

А. Толстой наделен здоровым запасом жизненных сил, уравновешен- м, жизнерадостным мироощущением, большим чувством реальности, епким юмором. Он обладал и обладает даром видеть «превосходное» простых вещах, его творчество в своих истоках просто, легко, проникнуто юстным реализмом. Но он рос, развивался и сформировался, как писатель, чень своеобразной общественной обстановке.

Он начал свою литературную деятельность бытоотобразителем разл‹ жившейся дворянской усадебной жизни. У представителей помещичьего За волжья ко времени Толстого социальная почва совершенно ушла из-под но Осталось — сумасшедшие бредни, безвольные мечты, пустопорожнее пр жектерство и уходящая, нескладная, бессмысленная жизнь, наполненна чепухой и дичью. Это отметил себе прежде всего живой и наблюдательны реалист. Вот откуда журавли и Гнилопяты.

Толстой продолжил свою литературную деятельность, изобража верхушку нашей интеллигенции, тоже в ущербные для нее годы. Он наше здесь растущий отрыв интеллигенции от жизни трудовой страны, неприкаянность, одиночество, самоубийства, сладострастие, предвоенный и пре революционный столичный чад, голый индивидуализм и «очарования», барски надуманные и далекие от жизни. Некто Акундин говорит на одном из интел лигентских собраний:

«Русский мужик — точка приложения идей. Да. Но если эти иде органически не связаны с его инстинктами, с его вековыми желаниями, с е первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то иде падают, как семена на камень. И до тех пор, покуда не станут рассматрива русского мужика просто, как человека с голодным желудком и натерты работою хребтом, покуда не лишат его, наконец, когда-то каким-то барино придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагическ существовать два полюса — ваши великолепные идеи, рожденные в темнот кабинетов, и жадная, полузвериная жизнь» («Хождение по мукам»).

Словом и здесь писатель увидел журавлей над Гнилопятами.

Далее, пред Толстым прошли чередою длинной «наши за границей», носители великодержавных идей, победы до конца, мечтатели о щите на вр тах Царьграда. Щита они не прибили, но в кофейнях грека Синопли имели возможность безвозбранно наблюдать бега дрессированных тараканов, наро ное русское развлечение.

Еще и еще журавли над Гнилопятами.

За рубежом художник увидел и носителей современных идей о свер человеке, о золотом веке для избранных. Донеслись до писателя и гигантские всплески русской и западно-европейской революции. Он отринул человеконенавистнический бред Тускубов и стал присматриваться к Гусевым, к Шелы Он нашел в них непосредственность, примитивную, но крепкую уверенно в себе, настойчивость, здоровье, хорошие мускулы, свежую, неиспорченную кровь, готовность отстоять землю от чудовищных черных химер современных властелинов. Он готов их признать. Но писатель знает их больше по наслышке. Недаром с такой осмотрительностью он подходит к ним.

Он дальше, повидимому, склонен признать будущее за Гусевыми, но сомневается в «гнилом Западе». Он сомнения эти переносит не только на тех, кто живет в виллах, в замках и в особняках, но и на тех, кто ютится в пр местьях Лондона, Парижа, Берлина. Активен, заразителен Гусев, но беспомощен вождь рабочих-марсиан Гор; унылы, безнадежны геройски, но впустую гибнущие карлики рабочие-марсиане. Может быть, слишк м

далеко зашло вырождение на Западе и уж успело захватить людей труда? И потом: кто их знает, этих Гусевых и Бужениновых, не то они построят голубые города, не то их победят новые Гнилопяты. Верно, в стране раздается уже «шипение пил, шорох серпов, свист кос, — веселые земные песни В стране в этот год были начаты постройкою небывалые так называемые «голубые города» («Аэлита»), но не журавли ли это опять над Гнилопятами? Ведь Бужениновы — такие мечтатели, а к мечтателям у художника давнее исконное недоверие?

Так называемые или действительные голубые города? — в этом вся суть. Разумеется, если на западе одни лишь Тускубы и унылые марсианские рабочие-карлики, а у нас преобладают не приспособившиеся к новым условиям Бужениновы, тогда голубые города останутся так называемыми. У нас нет, однако, пока оснований сомневаться. Пестра, текуча, многообразна наша советская действительность, сильны еще Тускубы, но общее направление эпохи совершенно не двусмысленно дает ответ на вопрос, кто кого.

Повесть Толстого «Голубые города» превосходна. У нас не мало Бужениновых. Но если сделать еще шаг в этом же направлении и попытаться дать более широкие обобщения, получится поход против плана, против социалистического строительства. Мы предостерегаем художника от этого шага. Пока же в своих вещах, где писатель изображает не только простые и превосходные вещи, но и широкие современные общественные столкновения, А. Толстой представляет точку зрения части остатков прежней интеллигенции, которая разуверилась в прочности и в дальнейшей целесообразности буржуазного общества, сочувственно относится к новым строителям, но не уверены в том, что им удастся построить «голубые города». Отношения А. Толстого к революции очень напоминают отношения между Лосем и Гусевым. И если Лось несколько снисходительно, и не без основания, предлагает Гусеву прежде всего озаботиться вывести с Марса мудрость и знание, то вслед за Гусевым мы тоже готовы, не без основания, кое-что заметить Лосю — Толстому. В разгар битвы Лось кричит Гусеву: — нужно спасать Аэлиту!—На что Гусев отвечает:—да что вы ко мне с бабой вашей лезете!— Это хорошо и правильно. И еще правильно и хорошо говорил раньше Гусев Лосю:

— ...выходит не дело. Летели чорт знает какую даль, пожалуйте, — сиди в захолустье... Уж не нанюхались ли вы чего-нибудь сладкого?.. Сидеть — цветы нюхать! — этого и у нас на земле сколько в душу влезет... дело наше надо закрепить... —

В самом деле, прохлаждаться не приходится. Прохлаждаться не приходится, а то как раз попадешь в лабиринт царицы Магр к... паукам.

VI.

У нас нет бережного отношения к художникам. Нет его и к Толстому. А. Толстого поносят и разносят. Но, странное дело, читают его вещи с интересом. За ним внимательно следят. Его знают наша молодежь, широкие пар-

тийные и советские круги. Нам кажется, что читатель здесь более прав, чем усердные поносители — критики и рецензенты.

А. Толстой — редкий талант.

По своей манере письма он принадлежит к реалистической школе классиков, она, вопреки мнению Лефа, далеко не изжила себя. Реализм Толстого тронут импрессионизмом, но в меру, без крайностей и без преувеличений. У Толстого есть двойное зрение, есть своя тема. Он по-своему видит мир и людей. Он прекрасно владеет русской речью. Язык у него легок, прозрачен, чист. Он слышит, как з в у ч и т наше родное слово. Его образы выразительны и метки, но они никогда не торчат занозами, они не вычурны и не надуманы. Когда Толстой пишет: «в зеленом небе теплилась чистая, как льдинка, звезда» — это лучше кричащих имажинистских ухищрений. Здесь есть чему поучиться нашим молодым писателям.

А. Толстой занимателен. Он — интересный рассказчик. Он самый занимательный у нас писатель. В этом он следует лучшим традициям западноевропейской литературы. Искусство интересно рассказывать у нас никогда не культивировалось и не поощрялось. Вместе с Куприным А. Толстой вводит в наше художество европейскую и американскую манеру быть не только поучительным, но и занимательным. За последнее время писатель иногда, впрочем, злоупотребляет занимательностью, но все же у него есть чувство меры даже в таких вещах, как «Гиперболоид».

Толстой любит смешное. Смех его — легкий, добродушный, не цепляющийся, в нем нет ни сарказма, ни обличения, ни скрытой тоски и грусти. В его смехе есть что-то от русских Гнилопят, от их чепухи и чуши. Он как бы придурковат и наивен. — В Москве, — повествует фельдшер за рыбной ловлей, глухой провинции, — за Крымским мостом железную башню построили — и с нее разговаривают кругом земного шара... Этот бандит-то в прошлом году рассказывал, залезет, говорит, на башню телеграфист и начинает обкладывать весь земной шар, всю мировую буржуазию кроет матом... Сперва, говорит, мировая буржуазия никак не могла понять, что за слова? Позвали спецов. Те говорят: это матерное, это из Москвы вас кроют»...

Толстой умеет раздвигать рамки бытовой ограниченности. Он не погрязает в областничестве, не засиживается в Гнилопятах и твердо помнит, что читатель живет и в Новороссийске, и по Волге, и в Сибири, и в Архангельске. Его герои носят прочный отпечаток родного им бытового уклада, но писатель умеет обобщать. Вот почему его хромой барин до сих пор трогает, а Мишука живет еще и здравствует.

Искусством малых величин Толстой тоже обладает. Его деталь уместна немного импрессионистична, не перегружает повести, рассказа, умело отражает общее в частном.

А к Гусевым художнику следует присмотреться повнимательнее Правда же, лучше у него искать мудрости жизни, чем у Сонечек Смольковых особенно в наше время.

Из воспоминаний о Л. Андрееве [1]).

Андрей Андреев.

В феврале или марте у Леонида возникла мысль написать едкую сатиру на современную критику. Героем задуманной вещи он избрал критика Арабажина. Арабажин для Леонида — воплощенная бездарность. Один из тех, которые своим тусклым языком и плоскою мыслью низводят большое к мелкому.

— Я хорошо представляю себе, — как пишет Арабажин, — говорил как-то Леонид: — вот читают новую вещь. Сидит Арабажин и с беспокойством, зорко вглядывается в лица: каково слушается, не скользнет ли по чьему лицу получаемое впечатление. Угадав общее отношение к пьесе еще при чтении, он начинает интервьюировать. «Ну, как вы находите?»... «А вы?» — перебегает, расспрашивает всех и, выяснив детально общее отношение, пишет реферат. И начинает мягко и сладко:

— Молодое симпатичное дарование N. N...

Или просто:

— Симпатичное дарование...

И дальше:

— Замечается некоторый упадок... или: нельзя не отметить некоторого прогресса как в смысле формы, так и в смысле содержания...

И поет Арабажин свою «серединную» песню, и слушают его «серединные» люди: никто не обижен, никто слишком не превознесен, так как всякие ограничивающие «но» и «хотя» без конца пестрят в реферате «серединного» критика. И смел Арабажин только тогда, когда общие отзывы единодушны, — тогда Арабажин забегает временно дальше вперед, правда, с частой оглядкою: верно ли он идет?

Вот этого-то Арабажина и взял Леонид для своей сатиры. Она называется так: «Арабажин в Греции». Содержание такое:

Случилось однажды, что, вернувшись с реферата, Арабажин так углубился в переживание выпавших на его долю аплодисментов, что не заметил, как лег в постель. А лег он по рассеянности наоборот: головою в ноги. Поэтому и случилось, что наоборот двинулось и самое время. И так как спал Арабажин сном счастливым и крепким и спал долго, то и проснулся он значительно ранее нашей эры, именно — в Греции, во времена Софокла. Греки с почетом встретили иноземного гостя. Приветствовал критика сам Сократ.

— Я — Арабажин, — поспешил отрекомендоваться иностранец.

Сократ спрашивает его о занятиях, которыми живет он на родине.

— Я — критик, — скромно «напоминает» Арабажин.

Греки понять этого не могут: думает Сократ, думает старик Софокл, думают все, но понять не могут.

---

[1]) Воспоминания относятся к 1913 и 1914 годам.

— Но что это значит, о, Арабажин? Мы вообще знаем о критическом отношении, но что значит «критик», мы не знаем. Об'ясни нам, о иностранец!

— Это значит, что я думаю о том, что пишут наши писатели, даю оценку, устанавливаю ценность талантов, об'ясняю смысл их произведений, указываю недостатки и достоинства...

— Но неужели, — спрашивает Сократ, — соотечественники твои так глупы, что не могут понять сами?

— О, нет, соотечественники мои очень образованы и культурны. Но, конечно, не всегда оценивают в должной степени...

— Но скажи, о, Арабажин: так как писатели суть умнейшие из твоих соотечественников, то ты, дающий оценку их произведений, видящий их недостатки, ты несомненно мудрейший из людей. Ты, несомненно, один такой?

— Нет, как вам сказать, — скромно замешкивается Арабажин, — есть и другие. Вот вдумчивый критик Айхенвальд...

— Но все равно, ты несомненно божественного происхождения, о, Арабажин!

Все более и более возвеличиваемый Арабажин тоскует: «Почитать бы «Биржевку» сейчас, — но спохватывается и принимает приглашение прочесть реферат после представления новой трагедии Софокла. Но вот ужас Арабажина: трагедия одна из тех, которая до нас не дошла. Все попытки достать рукопись оказываются безрезультатны. Арабажин выслушивает трагедию без всякой подчитки и подготовки, а собственного мнения составить о ней никак не в силах. По окончании трагедии он пытается порасспросить греков, но те сами ждут от него мудрого слова. Даже сам старик Софокл взволнован и ждет реферата с бьющимся сердцем.

И вот, перед многочисленным собранием греков Арабажин говорит. Он начинает так:

— Милостивые государи и милостивые государыни! Симпатичное дарование господина Софокла — должны мы признать — хотя и не вполне изменило ему, но, очевидно, уже клонится к упадку...

И дальше Арабажин от «но» переходит к «хотя», от «хотя» к «но». И так вся речь. И когда кончает Арабажин, наступает долгое молчание. Прерывает его тот же Сократ:

— Иди спать обратно, о, Арабажин, — говорит он критику.

И молча, как больного, греки берут Арабажина под руки и ведут спать обратно.

«И чорт с вами, — бормочет обессилевший Арабажин: — без вас жил, без вас и проживу».

На этом и кончается сатира. Много столкновений бытового характера ускользнули сейчас из моей памяти, но помню, что были они необычайно комичны и злы.

Леонид инсценировал для кинематографа «Анатэму» и в инсценариум вложил крупную мысль: дав, с одной стороны, Давида таким, каков он есть, он показал его с другой стороны таким, каким он представляется толпе.

— В самом деле, — говорил он как-то, — почему, в сущности, избивают люди пророков и учителей? Ведь не за то, что они пророки и учителя, не за истину и добро, а за то, чем они толпе представляются. И в акте, где убивают Давида, кинематограф дает могучее средство, которого не дает сцена: показать, за что толпа убивает Давида. Давида подменяет Анатэма, и Анатэму побивает слепая толпа, не зная, что побивает Давида, а не Анатэму.

Как-то я сказал Леониду:

— Как мне обидно за отцов, которые умерли, когда их сыновья — будущие писатели — еще дети. Отец Толстого умер, когда Левочке было всего 9 лет. И он даже не подозревал... Как жалко, что наш отец умер так рано.

Леонид ответил так:

— Не совсем так. Отец будущность мою предвидел настолько, что я считаю его первым поклонником своего таланта. Не могу сказать, в чем это выражалось явно, но отец как-то выделял меня среди других, и не только одною любовью. Обычно самовластный, резкий, он был со мною уступчив, почти вежлив; какая-то тень почтительности и уважения проскальзывала в его ко мне отношениях.

И, видимо, вдумываясь в размеры, в характер своей творческой мысли, Леонид добавил:

— И если бы он сейчас воскрес и увидал бы, что есть, он нисколько не удивился бы. Скорее даже, что он отнесся бы так: только-то? — я ожидал большего.

То, что говорил Леонид о своем таланте, он говорил волнуясь где-то в самой глубине своей мысли. В простых словах его звучала та трагедия, которая встречается в жизни — а ведь это так редко! — а не на сцене.

Разговор зашел о вечной писательской неудовлетворенности, о строгом отношении Леонида к своим вещам в частности.

— Ведь странно подумать — «Молчание»... Рассказ, теперь расхваленный всеми, которым даже меня самого попрекают: вот, мол, как писать следует — этот рассказ, будучи написан, долго валялся у меня в самых последних местах. Написал и махнул рукою: дрянной рассказ. И в печать попал таким образом. Я жил тогда в Царицыне на даче и переживал тяжелую полосу: пил сильно, нигде места не мог найти от тоски. Помню, сижу как-то дома, совсем на краю гибели... И вдруг заявляются Филипп (Ф. А. Добров) и П. Н. Малянтович. Как узнал потом, они просто-на-просто сговорились: пришли с тем, чтобы вывести меня из тяжелого состояния, поболтать, посмеяться, похвалить тот или другой отчет или рассказ, словом, помочь малому... Накануне я пил, был мрачен, и лежал, когда пришли. Не обращая внимания на мою мрачность, начали болтать о литературе, спросили, нет ли у меня чего нового. Говорю, что нет. Есть какая-то старая вещь, но ее и читать не стоит...

— Ну, нет, Леванинша, ты уж прочти, а стоит или не стоит она того, уж мы сами увидим, — осадил Леонида Филипп.

Сам недовольный тем, что разговорился, принялся Леонид за чтение. И, читая, уже сам почувствовал, что рассказ не так уж плох. А тут еще слушатели...

— Да ты, Леванинша, молодец, — уверял Филипп, — разве можно бросать такие рассказы? Ведь его всякий журнал возьмет!

— Писательство, — продолжал Леонид, — штука тонкая и деликатная. Вот, глядя на меня со стороны, можно подумать, что все вожжи у человека в руках, искушен в писании и слове, как никто, а на самом деле ничего подобного: те же сомнения, что у всякого начинающего, что у всякого смертного.

Оценивая об'ективно свое дарование, волнуясь глубоко, восходя на какие-то вершины духа, Леонид сказал приблизительно следующее:

Дарование свое он ставит выше, чем талант. Горький — вот яркий представитель таланта. Но, будучи выше таланта, дарование это не достигает некоторого целостного состояния, не становится вполне на высшую ступень — на ступень гения.

— Я — то, что встречается нередко, существование чего признано критикой отчасти психологией, я — частичный гений. От гения у меня захват и глубина, хватаюсь за камни, которые под силу лишь гиганту, лишь гению, я ворочаю их, но поднять не могу.

От гения у него и то, что можно назвать психологией творчества. Гений бессознателен, и, действительно, чем больше обдумывает, тем дальше от того исполнения, которое гармонировало бы с силой задуманного. Растущая в глубину мысль точно изнемогает под своею тяжестью, своей громадой — и исполнение слабо, нецелостно, неровно в своих частях. Наоборот: лучше выходит вещь, когда в личной жизни он чем-либо раздавлен, когда не весь, точно не весь погружен в работу. Так написан целостный «И. Искариот» на Капри, после смерти Шуры; так написаны в годину тяжелых испытаний, когда от личной жизни он был «мертвецки пьян»: «Мои записки», «Дни нашей жизни» и «Черные маски» («Дни нашей жизни» написаны в четыре дня, а «Черные маски» написаны экспромтом, менее чем в неделю. Тема впервые явилась при писании «Моих записок», где можно найти эту тему).

Враждебное отношение, которое вызывают к себе его вещи постольку же, поскольку и личные столкновения, гасит самое важное: непосредственное отношение к работе. Нет в работе той свободы, с которою действовал «беспечный гуляка» Моцарт. Все затемняется сознанием какой-то ответственности, долга перед какою-то неведомой массой. Это связывает еще более, усиливает неуверенность в себе.

— А если о н и правы?

Этот парализующий силы вопрос никогда и никак не мог быть решен окончательно. Вот поэтому теперь, когда приходит огромный замысел, то замысел этот только пугает.

Характерно в Леониде то, что, будучи пьян, т.-е. почти лишенный сознания, он способен был говорить вещи необычайные по глубине и значительности. Это знают все, кто говорил с ним, когда он был пьяным. Только сейчас приходит мне разрешение той загадки, которая была: почему где-то, в тайниках души, за внешним страхом и болью, я радовался бессознательно, когда видел Леонида пьяным. Теперь я понимаю, что я не мог не радоваться гению, каким был Леонид в пьяном состоянии. Я не помню к сожалению, что приходилось тогда от него слышать, но я помню силу впечатлений, ту глубину, которая была в его разговорах. Я знаю, что нередко Леонид говорил перед публикой, будучи нетрезв. Так произнес он речь об «Океане» после публичного чтения пьесы.

Май стоит холодный и дождливый, и Леонид не может начать летнего плавания. Он сидит дома, читает через силу, смотрит рецензии о «Екатерине Ивановне» и тоскует. Так, сидя вечером, он заговорил о новой пьесе — «Княгине», пьесе реалистической, бодрой необычайно. И, не кончив, сказал:

— Эх-ма! Ну, что стоит мне: вот в эти бы пасмурные дни, просто для развлечения, как «Дни нашей жизни», взял бы да и написал «Княгиню» дня в четыре. Легко, беззаботно, работа, как отдых, но вот... критика. Давит без конца, заставляет нервничать, сомневаться в каждом слове, убивает всякую радость в работе. Я писать могу, когда не думаю, что бы написать хорошо.

Вот сейчас: прочти я хоть две статейки о том, что вот, мол, какой, в сущности говоря, молодец Андреев! Как здорово пишет, чорт возьми, и еще как писать будет!.. И больше бы ничего не надо: повеселел бы я, стряхнул бы эту нудную галиматью, критику, и дал бы «Княгиню». И ставили бы ее, как «Дни нашей жизни». Но вот существует критика...

Когда так называемый «провал» «Екатерины Ивановны» завершился, «Биржевые Ведомости» поместили заметку, что Л. Андреев крайне угнетен неудачей По словам газеты, близкие и родные писателя скрывают от него все, что пишется по этому поводу, все журналы и газеты. Заметку эту Леонид прочел за обедом.

Прочитал он вслух ее так... «родные прячут от него газеты, а также ножи и вилки». Оглядев стол, он посоветовал матери убрать еще кое-что, например, огурцы.

— На всякий случай. Мало ли, подавиться можно.

Странно, но это так: в момент наибольшей ругани Леонид чувствовал себя необычайно крепко и весело. Чувствовал ли он прелесть боя или так крепко верил в значительность пьесы, не знаю. Но весел был все время и прочитанная заметка вызвала его на ряд чудесных острот. Только одно плохо: работать не мог.

Сегодня за ужином, когда были только свои, среди незаметного разговора, коснулись как-то впечатлений детства. И тут Леонид, который детство свое так любит, с редким остроумием, заставляющим всех хохотать до упада, рассказал некоторые случаи.

Прежде всего о книге.

Книга — это самое святое из воспоминаний Леонида о детстве. Он выучился читать на шестом году, читал массу, и наиболее интенсивные его переживания связаны были именно с книгой.

— И какая значительность была за каждым словом книги. Помню слово: «Бова»... Что особенного, кажется, а ведь тогда трепетал перед этим словом. А какая свежесть впечатлений! Известная басенка о путешествии соломинки, лаптя и пузыря заставляла меня хохотать до упада. И что мне представилось, не знаю, но то был момент непередаваемой остроты смеха, глубочайшего комизма. После него Джером-Джером, Диккенс, все эти «Сатириконы» — лишь бледное приближение к смеху.

Книга была для Леонида самою жизнью и при чтении требовала определенных декораций, поз, в крайнем случае — возвышенных пунктов, с которых открывался бы более широкий, шире обычного, горизонт. Таким пунктом была крыша нашего дома, выделявшаяся на Пушкарной своим высоким коньком. Туда сплошь и рядом, запасшись куском черного хлеба, на весь день забирался с книгою Леонид.

— Это верно, — подтверждала мать, — чаще всего Коточку приходилось звать с крыши. Прежде всего его там искали.

Лет с семи, если не меньше, Леонид уже записался в библиотеку. В каталоге он сам отыскивал подходящие книги, какими являлись лишь удовлетворяющие двум условиям: если было у них пылкое заглавие и если цена книги не была меньше рубля. Тонких книженок терпеть не мог. Часто, увлеченный необычайной ценою книги, он выписывал какие-то научные труды, непосильные и взрослому. Больше всего читал Купера, Майн-Рида, Жюль Верна и др. экзотических романистов.

— Но вот, наконец, — рассказывал Леонид, — книги облюбованы, выбраны, выписаны, и мать, по дороге к знакомым или за покупками, должна получить их в библиотеке. И уж тут целый ряд наставлений:

— Ты, смотри, сама зайди. Вот эти, вот непременно эти.

— А если нет?

— Должны быть. Пусть обязательно дадут. Смотри, не потеряй... И список не потеряй.

Но нередко случалось, что список терялся, и мать в библиотеке спрашивала:

— Дайте каких-нибудь... для Коточки, детских.

— И это в то время, — продолжал Леонид, — когда дома уже все было готово к чтению именно тех книг, которые вытребованы.

«Готово» — это значило: голый и вымазанный в сажу, Коточка разваливался на полу среди развешанных на стульях одеял и вздыбленных подушек, с копьем в руке, с пером в волосах... В таком «вигваме» он ждал обычно Купера. И читал

его здесь же, лежа: ведь нигде не сказано, чтобы индейцы сиживали за столом, покрытым скатертью.

— И вдруг, о горе! — книги не те: жиденькие детские книжонки, от которых душу воротит. Это мне-то рассказы о сверчках, о кошечках, о Пете и Маше!.. Это мне, который в семь лет, чередуясь с отцом, прочел Рокамболя. Вот отчаяние, вот горе! Ищешь, смотришь — даже намека нет на индейцев! Вот горе!..

— А помню, — продолжал Леонид, — было однажды так. Отец, после совместных совещаний, поручил мне самому сходить и взять «Восемьдесят тысяч верст под водою». Я терпеть не мог ходить по поручениям вообще, но здесь было не до того: летел без передышки. И как хорошо помню все — и книжку в красной обложке, и дорогу, и каждую улицу! Но когда принес, сгорая от нетерпения читать, отец книжку отобрал и, улегшись после обеда на диван, принялся читать сам. Уж я скулил, уж я тосковал! Подойду к двери — нет, все читает. Уж сонный совсем, уж нехотя, а все читает. Ну, а когда дождался, то уж что ж говорить — захватил и уж тут и стрелял по ней, не читал, а прямо стрелял глазами, туда, сюда, разом по всем страницам... глаз не хватало...

— Помню еще один момент горя самого беспросветного, отчаяния полного. Это случилось, когда я из миллионера вдруг, меньше чем в час, превратился в нищего. Я был миллионером: у меня было на руках пар 300—400 ладыжек. И вот, где-то на чужих задворках, среди враждебной мне «бедноты» — безладыжников — я проигрываю свое богатство в карты! Последняя ставка — и все кончено: я нищий... И тогда я в отчаянии запускаю картами кому-то в лицо, даю пинка одному, другому, и, подхватив в подол сколько могу ладыжек, бегу... Но забываю, что путь мой мимо конуры самой злющей собаки... И вот тут-то и пришло оно, это ужасное горе: помню, стою, и держит меня собака, впившаяся в мягкую заднюю часть. Тут все: обида проигрыша, и близость врагов, и боль от укуса, и невозможность бежать — все вылилось в одном вопле. Уж я и ладыжки выпустил, и только вопил...

— Ну, а потом что же? Поставили меня кверху днищем, лечили днище, прикладывая паутину... А дальше — та же игра, выигрыш, ростовщичество — и ладыжки в рост отдавал... Только долго сидеть не мог, при игре же испытывал особенные неудобства.

К сожалению, я не могу с достаточной полнотой и тою силою убеждения передать тот редкий по интересу разговор, темой к которому послужила статья кн. Волконского в «Аполлоне» о «новом театре». Я говорю: разговор, но слово это неправильно. Случилось как-то, что Леонид просто-на-просто прочел лекцию о театре. Слушателей было только двое: я и Анна Ильинична, которая, когда кончил Леонид, воскликнула:

— Вот бы все это в фонограф, записать бы все!..

Это происходило месяца полтора назад, в разгар критической ругани. И меня поразило: то, в чем утонул бы и Волконский с его статьей, и вся эта медь звенящая — критика, — то, что жадно ловила бы целая аудитория — то произносилось в глухом Ваммельсуу, в большом пустынном доме, и вся аудитория состояла из меня, брата, да Анны, жены самого Леонида... Тихо было, только стукало сердце времени — часы...

О «новом театре» Леонид говорил именно то, что позднее, но в более слабых чертах передал Филиппу Александровичу Доброву, — и эта часть разговора приведена мною ниже. Сейчас же я, в голой схеме, приведу то, что сказал Леонид о высказанном Волконским затруднении.

Разбирая античную трагедию, Волконский находит ряд препятствий к постановке ее на сцене современного театра и особенную трудность он видит в древнем хоре: при всей важности этого хора, как его передать? И здесь Леонид вспоминает «Жизнь человека» и говорит, что если бы князь Волконский, подобно многим,

не ослеп бы от вражды к его произведениям, он много нашел бы в этой пьесе по интересующему его вопросу. Он увидал бы, как, применяясь к требованиям современного театра и психологии слушателей, может быть передан важнейший элемент античной трагедии — хор. Греческий хор — это посредник между тем, что происходит на сцене, и слушателями. Хор об'ясняет сцену, указывает зрителю важнейшие места, прямо говорит даже о том, что должен испытывать, что думать и что чувствовать этот зритель.

Прямой голос хора в «Жизни человека» — это голос Некто:

...«Вы, пришедшие сюда для забавы и смеха... слушайте: вот пройдет перед вами жизнь человека»... и т. д.

Но помимо этого голоса, звучащего над всею драмой, каждое действие имеет особый хор. И хор этот строго соответствует каждой эпохе жизни человека, строго сообразуется с ее характером и сам, в то же время, выражает ее.

В первом действии таким хором являются старухи, преддверия бытия и небытия, сама таинственная грань жизни; они возвещают зрителям о рождении человека; и в том же действии родственники выражают своим присутствием преемство жизни.

Во втором действии хор составляют соседи. Молодость, бедность, красота, всегда вызывают любовь, внимание, добрые пожелания... Соседи и говорят об этом, внушая зрителю все то, что должен он в этой сцене видеть, чувствовать, понимать. Заражая зрителя совершенно определенным, от автора исходящим, волнением, соседи второго действия явно служат передаточным средством, хором древности, растолковывающим действие.

Третье действие. Богатство и сила вызывают уже не одно, но два отношения к себе: дружеское и враждебное. И то и другое внушают зрителю друзья и враги человека.

Четвертое действие. Здесь хор — в полном соответствии с одиночеством — болезнью и старостью человека; здесь хор должен выразить отношение мира к старому и одинокому человеку. Отношение это — безразличие; «мне все равно» — так отражает мир факт существования человека, к которому он повернулся уже спиною. И здесь хор выражен одинокой, усталой старухой-нянькой, которой «все равно»...

— Я не мог здесь дать многолюдного хора, это было бы вопиющим противоречием: тогда не было бы никакого одиночества человека, — говорил Леонид.

В пятом действии, наконец, хором являются пьяницы, свидетельствующие перед зрителем о разрушении жизни человека своею разрушенною жизнью, идущей к полному уничтожению. Полный упадок жизни и бесценность уже не вызывают ничьего участия. И в том же действии вновь появляются зловещие старухи.

Я передал все, что вспомнил, но я не мог вспомнить всей силы языка, всех тонких оттенков богатейшей мысли...

Вечером же возник разговор об анархизме.

— Анархический строй, — сказал Леонид, — не может осуществиться скоро. Надо пройти для этого период государственного социализма. Анархизм наступит, когда люди внутренно будут к нему готовы, когда в голову никому не придет оскорбить другого, учинить насилие и т. п. Просто в голову не придет.

В том же разговоре Леонид выразился так о себе:

— Вот я, как говорят, относительно добрый человек. Но это потому, что потребности мои я относительно удовлетворяю; а не удовлетвори я их — я был бы относительно злым человеком.

«Относительно злым» — это высказано было весьма угрожающе.

О возможности того или иного строя в будущем Леонид думать не любил.

Меня это слишком мало интересует.

Сегодня Леонид говорил о тяжести, которую несет за собою известность. За многие последние годы лишь один раз случилось, что Леонид перестал чувствовать эту тяжесть. Это было у Толстого.

— Там я абсолютно забыл, что я писатель и чувствовал себя студентом,— легко, бодро. И чувствовал себя вместе так просто, как нигде.

Уже одно то, что приходилось выбегать, чтобы покурить, вызывало задорное чувство молодости.

— Вы куда? — остановил один раз Л. Н.

— Я?.. покурить.

— Ну, пустяки, курите здесь.

— Нет, уж лучше я выбегу.

Все здесь: и то, что Толстой великий писатель, и бодрость Л. Н. при таких годах, и самая атмосфера — все делало Леонида молодым и совсем не писателем.

Вечером я и Павел выслушали нотацию:

— Как странно, — говорил Леонид, — что нехватает у вас дерзости, нахальства даже, а главное — уверенности в себе. Пусть завтра это будет чушь, но сегодня надо верить в то, что вы хотите сказать. Эта вера дает и силу, и жизнь написанному. Как бесцветны и безжизненны все эти Айхенвальды, Измайловы, даже Овсянико-Куликовские. Я чувствую, вижу, как легко, как просто завоевать известность, особенно критику. Момент для этого самый благоприятный: писать есть о чем.

За ужином возобновлен был уже несколько дней назад начатый разговор о маминых клопах. Чем больше говорилось о них, тем все более и более вырастали в своих размерах эти клопы. Тема оказалась неистощимой.

— А сегодня ночью, — рассказывал Леонид, — слышу, кто-то подошел к двери: стоит, дышит, очевидно — прислушивается... Потом постучал. Открываю я дверь — мамин клоп в ее дверь заворачивает... Большие! Одного она в Петербург перевозила, так в собачьем вагоне везла, среди публики не позволили. Да и то пришлось намордник купить — в Териоках жандарму сапог прокусил...

Сегодня Леонид говорил о той исключительной роли, какую играет в его жизни алкоголь.

— Моя жизнь, — говорил он, — потому так и устойчива, что и направо и налево — алкоголь. Только потому и двинуться никуда не могу. Иначе и жизнь моя была бы полна тех же крайностей, что и моя литература. В прошлом году я решился на коренную ломку всего, всей жизни моей, и остановило меня одно слово: алкоголь.

— И благотворно и важно для меня и люблю я быть один. И не могу. Я бы кажется вырос, стал бы другим, новым, свежим человеком, имей я возможность хотя бы дня на три-четыре прожить один в городе, бродить, думать... Но вот не могу: алкоголь.

— И это я еще во-время и счастливо вырвался, а иначе погибал бы точно так же, как погибает Куприн и другие.

Насколько я знаю, Леонид не пьет уже около двух лет, после истории с Куприным [1]. И перед тем у него был громадный промежуток. Выпить одну-две рюмки Леонид не может, он или не пьет, или пьет дня три-четыре под-ряд.

---

[1]) Ошибаюсь: он пил в последнюю поездку за границу, именно тогда, когда случайно остался один.

Погода столь же возмутительная: дожди и холода.

Вечером был разговор у Павла с Леонидом.

Павел: — Ты, Леонид, близок к морю, ты понял его поэзию, но вот то, чего ты еще не знаешь, чего ты еще не понял: поэзия гор.

Леонид: — Я гор не люблю.

Павел: — Потому что не был в горах и не знаешь их.

Леонид: — Не поэтому, а потому, что никогда их не любил. Я вижу в них только застывшие мертвые громады камня, без всяких комбинаций. Они тупы и дерзки, когда давят меня своим чисто физическим превосходством. И вот еще что: я чувствую их притяжение. На море, как бы ни ходила под моими ногами палуба, я чувствую твердость и прочность в своих ногах и даже под ногами. Это потому, что притяжение на море вертикально. А в горах — мне, человеку, больно в этом признаться, и больно, и обидно — но в горах я весь во власти физического явления: притяжения. Ноги у меня легки, не чугунные, как на море, исчезает в теле всякая устойчивость, горы тянут в разных концах, по разным направлениям. Я гор не люблю, но люблю море, и полюбил его в первый же раз, когда вступил на палубу.

Павел: — Повторяю — это потому, что близко ты не подходил к ним, ты видел их из окна вагона или с террасы отеля. Провести в горах одному ночь, пережить грозу — и ты услышишь и поймешь их голос, ты ужасающие чувства испытаешь. На всю жизнь останется впечатление.

Леонид: — Я не понимаю вообще, как можно близко, физически близко подойти к горам. Но вообще гор я видел достаточно. И в Швейцарии я видел их в тот момент, когда ахали люди, привычные к горам. За день или за два до С.-Францисского землетрясения я ехал на пароходе по Женевскому озеру. Это было в закат и в полный штиль. И вот исчезла перспектива: все горы сдвинулись вершинами к самому озеру, громоздили над ним свои окровавленные головы. И те, которых до сих пор никто не видал, стали видны. Это — стоящие в глубине Ронской долины: полтораста верст исчезли, и эти далекие горы стали вровень, в одной плоскости с ближайшими. Все замерло, и говорили только горы, но говорили только безмолвием, говорили ужасом громад. Жуткая была картина... Помимо швейцарских я видел норвежские горы — это тоже кое-чего да стоит. Я переваливал на лошадях через хребет, при чем полдороги, по под'емам, шел пешком. Хорошо моментами было, но вот здесь как раз я испытал то, чего не испытывал нигде с такой силой — скуку. Невыносимая скука, убивающая всякое желание жить, всякое движение, всякое чувство. Словом, если бы спросили меня, где воздвигнуть скуке монумент, я указал бы именно на эти места, на эти горы.

Павел: — Ты вот сказал, что горы бедны комбинациями. А море? Возьми штиль в открытом море: там всего одна комбинация: небо, да море.

Леонид: — Множество комбинаций, неправда. А горизонт? Ты совсем забыл про горизонт. Эта кажущаяся простою линия бесконечно разнообразна. Итти к этой обманной линии — это итти к новым, порою неведомым целям, это стремиться к каким-то иным бытиям. Это — цель великая, возвышенная, но скрытая вечно и убегающая, и так томящая душу. А посмотри в горах: там отчетливо видна точка, к которой я стремлюсь — вершина. Я могу заинтересоваться ею, как альпинист, как спортсмен, но психологического интереса в восхождении нет. И ты обрати внимание: существуют целые кадры художников маринистов, но нет художников-монтенистов. То же самое и с писателями.

Павел: — Я думаю, что их отпугивал ужасающий, грандиозный облик гор. Они не посмели...

Леонид: — Эка, что нашел! Бога — и того с небесных высот стаскивали, а то груды камней испугались!

Павел: — Я вспоминаю показного монтениста — Врубеля. У врубелевского «Демона» горы изумительны...

Леонид: - Когда я в первый раз увидел «Демона», я даже не понял, что это — горы. Может быть, Демона я давно не видал. А море... Я вот что скажу: я все могу позабыть, я все могу разлюбить, но одного не забуду, одного не разлюблю, и на тот свет я уйду с печалью о том, чего я воспринять не мог, чем я овладеть не мог, с чем, быть может, я не сумел слиться, чего не использовал, не впитал я до последней глубины — это вот что: песчаный пляж и набегающая на него волна. Что в ней такого? что?.. не знаю... Но вот набегает она, поднимает гребень и... ох! — вздохнет, пахнет в лицо соленою пылью и рассыпется, и как будто умрет. Но вот опять: набежало, вздохнуло, и то ли ушло обратно, то ли умерло опять. Та ли это? — Нет. — Но тогда другая? — Тоже нет...

И я не знаю другого, столь неисчерпаемого источника наслаждения, как эти вздохи соленой воды, как этот космический ритм ее. В этом все очарование, и глубина, и радость, и боль бытия...

Море я полюбил давно, еще в детстве, из книжек, и ждал его. Я люблю и широкую равнину, она близка к морю, но гор я решительно не люблю.

Вечером у Леонида собралось много народа. Кроме Филиппа, однако, никого, к кому бы с интересом относился Леонид. Впечатление такое: народу много, а... пусто. Только одно загромождение и внимания, и вечера, и кабинета...

Много говорилось о нанятой даче, о море, о поездках. Леонид вслух прочел о похождениях яхты «Морская Королева», дневник участников, напечатанный в журнале «Рулевой».

Мало-по-малу, однако, разговор перешел на литературу. Филипп возмущался критикой:

— Да что, — махнул рукою Леонид, — а хоронят-то как? Самый упрямый покойник! Ты представь себе только: вот об'являют, что сегодня в три часа дня состоится вынос и погребение, хоронят там-то, погребение совершает критик такой-то и т. д. И вот приходят, укладывают в гроб, все честь-честью, по-хорошему. Отпевают, выносят, закапывают, говорят речи... похоронили. Но сегодня похоронили, а на следующий день опять: «сегодня в два часа дня состоится погребение»... похоронили, а на завтра вновь приходят, опять укладывают, обряжают... закапывают... Ведь устали, ведь измотались, а отстать не могут: обязанность...

— Вот характерный факт, — продолжал Леонид, — приложение «Нивы». Господи, сколько народа оплакивало «Ниву». Чуковский в «Ниву» прибегал и плакал:

— Да что вы делаете? Андреева? в приложении? Да вы дело погубите. Андреев падает, Андреева не читает никто... А теперь «Нива» в восторге: за этот год тираж «Нивы» повысился на 30—35 тысяч! Розинер говорит мне теперь: да мы в грош теперь не ставим всех этих критиков! И вот возьми теперь так: громадный тираж «Нивы», пьесы, обошедшие все театры, а на-ряду с этим лекции: «О причинах упадка популярности Андреева»...

Ф. А., которому вообще «Екатерина Ивановна» очень нравится, высказался против четвертого акта: он показался ему очень растянутым. И Леонид повторил ему то, что говорил и раньше:

— По совести скажу тебе, Филиппушка, я в «Екатерине Ивановне» виноват на всю пьесу в двух-трех словах, не больше. Все остальное не от меня.

Разговор, естественно, перешел на исполнителей и самый театр. И вот то, что сказал Леонид о «новом театре», стать которым должен стремиться Художественный.

— Я все пьесы, — сказал он, — разделяю на «пьесы-представления» — взять Мольера, Грибоедова и вообще весь старый театр — и на собственно драму, психологическую по преимуществу. Художественный театр — театр психологический. В отличие от прежних театров Художественный театр дал душу людям, и не только

людям, но — и это очень важно — но и вещам. Он, так сказать, опсихологил всю обстановку, и их паузы, их сверчки, самая одежда, которую театр заставляет артистов носить дома, чтобы привыкнуть, — все это в высшей степени психологично. Ведь как характерны эти приемы, самый метод обучения артистов! Вот хотя бы такой случай: Качалов заявляет Влад. Ив., что ему нечем жить в сцене после признания Ек. Ив. в том, что она падшая. Признание вызывает его на ряд ложных жестов, заимствованных с подмостков же, а не из жизни: хватается за голову и т. п.

— Но мне нечем здесь жить, — оправдывается Качалов.

— Нет, вы живете вот чем, — говорит Нем.-Данченко, — и в коротких словах передает все, что было: подозрение, выстрел, раскаяние и т. д., и добавляет: — теперь вы присядьте и постарайтесь этим жить.

И Качалов садится на стул и старается этим «жить».

— Ну, как?

— Кажется, живу...

И спустя короткое время Качалов уже встает и заявляет, что теперь он «живет»... И, действительно, Качалов находит тот самый великолепный жест — приподнятые плечи, стиснутые в карманах кулаки, медленный шаг к сцене, — который мы видим теперь на сцене и который можно найти в ремарках самой пьесы: странным образом ремарка не была замечена артистом, и выработанный артистом жест вполне совпал с жестом, выработанным автором.

— Вот те приемы, — продолжал Леонид, — которые и делают театр психологичным. И именно введение этого психологического элемента, вернее — базы, на которой строится вся постановка, — это введение сделало Художественный театр «новым», таким, каким он является и сейчас, даже более, чем когда-либо. Он сыграл Чехова и явил нам того самого Чехова, которого пьесы проваливаются на всех решительно подмостках, которого ни один театр теперь не решается ставить. А все потому, что Чехов — психологичен и требует нового, психологического театра, сиречь — того же художественного. А когда тот же Художественный театр ставит пьесу, являющуюся представлением, он — проваливает ее. Они «Горе от ума» попробовали ставить психологически — и вышла чушь. Помню там сцену, которую совестно, за театр совестно, смотреть: это — Молчалин падает с лошади, а Софья пытается выразить по этому поводу испуг. Испугу ее не веришь, потому что вообще психологически обосновать любовь Софьи к Молчалину нет никакой возможности. Не веришь, следовательно, и театру... А разыграйте эту вещь без психологии, как представление, и получится совсем другой коленкор.

— Но вот есть одна слабая сторона у художественников, — продолжал Леонид, — это то, что театр их не социален, лишен общественного элемента. Он только психологичен — и в этом его односторонность и слабость. И тот, истинно «новый» театр, к которому им должно стремиться, будет театр социал-психологический. И, быть может, только тот театр даст социал-психологическую «Ек. Ив.» полностью, и, быть может, только тогда не покажется длинным и четвертый акт. Чистые психологи, художественники не могли дать суд и осуждение, дать торжища, дать того открытого общественного места, каким является четвертый акт.

Позднее Леонид говорил о своей манере писать.

— Я могу писать только с маху, с ходу, не замучив вещь обдумываньем. Думать над вещью долго мне нельзя... вот, как рассказывают о штык-юнкерах: им было запрещено говорить, ибо — что хорошего может сказать штык-юнкер? и думать не позволялось, ибо — о чем хорошем может думать штык-юнкер? И так было: как только увидят задумавшегося штык-юнкера, так сейчас же его и под арест... Так и я не должен задумываться. Я «Анатэму» писал: я знал только, куда я иду, а как, при каких обстоятельствах, какие детали — совсем не знал. Не знал всех действующих лиц. Когда кончил первый акт, то думаю: так, ну, а теперь что же? где их теперь поместить?

И говоря о задуманных двух пьесах «Княгине» и «Кассире», Леонид высказал предположение, что «Княгиню» напишет в 5—6 дней.

— Прямо диктовать буду. Боюсь, что и без того уж она перезрела. Вот у меня надуманная вещь «Gaudeamus». Так ведь над нею я два месяца как каторжник сидел, маялся, и что в результате? Дрянь такая, что совестно вспомнить...

— Приедет Копельман, приедет Дымов, который будет рассказывать о своем турнэ — и я знаю, что это будет очень интересно. Будет собираться много народа — летом они особенно легко расстаются с городом... Или вот собираемся мы, свои, и мы любим посидеть, поговорить, и это очень хорошо и душевно. Но... но не то все это интересное, и не то это хорошее, что мне нужно сейчас. Сейчас мне важнее всего, прежде всего нужно — одиночество. И я бегу.

Так говорил Леонид сегодня, когда поздно вечером остались только «свои»... Целый день сегодня, с утра, сутолока в доме и беспорядок от сборов, и народа... и говорил это Леонид, бесконечно уставший и от народа, и от разговоров. Никакой народ не может заменить Леониду общения с морем, с небом, с волною, с облаком. С ними он ведет свой разговор, без слов — и из этого разговора он черпает силы, творческую радость. Летом, наедине с самим собою, Леонид обильно засевает образы, мысли — и к осени наступает жатва...

— Я никогда методически не обдумываю вещи, — говорил сегодня Леонид, — я их попросту засеиваю и вынашиваю. Приходит мне в голову мысль, образ — и сейчас же я их прячу: пусть лежат. Я вспоминаю их время от времени — и от этого они развиваются, крепнут, как развиваются и крепнут они и в то время, когда я о них совсем не думаю. О таком способе, о таком творческом пути, я всегда говорю словами одного парикмахера: наше дело верное — сказал он — человек спит, а бородка у него растет, да растет. Точно так же, в глубине бессознательного, нарастают сами собою мои образы и темы. Сами зреют.

Но что такое творчество, что такое талант — эта рука, бросающая семена?

— Когда-то давно, — говорил Леонид, — я твердо и определенно знал что такое творчество, что такое талант, а о собственной персоне думал так: вот пройдет лет 5—6 и тогда наступит упадок, я испишусь. А теперь...

И Леонид остановился, в недоумении подняв плечи, с тем наклоном головы, с тем выражением лица, которые так у него характерны: точно он прислушивается к мысли.

— А теперь я не знаю, ни что такое творчество, ни что такое талант, ни того, что будет со мною. Что такое талант, эта способность творить? Обычно я совсем не чувствую, не понимаю, почему не только друзья, но и враги называют меня талантом. Почему, в чем талант? Я этого не чувствую, чувствую скорее обратное — то, что я бездарен. И это обычное мое состояние. Я сейчас читаю в корректуре для «Нивы» все свои сочинения и иногда меня действительно охватывает сознание, впечатление таланта, но кончил чтение — и кончилось чувство таланта. С некоторого времени только я начал себя анализировать, и повидимому я начинаю угадывать в себе ряд таких чувствований, какие мне кажется, и должны составлять то, что принято называть талантом. Моменты такие: сижу, читаю, и вдруг, без всякого основания повидимому перед глазами у меня — так ярко представление, что кажется реальным — листок неведомого мне тропического дерева: и я не ошибаюсь — по двум-трем лучам солнца — по нескольким смутным очертаниям дерева, я ясно сознаю, что листок тропический. Или: вдруг какая-то дорога, или: лицо. Я вижу лицо, совсем реальное, оно незнакомо мне, я не знаю, кто это и почему, но я вижу во всех его деталях, в поразительной близости... Или вот то странное чувство, которое я испытываю постоянно: это чувство всей земли. Я стою вот здесь, в кабинете, а помню и ощущаю вокруг все земли: Европу, Азию, Аме-

рику... Или взять природу. То, что связывает меня с нею, то, что поражает в ней — все, в сущности, высказал Пушкин:

И внял я неба содроганье,
И горних ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дальней лозы прозябанье...

— Все эти беспорядочно и видимо без всякой причины возникающие образы и ощущения и есть тот творческий элемент, управлять которым я не всегда волен.

В высшей степени интересно дальнейшее об'яснение Леонида о самом происхождении возникающих в его сознании образов. Есть нечто пантеистическое в его об'яснениях человеческой души. Душа эта — по мнению Леонида — как бы распадается на три неравных части: на огромнейшее — равное у всех людей — бессознательное; на подсознательное и самое сознание.

— Мы все равны! — восклицал Леонид, говоря об области бессознательного. — В этой области хранятся наслоения тысячелетий, в ней — частицы и всевозможные комбинации части прошлых жизней. Это огромное складочное место опыта. И те образы, что создает талант, суть реальные опыты прошлого: реальные переживания всей суммы жизней, вошедших частями в основу души — бессознательное. И если внезапно осветить область бессознательного, то вскроется вся тайна человеческой жизни, весь мир!..

Я напомнил Леониду о герцоге Лоренцо...

— Я был герцогом Лоренцо, — утверждал когда-то давно Леонид, — не я, а мой прадед, мой давний предок, посеявший свой жизненный опыт во тьме моего бессознательно.

— Я не говорю уже о Лоренцо, — отозвался теперь Леонид, — но я возьму купца из «Молчания», я возьму самые незначительные лица, которые я изобразил, и один со своим сознанием я множественен в жизнях.

«Одна во множестве. Одна во множестве», — передавал он свою мысль.

— Я кажется не был, не буду, не способен быть злодеем, — продолжал, иллюстрируя свою мысль, Леонид, — но вот я ношу этот образ, но вот у меня чувство, скорее — память, о каком-то ужасающем злодее, о каком-то бездонно-темном злодействе. Очень возможно, что в мое бессознательное вошла частица какого-то злодея, злодея на весь мир. В «Моих записках» я дал злодея, но я все еще не спокоен, и теперь у меня мысль дать бездонность тьмы, адское зло: дать образ матери диавола. Если сынок — диавол, то какова же мамаша?! Как часто Христа толкала на добро мать, так дьявола на зло толкает его мать — это она — исчадие тьмы и зла, она, мать, рождающая зло. Какой же черноты и ужаса должна быть ее душа? Это — хаос зла, хаос злодейства!

— Или вот еще, — продолжал Леонид, — я чувствую давно и явно свое родство с Навуходоносором — ведь нелепость, кажется!..

Равно богатое и большое у всех, бессознательное, открывает свои сокровища сознанию лишь при некоторых особо удачных сочетаниях с ним. Важнейшую роль, по мнению Леонида, играет подсознательное — размеры его; оно есть грань тьмы и света, и чем больше, тем легче сознанию усматривать грандиозные очертания скрытых в бессознательном сокровищ.

— Подсознательное, — определял Леонид, — это полуосвещенная комната...

Как примеры неудачных сочетаний брались писатели: Брюсов — подавляющая сила сознания, «которое разрушает поэзию», гр. А. К. Толстой — большой талант, но большой недохват сознания...

— Без серьезных мотивов я ненавижу говорить о поле, — заявил Леонид, — но все равно, уж заговорю...

Понятно, что, при взглядах Леонида на преемственность душевного опыта человечества, пол является для него исключительной по важности своей стороною жизни.

— Все в нем! Все через него! — повторял Леонид беспрестанно.

— И потому, — говорит он, — так интересны становятся весною люди, что в эту пору повальной влюбленности бессознательное надвигается на сознание, и в близости своей к нему — им озаряется. Влюбленные всегда интересны — богаты и расточают все то, что таилось в их бессознательном и что только теперь, в эпоху влюбленности вдруг осветилось...

Я пришел сегодня на дачу Леонида в девятом часу вечера. Он сидел за чаем с Добровым. Разговор был самый разнообразный: об авиации, о кинематографе и пр.

— Какое удивительное отношение и к жизни и к смерти, — говорил Леонид об авиаторах: — античное... Я с радостью думаю об их отваге, о свежести их голов, которые «не кружатся», о крепости их сердец. И, глядя на авиаторов, я думаю, что человечество вовсе не выродилось за долгие века культуры, не стало дряблым и мягкотелым, как думают многие, как сам я склонен был думать.

О кинематографе:

— Я великий поклонник кинематографа. К сожалению, для нас, русских, он явился слишком рано. У нас так мало развит еще театр, а тут еще — кинематограф: конечно, он и режет театр на самом пороге жизни. Мало того, я скажу больше: он убивает и книгу. Человек ищет общения, особенно средний человек, даже тот же рабочий. Конечно, он рад оставить свою лачугу, — не сидеть же в ней над книгой, когда на углу и общество — фойэ с его публикой — и та же литература, только не в книге, а на экране.

Будучи за границей, в Риме, Леонид массу времени проводил в кинематографах. И глубочайшие, наиболее интенсивные переживания, связанные на этот раз с посещением Рима, были вынесены и получены Леонидом в кинематографе. Необычайное впечатление произвела на него сцена, где один итальянец — апаш — укрощает побоями, танцем и поцелуями свою неверную возлюбленную.

— Вот что значит жизнь, и вот что значит искусство, — удивлялся Леонид, пораженный необычайной художественностью и глубиной этой кинематографической сценки.

И кинематограф, и печатное слово — могучие орудия, и тем и другим нужно обслуживать народ. Вот поэтому Леонид охотно идет в кинематограф, и поэтому же он постоянно ратует за дешевую книгу. За равнодушие к своему делу, за слепоту, выражающуюся в дороговизне выпускаемых книг Леонид беспрестанно ругается с «Шиповником».

— Взять последний его сборник: половина романа Зайцева и два-три переводных рассказа — и все, и за это — рубль двадцать пять копеек! Если купить для романа — надо купить и следующий сборник — заплатить еще столько же. На какой карман и на какую слепоту читателя надо рассчитывать, выпуская подобные книги. А если обманешь и спустишь сборники — тем хуже: потеряешь читателя-покупщика...

Чаще всего о дешевых изданиях говорит Леонид с издателем «Прометея» Н. Н. Михайловым. С ним он выясняет самые последние детали изданий.

— Это нам, интеллигентам, — говорил он сегодня, — нужно больше полей и меньше текста, а им наоборот: чем меньше полей и больше текста, тем лучше.

На следующую зиму Леонид намерен выпустить свой том по 90 коп. вместо обычных 1 р. или 1 р. 25 к., что чаще.

Однажды Леонид спросил меня:

— Как думаешь, каким приемом лучше всего запечатлеть в памяти читателя картины природы? Вот, например, передать свои впечатления от шхер...

Зная, что Леонид думает писать что-то о шхерах, я схитрил и ответил так, как сам же Леонид высказывался по этому вопросу.

— Я думаю, — ответил я, — что самый действительный путь — это провести пейзаж через личные переживания «героя», действующего лица.

Я считаю, впрочем, что это действительно наилучший путь, ибо выводит описание из его пассивности к более сильному активному приему.

— Это верно, — отозвался Леонид, — и так именно я думаю писать о шхерах.

И он передал мне приблизительно следующее: «он» — очень умный, сильный, красивый человек. Он женат на такой же красивой и очень умной женщине, с которой зимою ездит в театры, бывает в обществах, словом, на женщине, с которой ему всегда — зимою — интересно. И он и она — чрезвычайно благородны, пара очень красивая. И вдруг, весною, странная катастрофа, заставляющая ее пожимать плечами: ее, интеллигентную, живую, живущую сознанием, он меняет на неинтеллигентную девушку, почти животное начало, без сознания, даже не особенно красивую. Странно, непонятно, дико! Курьез! Но факт: он уезжает с нею в шхеры. О чем они говорят? — Ни о чем? — Что делают? — Ничего. Ничего и ни о чем, но день их полон до краев. Речи нет, но они все время говорят, почти не пользуясь словом, — о волне, о солнце, о том, как хорошо, просто — хорошо. Слов мало: «да», «нет», «посмотри», «там», «здесь»... Они полны движения, жизни: купаются, гуляют, опять купаются. Они любят друг друга — он ее, потому что она как животное, как цветок жила и цветет под солнцем, расцвела всем своим глубоким бессознательным существом, и эти тайные глубины, животные, растительные, первозданные, он ощущает и любит. Она расцвечена всеми красками, какими расцвечивает природа близких к себе существ. И она, и природа шхер сливаются для него в одно — мировое, космическое, глубочайшее, возле чего он точно набирается непочатых природных сил. Но вот наступает осень: все длиннее темные вечера, все сумрачнее дни. Из темной животной бессознательности выходит блистающее, острое человеческое сознание — это он. И он ищет встреч, такого же острого яркого сознания. А она отцветает, бледнеет, уходит в зимнюю спячку. Разрыв неизбежен. И разрыв действительно происходит, и яркий, красивый, с отточенным сверкающим сознанием, возвращается к своей жене, которая даже не чувствует себя оскорбленной — настолько непонятен, курьезен его уход.

Такова, поскольку усвоил я ее, была тема Леонида. И сегодня я спросил его, когда думает он писать о шхерах.

— Нет, не буду писать, — сказал он, — раздумал. Это не укладывается в концепцию мира, каким я его знаю. Я знаю мир мрачным, а шхеры нечто другое.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Я. Буров. Деревня на переломе. (Год работы в деревне). Гос. Изд. Стр. 278.

> «Пока легче для СССР «прорубить окно в Европу», нежели форточку в деревенской избе».
> *Я. Буров* (из рецензируемой книги).

Город С-к. В-ий уезд. Надеюсь, что не ошибемся, признав в сокращенных названиях Вяземский уезд Смоленской губернии. Не так далеко от Москвы... В таком расстоянии от столицы, в Из-ой волости обосновались шефы одной московской ячейки. Что увидели шефы по приезде в деревню?

Волостью командует партийная тройка: секретарь волкома Чусов, предвик Китов и кооператор Козлов. Говорят ли они когда с крестьянами? «Никак не говорят. Командуют и больше ничего». «Слова нельзя сказать ни на каком собрании. Сейчас же спрашивают: «а как твоя фамилия, из какой ты деревни?». Всех, поднимающих голос, считают кулаками, эсерами, контр-революционерами. Терроризовано все население, рядовые партийцы, комсомол. Все ходят на цыпочках перед Чусовым, все отделываются ворохом всяческих бумаг... По бумагам в волости «все обстоит благополучно»... Попробуй нарушить это «благополучие» и не соберешь костей... Полноправные граждане говорят только шопотом, или совсем не открывают рта. Гниющее болото. Никакой работы, кроме сбора налогов и подписывания бумажек. «Крестьяне — сами по себе, вик — сам по себе, кооперация — сама по себе».

В такое болото приехали шефы, такую удушливую атмосферу захотели они освежить... И вот началась борьба с тремя местными партийными китами, которые решили зажать шефов «в ежовых рукавицах», истереть их в порошок. Об этих «рукавицах», о «волчьих зубах», о палках в колеса искренней плодотворной работы шефов — многие увлекательные страницы правдивой книги.

Неоднократно автор повторяет: «Трудна работа в деревне», где «местные работники закопались» в ворохе бумаг, где земельный отдел организует «не землеустройство, а землерасстройство», где местные шишки часто не что иное, как «Иудушки Головлевы».

У шефных работников надежная опора, их все время поддерживает материально и морально Москва, но даже и при такой поддержке у них иногда опускаются руки перед «чусовщиной», которую автор характеризует как «сухое формальное отношение к работе», как «бумажное благополучие, нежелание привлечь к работе широкие массы крестьянства», как «командование партийной массой и самим населением», как «отрыв от деревни и сельского хозяйства, гнилой скептицизм, полное непонимание шефства», как «маленькое интриганство, комчванство маленького человека, заявляющего, что новый курс партия объявила не всерьез, а для Европы». «Нам нужно серьезно изучить чусовщину, как явление, а Чусова изучить, как тип» — советует автор... «Таких работников воспитанием не проймешь. Тут уже нужна смена их» — читаем в другом месте.

Много Чусовых по Советскому Союзу, много работы предстоит для их перевоспитания... А перевоспитание необходимо и как можно скорее, иначе деревня будет с зажатым ртом и на цыпочках... «Деревне не подняться одной к новой культурной жизни без помощи города». Ей не подняться, доколе она зажата в «ежовых рукавицах» Чусовых...

Много для деревни сделали шефы. Кооперативная чайная, кино, мельница,

трактор, ликвидация неграмотности, все это осуществлено с помощью шефов... «В конечном итоге упорная, настойчивая работа повела к большому сдвигу среди 32 тысяч населения волости в сторону увлечения крестьянских масс на путь строительства новой деревни и интенсификации сельского хозяйства».

В результате годовой бескорыстной неустанной работы шефов деревня прозрела, воспрянула, раскрыла рот, встала твердо на свои ступни и крестьяне-землеробы заговорили: «На разбитом корабле плохо рулевому, плохо и матросам, надо плыть вперед и надо чинить корабль; так и нашей Советской власти: плохо на разбитом хозяйстве России, как рулевому на разбитом корабле. Как плохо матросам, так плохо рабочему и крестьянину. А когда мы сплотимся в одно, и рабочие и крестьяне, то построим новую жизнь, тогда поплывем вперед, как на новом корабле».

Мне бы хотелось много говорить об этой книге, но не позволяют размеры рецензии. От книги нельзя оторваться: она увлекательна своей правдивостью о больном и большом вопросе современности: о настоящей смычке города с деревней, рабочего с крестьянином.

Приходится только искренно пожалеть, что цена книги закроет ей вход к деревенскому читателю. А таких книг деревня ждет.

Р. Акульшин.

Анна Караваева. «Медвежатное». Изд. «ЗИФ». 1926 г. Стр. 84.

Повесть Караваевой — крестьянская повесть. Но из множества других произведений этого жанра она выделяется своей художественной цельностью. Не то чтобы сюжетные линии ее безупречно совпадали с подлинностью изображаемой в ней жизни. С этой стороны многое здесь может быть отмечено, как минус. Индивидуализм центрального действующего лица — нового крестьянина Сергея Жукова, слишком поспешно, по-мальчишески кидающего вызов косной крестьянской массе, задирающего ее религиозные предрассудки, хотя встречает осуждение со стороны представителей бедноты, справедливо полагающих, что для борьбы с предрассудками массы необходимо прежде завоевать авторитет в ее глазах, — все же безоговорочно увенчивается в развязке. Байронический финал повести — поджог деревни, совершаемый влюбленной в Сергея бунтаркой, дочерью бедняка Глафирой в отместку за убийство Сергея сыном лавочника — в наших условиях едва ли способен удовлетворить возмущенную читательскую совесть: не говоря уже о том, что огню обречен и бедняцкий скарб, — убытки во всяком случае несут не кулаки, а... Госстрах, где их имущество застраховано в обязательном порядке.

Однако, не указывая правильного выхода из конфликта между старым и новым в деревне, повесть не оставляет читателя равнодушным. На крестьянскую действительность она смотрит теплым и внимательным взглядом. И за эту художническую теплоту и внимательность Караваевой даются запоминающиеся образы и слова. Импрессионистический сказ ее не трафаретен. Он слушается не как условная литературная дикция, а как живая, природная речь. Интимное прозрение во внутренний мир крестьян дарит писательнице отчетливое разнообразие психологий (здесь отметим один лишь промах: о жене лавочника, ввязанной в интригу достаточно туго, в конце повести сказано мимоходом, что это «первая злыдня и сплетница», — но в действии ее образ не дан). Быт подан в действенном самораскрытии действующих лиц, отчего и сам он из описываемой вещи становится действенным лицом. («А когда укатили жених с невестой в церковь, осталось только на столах расставить. Натальиной матери хотелось холстами похвастаться: белые, синие и красные, в разных камках, тканые за всю жизнь. «Или: когда поп, идя по домам по случаю прибытия чудотворной иконы, несмотря на усиленные приглашенья матери Сергея, минует избу безбожника — старуха горестно горбила спину. И не видели бы глаза горшочка с крупитчатым маслом и стопки шанег поджаристых и румяных, как девичья щека, — хотела владычице угодить»). В некоторых отрывках (см., напр., превосходно сделанную встречу чудотворной иконы) это оживление вещи путем ее проведения через психологию коллективного действующего

лица — толпы — развернуто в цельную, художественно-законченную и оригинальную картину. Наконец, согласование всех элементов повести в единое сюжетное целое сделано уверенной рукой. Конфликт между старым и новым показан горячо и остро.

Вся вещь в целом, безусловно, должна быть занесена в актив наших художественных достижений.

Д. Горбов.

Александр Дроздов. Человек шагает. Рассказы. Изд-во «ЗИФ». 1926 г. Стр. 151.

В сборнике 4 рассказа: «Человек шагает», «Семья фрау Шумахер», «Чертополох» и «Оборона города Ужа». Из них только «Семья фрау Шумахер» может быть признан вполне удачным. Только в изображении быта довоенной Германии, с ее голодающими детьми рабочих, проституирующимися девственницами и прохвостами с английским пробором сумел найти Дроздов четкость линий и целесообразность в расположении частей, необходимые для того, чтобы мы поверили, что описываемое не только могло быть, но действительно было и не быть не могло. Иначе говоря, только в этом рассказе удается писателю осуществить себя как художника, приемами, быть может, не вполне оригинальными (об этом, ведь, много писалось и в Германии и у нас — Эренбургом, напр.), но проведенными твердо и с большою искренностью.

Остальные же три рассказа с очевидностью обнаруживают, что автор еще не нашел себя, не встал на ту единственно-возможную для данного художника точку, с которой предметы открываются в ему одному зримом своеобразии. Оттого-то в рассказах этих, повествующих о предметах видимо серьезных и значительных в глазах автора, господствуют им самим непредусмотренные «шальные» qui pro quo. Герои Дроздова, неожиданно и для читателя, да, видимо, и для самого их творца, то-и-дело меняют облик. Щеголеватый женолюб, пом. начальника станции Пал Палыч Ожигов, чичисбей окрестных мужних жен, в объяснении с одним из обиженных им мужей начинает лепетать что-то из Достоевского. «Нет-с, пардон, вы меня не бойтесь, вы меня не унижайте, вы меня презрением вашим не задавливайте-с. Вы мне лучше поясните, как мне, убогому и дрянному человеку, к вашей твердой жизни пристать. Докажите мне, что я ложен в человеческой жалобе моей» («Человек шагает»). «Гражданин с достойной осанкой», «молодым генеральством» и «должностью весьма ответственною», приехав в провинциальный город на ревизию, сообщает на ужине, которым угощает «столичного гостя» местное «общество», что батюшка любил так его звать: «пентюх, перепентюх, выпентюх и тюх» («Чертополох»). Веньямин Юльевич Божков, о котором предварительно едко сообщается, что в молодости «слыл он франтом, ходил выворачивая каблуки, носил никкелевую кавказскую трость с надписью «Привет с Казбека»... имел... способность вспыхивать, как шнур, пропитанный селитрою, при словах: «женщина, любовь и рандеву», который и в старости изображен в обличьи комического тарасконца... Уместны ли по поводу столь явно-сатирического, подчеркнуто-пошлого персонажа прочувствованные строки, столь неожиданно посвященные ему автором в конце рассказа («Защита города Ужа»).

Мы не будем углубляться в подробный разбор этих произведений. Легко было бы уличить автора в неуменьи строить вещь и разрешать ее (напр., полное отсутствие сколько-нибудь удовлетворительной развязки в «Чертополохе»). Нетрудно было бы услышать в интонациях рассказчика незатушеванные отзвуки, почти копирование приемов Л. Толстого, Гоголя, Достоевского, приходящих Дроздову на выручку всякий раз, как он сбивается с тона или вовсе не имеет что сказать по поводу того или иного, как бы врасплох для него самого затронутого, предмета. Нас интересует другое: чем объяснить отсутствие в этих рассказах определенной направленности, лишающее их смыслового оправдания и превращающее в нечто внутренне неоформленное? Где причина отсутствия своего лица у писателя, не лишенного дарования?

«О, странная, прекрасная, беспощадная, оголтелая, милая, бесшабашная и волевая

волей своею Россия! О, невероятный, шалый, колоритный наш быт, быт, какого никому не выдумать (!), быт, в котором не ужиться стороннему человеку Европы, быт, которому не поверит и не верит мирно дотлевающий, в корчах погибающий застаревший Запад. Но я целую твои юбки (!!), Россия»...

Думается нам, что плохо еще разобрался Дроздов в России, и это-то и является главной причиной художественной его неудачи в изображении ее. Не «целованье юбок России» и не выдумыванье шалого быта «оголтелой», «бесшабашной» и «вольной волею своей» страны могут привести художника к прекрасной и осмысленной ясности. Иным путем нужно итти к этой цели в наши дни. Не вступив на него, нельзя хорошо знать ни предмета любви своей, ни предмета сатиры.

Д. Горбов.

Издания авторов:

1) **Овидий Назон.** С р е д с т в о о т л ю б в и. Перевод в стихах с предисловием и комментариями проф. Фельдштейна. Изд. 1926 г.

2) **Стефан Окушко.** О р б и т а с е р д ц а. Двенадцать сказок. Рисунки художника С. И. Пейч. Изд. 1925 г.

Конечно, рецензируемые нами книги лежат в разных литературных плоскостях, и, казалось бы, общего меж ними мало. Но это лишь на первый взгляд. Если ж поглубже приглядеться к ним, некоторые точки соприкосновения меж ними имеются, и эти точки: одно и то же издательство» и одна и та же бесполезность их издания.

Начнем с первой.

Овидий Назон, живший в первом веке дохристианской эпохи (род., кажется, в 43 году до так называемого Р. Х.), естественно, не мог сейчас переиздать своих произведений, несмотря на то, что так значится на издании. Допустим, что это ошибка, и переводчик скромно не указал своего имени.

Кто же тогда является отцом этой идеи: преподнести читателю «без вкуса и радости» переведенного (вернее, перевезенного, ибо он не переводчик, а перевозчик) античного классика, так удивленно примостившегося на полке среди прочих книг, продукта борьбы, грохота и скетча нашей эпохи?

В предисловии к этой книге проф. Фельдштейн рассказывает историю создания этой книги (часть большой поэмы об искусстве любви), а также анализирует технику стиха и стиля Овидиева творчества. Отсюда можно смело заключить, что книга эта предназначена для специалистов, а профанам и рабфаковцам надо быть от нее подальше.

Допустим, что это так. Допустим также, что латинский текст переведен почти дословно (хотя даже и относительно заглавия можно спорить: Remedia amoris — средство от любви). О том, что это так, т.-е. о передаче истинных красот Овидиева стиха, предупреждает нас сам комментатор; отказываясь от прозаического перевода, он говорит:

«Э т о т п у т ь п р и в е л б ы н а с к т я ж е л о в е с н о й п р о з е, н е д а ю щ е й п о н я т и я и д е й с т в и я, к о т о р о е м о г п р о и з в о д и т ь в д о х н о в е н н ы й с т и х п о э т а».

И в доказательство вдохновенности стиха поэта в книге приведено несколько сот стихов приблизительно такого типа:

«Мечами и бстреем (?) копий
Пусть вотчим (?) разит нас всегда,
Пусть, как победитель, весь в крови (?)
Он рубит и колет тела».

Это взято наугад. Вся же книга насквозь пропитана такими стихами, как

«У ней же достаток немног» (?)

или:

«Тебя не предам я о о т р о к»,

и такими созвучиями в конце стихов, как «гроза — пила», «принудить — внушить», «нутро — лишь то» и т. д.

И вот, после нескольких таких строф даже специалист-лингвист задумается над красотами латинского языка, предоставляя нам думать над общей целесообразностью расхода столь дорого стоящей бумаги и над полезностью книги.

Книга Стефана Окушко в этом отношении еще безотраднее. Ее полное название: «Орбита сердца. Двенадцать сказок на кружевном циферблате судьбы». Однако

оказывается, что даже фонетических кружев, на что падки наши некоторые поэты, здесь тоже нет.

Автор задается высокой целью уничтожить ненужную бутафорию лишних слов и тем самым дать широкий простор «символике отражений и комбинаций». Место действия — «кружевной парк Мечты».

Комбинацию слов и, хотя прилизанных, но чистенько и честно сделанных рисунков автор величает словографикой.

Рисунки — «битва негров ночью»:—нечто среднее между Федором Сологубом и армянской загадкой.

Первая страница — (вероятно) Харон, перевозящий тень в царство Плутона, а затем идет вышеназванная словографика.

Рисунок. Две головы. Надпись: Первый час лазури.

Стихи:

Одна сказка.

Жил был Поэт
И жила Мечта.
Девушка с морем
И небом в глазах...

— и все.

Далее идут рисунки: второй, третий и т. д., часы с завитушками, тенями, лотосами и прочей символической бутафорией и рядом такие же стихи о Мечте, о Тебе и о Невесте с прописными буквами.

Сказка пяти слов...

Я видел тебя во сне.

Самая короткая и самая длинная сказка...

Приди... я тоскую.

(Кстати, при ней рисунок Ф. Штука, очевидно, в переделке Пейча.)

Самая маленькая и самая великая сказка.

Люблю... люблю... люблю —

Сказка в розовом конверте...

... а ты...

И такими сказками для детей застывшего возраста наполнена вся книга. Правда, она заключена датой «Октябрь 1916 года», но ведь ровно через год после него был также «Октябрь 1917 года», и переиздавать ее в наше время по меньшей мере неразумно.

Разве только перевести ее на латинский язык таким стихом, как переведен Овидий на русский.

Виктор Якерин.

— -

Е. П. Казанович. Федор Иванович Тютчев в своих письмах. Изд. Отд. Русск. Яз. и Сл. Академии Наук СССР. Ленинград 1926. 80 стр.

Тютчев был очень скуп, как стихотворец. Драгоценное поэтическое наследие его, как известно, вмещалось в один небольшой сборник лирических стихотворений. Зато поэт был необыкновенно щедр на письма. Кроме его писем, опубликованных в «Русском Архиве», имеется обширное собрание их в «Старине и Новизне». Они были опубликованы: в 1914 году — кн. 18-я, в 1915 г. — кн. 19-я, в 1916 г. — кн. 21-я, в 1917 г. — кн. 22-я (отметим кстати неточность рецензируемого издания, где на стр. 57 есть ссылка на 20-ю книгу «Старины и Новизны»: как раз в этой книге писем Тютчева не имеется). К сожалению, публикации писем до сих пор делались весьма небрежно. Так, напр., при сличении текстов «Стар. и Нов.» с известными нам оригиналами, хранящимися отчасти в рукописн. отд. Моск. Публичн. Библ. им. Ленина, отчасти в архиве «Муранова», нам пришлось убедиться в том, что редактор совершенно произвольно и безоговорочно не опубликовал почему-то целого ряда писем, другие письма сократил, третьи соединил вместе (по два, по три — в одно), наконец, перепутал многие даты. Все это, а также отсутствие реального комментария, в значительной мере умаляет научную ценность этих публикаций. Новое собрание писем Тютчева, хотя и очень скромное по размерам и содержанию, выгодно отличается от бывших ранее публикаций добрыми намерениями редактора исполнить свою работу не дилетантски, снабдив эпистолярный материал соответствующим научным аппаратом.

Мы знаем, как ценны письма поэтов. Образцы, напр., эпистолярной прозы

Пушкина или Флобера представляют собою целый мир художественных достижений. Письма Тютчева, подобно письмам Гоголя и Достоевского, не всегда выразительны и совершенны в такой мере, как Пушкинские эпистолярные шедевры. И немудрено — Пушкин почти всегда писал письма с черновиками, исправлял и перечеркивал текст по нескольку раз, как будто подготовляя его к печати. Письма Тютчева — импровизации, иногда блестящие, иногда менее совершенные, а иногда и вовсе неинтересные с художественной или психологической стороны. Для биографа, впрочем, даже самые незначительные, на первый взгляд, записки поэта могут быть счастливой находкой, освещая ту или другую дату, тот или другой факт из жизни автора.

Тютчев почти всегда писал по-французски. Его стиль — стиль изящной французской прозы не XIX, а XVIII века. Автор дорожит рисунком фразы, изысканностью оборота, единством тона. Он всегда любезен, остроумен и точен. Эти его черты, как автора писем, сохраняются даже в его семейной переписке. Только однажды светская сдержанность была им утрачена — это в его опубликованных нами письмах по поводу смерти Денисьевой.

Здесь мы слышим страшный вопль отчаяния. Ему было тогда не до изящного стиля. Здесь уже не приходилось любоваться фразой, которой он любовался даже в самых значительных своих политических письмах, когда речь шла — по его представлению — о спасении или гибели России или всей европейской культуры.

Двадцать шесть писем, опубликованных теперь в изд. Отд. русск. яз. и сл. Академии Наук под редакцией Е. П. Казанович, представляют собою ничтожную часть огромной неизданной переписки поэта. Письма неизмеримо более ценные, чем письма, изданные Академией, напр., письма Тютчева к его дочери, Анне Федоровне, впоследствии Аксаковой, остаются в архиве и до сих пор известны двум-трем специалистам. А между тем в этих письмах — богатейший материал не только для характеристики самого Тютчева, но для характеристики эпохи, со всею сложностью ее политических и социальных особенностей.

Книга, изданная теперь Академией, заключает в себе 18 писем, адресованных к Е. К. Богдановой и 8 к ее сыну, ныне здравствующему, С. П. Фролову. Письма относятся к последнему периоду жизни Тютчева. Первое письмо датируется, по гадательному расчету комментатора, к 1866 году, последнее к 1871 году.

Корреспондентка Тютчева была моложе поэта на 19 лет. К концу их переписки ей было уже лет пятьдесят. Повидимому, она была близка с Е. А. Денисьевой, последней возлюбленной Тютчева, и отблеск этих отношений определил симпатии поэта к этой красивой, интересной и умной особе. По крайней мере на эти ее качества есть некоторые указания, напр., поэта Яхонтова.

Возможно, что в распоряжении Пушкинского Дома были не все письма Тютчева, написанные им к Е. К. Богдановой, но, если судить по письмам опубликованным, между поэтом и его корреспонденткой не было никаких любовных отношений, хотя галантность Тютчева иногда переходит в искреннюю нежность и прямое восхищение подругою его возлюбленной, Е. А. Денисьевой.

Комментатор, упоминая имя Денисьевой, заявляет в примечании: «О ней мы не можем сообщить никаких сведений»... Однако некоторые, правда краткие, сведения о Е. А. Денисьевой имеются в нашей статье «Любовь в жизни и в лирике Тютчева», в «Тютчевском сборнике», изд. «Былого» 1923 г.

Кстати отмечу некоторые неточности редактора. Так, напр., Э. Ф. Пфеффель, супруга поэта, умерла не в 1882, а в 1894 г.; сын поэта И. Ф. Тютчев скончался не в Муранове, а в Петербурге; Мельников, о котором упоминает в одном письме Тютчев, не беллетрист П. И. Мельников-Печерский, а Павел Петрович Мельников, на племяннице которого был женат сын поэта, Д. Ф. Тютчев; наконец, надо отметить, что напрасно Е. П. Казанович полагает, будто бы примечания к стихотворениям Тютчева в издании Маркса составлялись В. Я. Брюсовым. Их составлял редактор П. В. Быков, а участие Брюсова в этом издании ограничилось написанием вступительного очерка. По крайней мере покойный Брюсов, в личной

беседе с нами, категорически отказывался от ответственности за примечания, присоединенные редактором к этому изданию.

В заключение позволим себе выразить удовольствие, что, наконец-то, Отд. русск. яз. и слов. нашей Академии Наук приступило, хотя и в очень скромных размерах, к научной публикации писем великого русского поэта.

Георгий Чулков.

М. Черноков. Теплые росы. Рассказы. Госиздат. Москва — Ленинград 1926 г. 134 стр.

Веселый, легкий человек — любимый герой Чернокова. Удачливый Иван Николаевич («Чернобурая лисица»), бесшабашный Менух-Хватко («Воронко»), гармонист Аксен («Долг»), дед Епифанка («Починка»), — все это вариации одного образа. Все эти люди живут весело и бодро, многие из них любят говорить о природной красе жизни и о том, как испортил ее беспокойный и злой человек, который пустошит землю. Деревня Чернокова сильна крепкой земляной силой, недаром у него почти все образы говорят о кряжистом, сильном и огромном человеке. Руки— узловатые обручи, кулаки — тяжелые молоты, мебель — сделанная для великанов, дед — пень с корнями. — Вот обычные образы в книжке. Деревня живет также инстинктом и чувством. Кто сумел понять это, как понял это доктор, приказавший больной во время операции петь песни, тот достучится в крестьянское сердце. Интеллигенция в рассказах Чернокова тянется к мужицкой силе и крепости, тоскует по непосредственности и цельности.

О цельности тоскует учитель Курчавин, который говорит про себя, что не умеет ощущать жизнь толком. О ценности познания, «запаха жизни» не умом, а чувством, твердит коммунист Лупандин в рассказе: «Когда цветет рожь», а другой коммунист Алексей говорит старику отцу: «Я, батя, с тобой не спорю; всякий по-своему жизнь щупает, а кому лесины смеются и земля поет — тот самый мудрый». И к большевизму тянутся в «Теплых Росах» потому, что видят в нем эту земляную силу и способность к непосредственному действию. Довольно отчетливо сквозит это отношение в словах Курчавина: «Вот я вам, большевикам, удивляюсь, — говорит он, — за все вы беретесь, и все выходит, а не выходит, так вы уверяете всех, что выходит, или погодя выйдет, упорный народ, крепкий, хотел бы я с вами поработать, да боюсь, заездите».

Тяга интеллигенции к простоте, преклонение пред инстинктом человека, живущего интеллектом — все это занимало русскую литературу давно. Были большие мастера как в изображении этой тяги, так и в анализе ее. Глубоко анализировал ее когда-то Вересаев в своей статье об инстинкте и интеллекте. Черноков—писатель с очень небольшими данными, и многое у него выродилось и измельчало. Рассказы его наполнены книжной мудростью, которая говорит не столько о таланте писателя, сколько о его начитанности. Большая композиционная расплывчатость и очень плохой язык, неуклюжий, бесцветный, изобилующий псевдо-народной вульгарщиной, выражениями вроде: «заешь-тя дым», «растяни-тя в нитку» и т. д., делают книжку очень слабой в художественном отношении. Язык иногда просто неграмотен. Попадаются, напр., такие строчки: «Трудовые морщины и пятно на скуле играли веселостью и сознанием жизненной бойкости», или «борода шевелилась и кивала, выражая желание заразить чувством любования и другого», или «в глазах его блеснуло что-то далекое и сомнительное». Много штампованных фраз, советской казенщины. «Вымирает старое, корневатое, выкорчевывается, как пни подгнившие. — К советскому устройству душа повернулась крепко теперь. — Комитет и ребята устраивай то, к чему силу прикладываем так, как лучше, дружественнее. Пусть поправка везде наша рабочая ширится, так-то». Вот речь, — близкая по Чернокову, крестьянину.

В общем, книжка художественно слаба, но все же говорит о некотором знании деревни и идеологических запросах автора.

М. Полякова.

Историк-марксист. Том I. 1926. Журнал Общества историков-марксистов при Коммунистической Академии. Выходит при ближайшем участии тт. Покровского, Полонского, Павловича-Вельтмана, Шестакова, Горина, Фридлянда и Моносова. Изд-во «Комакадемии». Москва. Стр. 326. Тираж 3.000.

Периодическая печать СССР обогатилась новым «толстым» журналом, имеющим большое научное значение. «Историк-марксист» является органом недавно основанного Общества историков-марксистов. В задачи журнала, по сообщению редакции, входит «научная разработка вопросов исторического знания как в области конкретной истории и ее методологии, так и методики преподавания» и, кроме того, «борьба с буржуазной исторической мыслью во всех ее разновидностях... с искажением и вульгаризацией исторического метода Маркса и Ленина».

Задача — несомненно большая. Ее значение усугубляется еще тем, что на Западе совершенно не знакомы с той большой работой, которую до сих пор выполнили и продолжают выполнять у нас как научно-исследовательские и исторические институты, так и отдельные историки. Известно, напр., что проф. Матьез, наиболее близкий нам французский историк, до последнего времени считал единственным источником русской исторической мысли совершенно чуждый марксизму журнал «Анналы» (кстати, давно закрывшийся); Каутский же недавно отмечал в австрийском с.-д. журнале «Kampf» «скудость исторических работ в России», а исчерпывающими работами на русском языке по истории французской революции западные историки продолжают считать только труды профессоров Кареева и Тарле.

Судя по первому тому, можно сразу сказать, что к разрешению поставленных задач редакция подошла вплотную.

Передовая «Задачи Общества историков-марксистов» — стенограмма речи тов. М. Н. Покровского при открытии Общества — является характеристикой судеб исторического материализма в России, представляющих «блестящий образчик исторической диалектики» (3).

Зародившись в работах Щапова, Чернышевского и Ткачева — русских пионеров в области исторического материализма, последний в конце XIX столетия уже «захватил территорию, далеко выходившую за пределы не только революционных рабочих кружков, но и вообще всего, так или иначе связанного с пролетариатом» (5).

Насколько вырос фронт «экономического материализма», можно судить по тому, что, начинаясь с Плеханова и Ленина на левом фланге, он заканчивался на правом фланге... Максимом Ковалевским и Милюковым. И нет ничего удивительного в том, что тогдашние патентованные буржуазные историки совершенно игнорировали работы Маркса, Энгельса, Каутского, Плеханова, но одновременно «открывали» целые клади исторического материализма в работах немецкого приват-доцента Вейзегрюна.

Начало XX столетия, в особенности революция 1905 г. внесли в это дело определенную ясность. В этот год, говорит тов. Покровский, произошло «превращение диалектики исторического процесса из отвлеченного литературного термина в живой, осязаемый и конкретный факт, факт, не только н а б л ю д а в ш и й с я нами воочию, но факт, нами п е р е ж и т ы й». Это был новый этап в развитии исторического материализма в России, «точно соответствовавший новому историческому этапу, в который вступила жизнь нашей страны» (7). Но и на этой ступени своего развития исторический материализм страдал двумя дефектами: недооценкой творческой роли масс (в частности, деревни) и чрезмерным тяготением к экономическому материализму. Исправить первую ошибку и избавиться от «уклона», создаваемого второй, и должно явиться, по мнению тов. Покровского, насущнейшей задачей «историков-марксистов входящего в жизнь поколения» (8).

Хорошие исследовательские статьи написали тт. Вайнштейн, Фридлянд и Добролюбский. Все три, в особенности вторая, являются ценным вкладом в нашу историческую литературу.

Тов. Вайнштейн в статье «Парижская Коммуна и Французский банк» (11—47) документально устанавливает соглашательскую, граничащую с предательством

роль делегата Коммуны при банке Белэ, явившейся результатом, во-первых, неудачного построения административного аппарата Коммуны и, во-вторых, полной бесконтрольности и независимости прудонистской по составу Комиссии по делам финансов.

Парижская Коммуна, в лице своих делегатов-финансистов, главным образом, Журда и Белэ, сидела на переполненном денежном сундуке Франции и охраняла его для «хозяев» банка — версальских погромщиков. Действительно, что могло быть нелепей в истории пролетарской революции (а ведь Коммуна была таковой) такого положения, когда Банк, представлявший очевидный «генеральный штаб внутренней реакции и сборный пункт для бесчисленных версальских агентов» (из письма Паскаля Груссе от 11 мая в Комитет Общества Спасения), охранялся «членами Интернационала» Журдом и Белэ, а Коммуна буквально задыхалась в тисках нужды и полного безденежья? В то время, как Журд, «скрепя сердце», взял в банке за весь период существования Коммуны только 16 милл. франков, Тьеру директор банка ле-Плек выдал 257,7 милл. франков. На агитационную кампанию в таких крупнейших провинциальных центрах Франции, как Лион, Марсель, Тулуза и Лимож, Коммуна ассигновала... 3 тыс. франков, между тем как Тьер швырялся сотнями тысяч из взятых в банке миллионов на подкупы, взятки и награды за предательство.

В общем, статья тов. Вайнштейна проливает свет на одну из многих «ошибок» Коммуны, мало разработанных и освещенных в исторической литературе.

Статья тов. Фридлянда «Классовая борьба в июне-июле 1793 г.» является частью подготовляемой автором к печати книги «Ж.-П. Марат» и, отчасти, воспроизводит его доклад на тему «Якобинцы против Марата», сделанный им в одном из заседаний общества. К сожалению, в рецензируемом томе напечатана только часть статьи, так что говорить о работе в целом трудно.

Однако мы можем уже сейчас сказать, что перед нами оригинальное исследование важнейшего переходного этапа Великой французской революции, имеющее целью определить «место июня-июля 1793 г. в истории революции, политику Робеспьера и буржуазии Франции в эту эпоху, позицию Марата, роль бешеных и их связь с Маратом» (53).

Общая характеристика исторического значения этого периода, даваемая тов. Фридляндом, сводится к констатированию, во-первых, продолжения после 2 июня (дата изгнания жирондистов из Конвента) той же жирондистской политики, «проводимой более искусными руками», и, во-вторых, неустойчивой политической линии Робеспьера, менявшейся в зависимости от влияния новых факторов на ход революции. Что касается политической линии Марата в последние недели его жизни, то вокруг нее в исторической литературе существует большая путаница, точно так же, как далеко не ясны взаимоотношения между Маратом и Робеспьером и между Маратом и бешеными. Анализу этих взаимоотношений тов. Фридлянд, очевидно, намерен посвятить следующую часть своей работы, предпосылая этому в настоящей статье весьма обстоятельный обзор экономического положения Франции в тот период.

Известным дополнением к рассматриваемой статье является следующая — тов. Добролюбского «Термидорианская реакция». По этой статье можно получить отчетливое представление об общественных настроениях в Париже во время Термидорианской реакции, т.-е. после 27 июля 1794 г. — дня падения Робеспьера и поворотного момента в истории Великой французской революции. В качестве основного материала тов. Добролюбский использовал трехтомный сборник писем немцев-очевидцев («Frankreich im Jahr 1795»). Между прочим, из этой статьи можно установить, что современный фашизм связан многими нитями с далеким прошлым. «Хорошее общество», «золотая молодежь», «уклонившиеся от воинской повинности мюскадены и щеголи» уже в те времена составляли постоянный «актив» контрреволюции.

Завершается отдел статей очерком тов. Файзулла-Ходжаева «О младо-бухарцах» (национально-прогрессивное движение 1900-х г.г. среди мусульманского населения Бухары и Туркестана, известное

под названием Джадитского), статьей тов. Павловича «Революция 1905 г. и Восток» (характеристика освободительного движения в странах Востока после русско-японской войны и революции 1905 г.) и авторефератом тов. Нечкиной подготовляемой ею к печати работы под названием «Общество Соединенных Славян».

В отделе «Материалы» опубликованы неизданные письма декабриста В. Л. Давыдова с комментариями Н. К. Пиксанова.

Место не позволяет нам подробно остановиться на интереснейшем отделе журнала — «Доклады». Мы придаем ему особое значение не только потому, что он должен отражать научную работу Общества историков-марксистов; по нашему мнению, он должен служить основательным источником материалов для всякого историка-марксиста (в особенности, для провинциального). В рецензируемом томе помещены доклады (а также прения): тов. Горина на тему «Чем же были Советы Рабочих Депутатов в 1905 г.?» (201—235), тов. Черномордика «Декабрьское вооруженное восстание» (236—255) и тов. Дубровского «Крестьянство в революции 1905 г.» (256—279).

Хорошо поставлен отдел «Библиография». Нужно думать, что в следующем томе этот отдел будет представлен гораздо шире.

Не подлежит сомнению, что журнал «Историк-марксист» займет соответствующее место не только в нашей, но и в западно-европейской исторической периодике. За это говорит полноценность сугубо-марксистского научного материала, опубликованного в первом томе. Нужно полагать, что состав редакции журнала обеспечит ему вышеуказанное качество и в последующих томах.

Издан журнал превосходно.

И. Браславский.

А. Луначарский. Театр и революция. Гос. Изд. М. Стр. 484.

К числу почти неисследованных марксистской критикой тем относится вопрос о театре. В этой области искусства до сих пор пользуются кредитом чрезвычайно хрупкие и пугливые мысли. Многими совершенно отрицается самостоятельность театра. За последним не признается специфичность, т.-е. сам по себе, по мнению этих критиков, театр — ничто. Все искусства имеют свое наглядное воплощение, оставляют след своего бытия; только театр — бесследен. Он не имеет своего символа, у него нет своей формулы. Он всецело и безнадежно зависит от литературы. Кин, Сальвини, Мочалов, Сарра Бернар, Комиссаржевская, Савина — не художники, потому что, не будь Шекспира и Островского, не было бы и этих актеров. И совсем не случайно, что актер умирает, что его искусство бесследно исчезает и улетучивается, как только падает занавес. Ибо искусство актера мнимое, и театральное зрелище — не искусство, а буффонада, в корне пассивная и послушная воле драматурга.

В противовес этим нигилистам подмостков другая порода нигилистов отвергает всякое значение литературы на сцене. Если для первых актер только жалкая марионетка в руках драматурга, то вторые с такой же упрощенной логикой провозглашают диктатуру режиссера и театральной техники. Театральное зрелище — в их понимании — это скульптура света и плоти, для создания которой режиссер совсем не нуждается в словах драматурга. Слова — это фикция, материал, подлежащий изменению по воле и прихоти властителя сцены — режиссера. Последний творит не из красок, вещей и слов, а из людских голосов и тел.

Этот спор между драматургом, актером и режиссером еще осложняется вмешательством третьего элемента, который навязывает свою волю театру подобно богу деистов, управляющему миром, как известно, сверху вниз и обитающему вне времени и пространства. Такое театральное божество, именуемое рецензентом, редко имеет хотя бы самую отдаленную связь со сценой и с трудом представляет себе всю ту массу энергии, упорства и лихорадочного возбуждения, которую необходимо затратить актерам и режиссеру, чтобы вдохнуть живую душу в литературную оболочку драматурга.

Громадное преимущество Луначарского заключается в том, что ему доступны

тайны театральной работы, и его книга о театре прежде всего написана в защиту театрального зрелища и актера. На первом плане в театральном искусстве у Луначарского — актер. Т.-е. голос, пластика, выражение глаз, темперамент и мимика. Он знает, что во всех движениях и линиях тела должно давать себя чувствовать драматическое действие спектакля. И в этом смысле иная пауза, иная немая сцена звучит выразительнее и играет гораздо большую роль, чем произносимое слово. Каждое театральное зрелище — это подвижная скульптура, где в жестах и выражениях мы видим живое воплощение чувства и слышим в модуляциях голоса то слово, которое еще не произнесено, но которое должно соответствовать всей мимике и интонации актеров. Поэтому никак нельзя утверждать, что для спектакля неважно, какие слова срываются с языка действующих лиц. Во время подготовительной работы актер мало интересуется словом, которое он говорит под суфлера. И часто на репетициях актеры изображают драму, почти не прибегая к словам. Но эти слова уже звучат во всех их жестах и интонациях, служат подкладкой всех их переживаний. И талантливым актером является именно тот, кто, не интересуясь словами, четко и явственно произносит их всеми движениями своего тела, наполняет словами драмы каждую молчаливую паузу.

Именно с этой точки зрения расценивает Луначарский искусство актера, и оттого так много дают для понимания сцены его статьи, посвященные характеристике отдельных актеров и направлений, как, напр., «Задачи дня», «Театр будущего», «Сирано первый и Сирано второй», «Шекспировские спектакли», «Колетта Вилли» и др. Отсюда и отношение Луначарского к театральной традиции и театральному мастерству.

> «Ясно, — повторяет Луначарский,— что пролетариев, быть может, больше тянет к актерскому мастерству, как таковому, чем даже буржуазную публику. Ясно, что старая форма театра и актеры-специалисты должны были быть сохранены, что они должны были сыграть немалую передаточную роль в развитии театра после революции» (стр. 100).

Само собой понятно, что статьи Луначарского далеки от академических размышлений о театральном искусстве. Цель их — найти ту форму театрального зрелища, которая является наиболее пригодной для современного зрителя. Требования, предъявляемые Луначарским к театру, чрезвычайно велики. Театр обращается одновременно к одному и ко всем, к отдельному человеку и к массе. Это заставляет драматического писателя быть поэтом и трибуном, художником и политическим агитатором. Надо уметь облечь драматическое произведение в классовые формы, но так, чтобы общая стихия изображаемой жизни не теряла своей драматичности. Такое сложное искусство требует тщательной подготовки и долгого изучения всех прежних образцов. Анализу этих последних Луначарский уделяет целый ряд статей: «Ступени искусства», «Московский Художественный театр», «Французская комедия в наши дни» и др.

Взгляд на задачи современного театра формулирован Луначарским так:

> «Пролетариат хочет, чтобы театральный спектакль взволновал и обогатил его, хочет этого стихийно, выходит из таких спектаклей обновленным... Когда он чувствует большое содержание, допустим не прямо свое, но волнующий кусок большой и интересной жизни, то он требует, конечно, чтобы это содержание дано было ему в понятных формах. Он не хочет теряться в разных орнаментах-завитушках, к которым так тянет пресыщенного эстета. Отсюда устремление к реализму, при чем под реализмом вовсе не нужно разуметь натуралистический уклон к изображению действительности. Народный реалистический театр во все времена имел устремления к фантастике. Но фантастика эта должна быть убедительна, должна быть как можно более ощутима, художественно правдива. Наконец, могучая душа народных коллективов требует, чтобы содержание было пере-

дано в формах мощных, ярких, монументальных» («Театр РСФСР»).

Не все статьи Луначарского, собранные в этой книге, претендуют на законченность и безусловность. Но все они содержательны, увлекают характером своих общих тенденций, нравятся ясностью и убедительностью мысли, пониманием вопросов и заставляют думать.

Л. Войтоловский.

Редакционная коллегия: А. Воронский.
В. Сорин.
Ем. Ярославский.

Издатель: Государственное Издательство.

СОДЕРЖАНИЕ

2 руб.